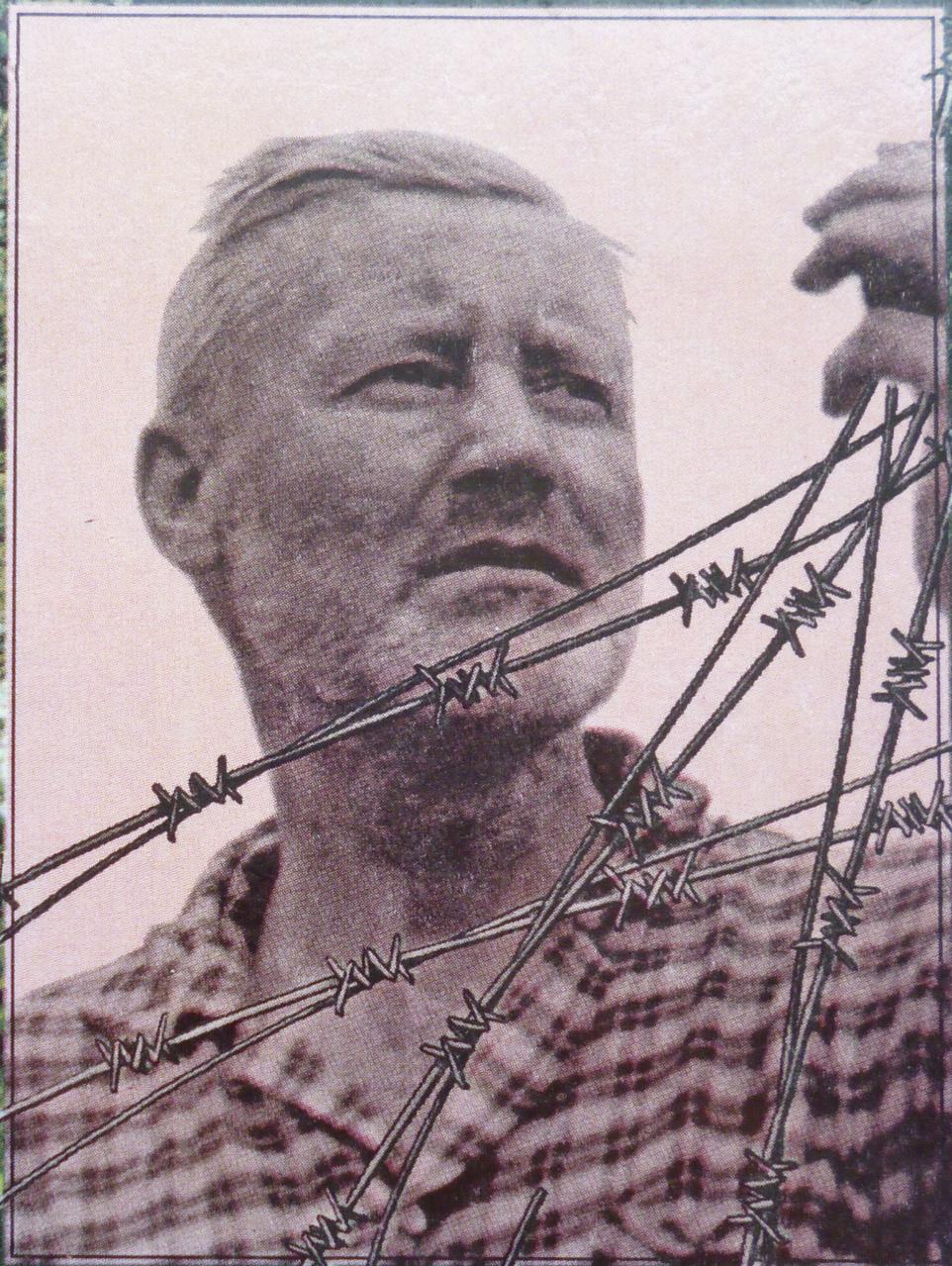


ГЕНРИ-РАЛЬФ
ЛЕВЕНШТЕЙН
(ДЖОНСТОН)



**МАРИЙСКИЙ
ЛЕСОПОВАЛ**

врачом
за колючей
проволокой

Annotation

Предлагаемое читателю издание известного журналиста Республики Марий Эл Генри Левенштейна является второй книгой его биографической дилогии. Название книги ассоциируется с периодом жизни автора на спецпоселении в Юринской зоне лесоразработок Марийской АССР.

- [Генри-Ральф Левенштейн \(Джонстон\)](#)
 - [Вот как это было](#)
 - [Казань — Йошкар-Ола — Ошла](#)
 - [Я работаю врачом](#)
 - [Знакомство с объектами зоны](#)
 - [Вольнонаемные](#)
 - [Ковалев\[1\], Аня и другие](#)
 - [Володя](#)
 - [Жестокая статья](#)
 - [«Артист» — Девушки-воровки](#)
 - [Цуккер — Бесемолки](#)
 - [Сапоги](#)
 - [Алиев, Букетов и другие](#)
 - [О смертности](#)
 - [Тоня, Серый и Уля](#)
 - [Валентина](#)
 - [В Шушерах](#)
 - [Я снова холостой](#)
 - [Нина, Ксана и Фогель](#)
 - [Инвалиды](#)
 - [Ремизов, Комарова, первые успехи](#)
 - [Пасха](#)
 - [Повар Великомирский и другие](#)
 - [Коварство и любовь](#)
 - [Ночной вызов](#)

- [Рауф](#)
- [Минуты слабости](#)
- [Снова о Манефе, плохие новости](#)
- [Прощание](#)
- [Этап. Кузьмино](#)
- [Добрый конвоир](#)
- [Снова на «общих»](#)
- [Садистка](#)
- [На лесоповале](#)
- [Начальник санчасти](#)
- [Полковник Лебедев](#)
- [Я получаю письма](#)
- [Конец надежды](#)
- [Мой шеф и ее прошлое](#)
- [Опасная затея](#)
- [«Мичуринская прививка»](#)
- [Сектанты](#)
- [Барнау](#)
- [Этапы. Ходов](#)
- [Банщик Гварамадзе и дезинфектор Городилов](#)
- [Последствия «любви»](#)
- [Трагедия](#)
- [Праздники](#)
- [Клубная работа](#)
- [Бригадиры](#)
- [Он был цирковым борцом](#)
- [«Царица»](#)
- [Происшествия в Кузьмина](#)
- [Тамара Сорвиголова](#)
- [Зоя Романова. Юрий Турилов](#)
- [Малолетки](#)
- [Симпатия Арнольда Соломоновича](#)
- [Бездельники. «Котик»](#)
- [Мне делают предложение](#)
- [Гарканов находит свою любовь. Ира](#)
- [Знакомство с заведующим райздравом](#)

- [Рая](#)
 - [Тося Сабанцева](#)
 - [Размышления перед освобождением](#)
 - [Эпилог](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
-

**Генри-Ральф Левенштейн
(Джонстон)**

***Марийский лесоповал: Врачом
за колючей проволокой***

Вот как это было

В марте 1938 года почти в один и тот же день были арестованы трое моих близких родственников — отчим и два дяди, все по специальности инженеры. Они ожидали возможного ареста, хотя не чувствовали за собой какой-нибудь вины, но кругом шли аресты.

Я их знал как честнейших, порядочных людей, для которых в жизни существовали лишь две вещи — работа и семья. Они были далеки от политики, но это их не спасло.

Сталин в 1937 г. говорил, что «наши успехи ведут не к затуханию, а к обострению борьбы. Чем усиленнее будет наше движение вперед, тем острее будет борьба врагов народа». Это требовало доказательств. Тогда и начались массовые репрессии, но, видимо, недостаточно планомерные. Вот поэтому и вышел указ за № 00447 от 30 июля 1937 г., который требовал «с 5 августа 1937 г. во всех республиках, краях и областях начать операцию по репрессированию бывших кулаков, активных антисоветских элементов и уголовников...»

К контингентам, подлежащим репрессиям, относились также бывшие белые, жандармы, чиновники, каратели, сектантские активисты и др..

Наиболее враждебные из них подлежали расстрелу, менее активные — 8-10 годам заключения.

Согласно представленным учетным данным наркоматами республиканских НКВД и начальниками краевых и областных управлений НКВД утверждалось количество подлежащих репрессиям, т.е. сколько следовало расстрелять и сколько отправить в тюрьмы и лагеря.

Моих близких осудили к десяти годам дальних лагерей без права переписки. Так было сказано, чтобы

не слишком волновать родственников. Тогда еще не знали, что это означает высшую меру наказания — расстрел.

В те годы, когда восторженно пели «я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек», в следственно-судебной практике не применялась презумпция невиновности, т.е. достаточно было лишь признания обвиняемого, а не реального доказательства его вины. Это положение обосновал прокурор СССР Вышинский (1935—1939), которого Сталин считал умным прокурором.

Чтобы добиться признания обвиняемого, меньше всего требовалось ума, зато шли в дело крепкие кулаки «молотобойца». Применение пыток было узаконено.

Сталин направил 10 января 1939 г. зашифрованную телеграмму секретарям обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартии, начальникам управлений НКВД: «ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 г. с разрешения ЦК ВКП(б). Известно, что вся буржуазная разведка применяет физические воздействия в отношении представителей социалистического пролетариата и притом применяют их в самых безобразных формах. Спрашивается, почему социалистическая разведка должна быть более гуманная. В отношении заядлых агентов буржуазии, заклятых врагов рабочего класса и колхозников — ЦК ВКП(б) считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения в отношении явных и неразоружающихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод». (Из речи Хрущева на XX съезде — Извест. ЦК КПСС, № 3, 1989, стр. 145).

Мои близкие «сознались» в том, что работали «в пользу одного иностранного государства», да еще за вознаграждение.

В указе от 30 июля 1937 г. «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», утвержденном ЦК ВКП(б) и Сталиным, был еще один пункт, который имел прямое отношение ко мне. Он гласил: «Семьи репрессированных по 1 категории (т.е. расстрелянных), проживающие в Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Баку, Ростове-на-Дону, Таганроге, районах Сочи, Гагры и Сухуми подлежат высылке».

Поскольку я жил в Москве, то подлежал высылке, но по каким-то причинам меня не трогали до 1941 года. Возможно хотели установить мои «преступные связи» с вражеской агентурой.

11 сентября 1941 г. я был арестован и направлен в тюрьму «Таганка» (Москва). Мне предъявили обвинения по трем статьям Уголовного Кодекса: 58 п. 10, часть вторая (антисоветская агитация), 58 п. 6 (шпионаж) и 58 п. 1-а (измена родине). Последние две статьи в военное время карались чаще всего высшей мерой наказания — расстрелом.

Правда, во время следствия эти обвинения не подтвердились конкретными фактами, зато от меня постоянно требовали чистосердечного признания в своих преступлениях. Чтобы сделать сговорчивее, сутками лишали сна, но без результата.

Многие стороны жизни в нашей стране мне были тогда непонятны и главное — невозможность критиковать существующие порядки, в т. ч. и любые решения партии и правительства, как бы они не были абсурдны. Все мероприятия, хотя бы «борьба с кулачеством как классом», или с религией, как «опиумом для народа», как правило, делались с позиции силы по принципу: «кто не с нами, тот против нас» и «цель оправдывает средства». При этом забывалось высказывание К. Маркса, «что цель, для

которой требуются неправые средства, не есть правая цель».

Я иногда высказывал критические замечания в адрес нашего строя, когда оставался наедине с человеком, которому доверял. Однако среди моих «друзей» нашлись трое из тех, кто все наши беседы передавал в соответствующие органы. Это была хорошая зацепка для следователей, которые мои рассуждения превратили в антисоветские высказывания.

В октябрьские дни 1941 года, когда немецкие войска находились уже вблизи Москвы, и ГКО приняло решение эвакуировать столицу, начались известные «дни паники», во время которых заключенных этапировали на восток. Кое-кого из арестованных, которых не успели вовремя эвакуировать, поставили к стенке.

До Казани ехали в нетопленных товарных вагонах, предназначенных для перевозки скота, а затем плыли в трюме баржи до Чистополя. В течение десяти дней не видели иной пищи, кроме сырого хлеба, соленой воблы и холодной воды. В Чистопольской тюрьме, где я находился почти два года, царила страшная теснота. Люди спали сидя и попеременно. Голод вскоре превратил их в ходячие скелеты, многие из обитателей тюрьмы сначала попадали в больничную камеру, а затем — в мертвецкую.

В Чистополе я подписал 206 статью УПК (Уголовно-процессуального кодекса) об окончании следствия.

Летом 1943 года меня перевели в Казлаг (Казанский лагерь) — ОЛП № 1 (Отдельный лагерный пункт № 1), где я вскоре стал работать врачом инфекционного отделения больницы. Здесь мне вручили решение Особого Совещания НКВД СССР, которое осудило меня как СВЭ (социально-вредный элемент) и приговорило к пяти годам лишения свободы. Через шесть месяцев,

однако, по искусственно состряпанному делу (творчество местного оперуполномоченного) я был снова арестован и посажен в следственный изолятор. В маленькой, холодной камере с разбитым окном, на голом цементном полу, я провел три зимних месяца перед тем, как Казанский городской суд прибавил мне еще два года к моему сроку.

После этого я работал в довольно терпимых условиях врачом Казанского пересыльного пункта до лета 1945 года, а затем по спецнаряду был направлен в Марийскую АССР.

Автор

Казань — Йошкар-Ола — Ошла

Почти четыре года прошли с момента моего ареста, и я практически всю войну находился в местах заключений. Возможно, мне завидовали, что я «отсиживался» в тылу и остался жив, когда другие сражались на фронте и гибли. Но завидовать было нечему, т.к. потери в тюрьмах и лагерях были не меньше, чем на передовой. Я знаю, что из призывников 1923 г. рождения лишь три процента вернулись домой, в то время как (в военное время) смертность один процент лагерного состава в день считалась заурядной.

Это означало, что через три с лишним месяца все заключенные, не считая «придурков», превратятся в лагерную пыль. Правда, это почти не бросалось в глаза, т.к. постоянно прибывали новые этапы с арестантами, заменяющими умерших.

А если я и остался жив, то лишь по счастливой случайности. Когда я «дошел» в Чистопольской тюрьме, и мне предсказали лишь один путь — в мертвецкую, начальнику тюрьмы Мухутдинову потребовался художник. Я не был художником, однако любил рисовать, даже готовился в архитектурный институт и посещал около года подготовительную студию. Я использовал тогда последний шанс, чтобы остаться в живых, и назвался художником. Меня перевели в рабочую камеру и предложили нарисовать большой циферблат для часов. Материала для работы не давали, за исключением огрызка карандаша и куска обоев. Пока искали картон для эскиза, прошел добрый месяц, во время которого я зарабатывал для себя дополнительный хлеб, рисуя эсков на носовых платках. Благодаря этому, запрещенному в тюрьме занятию, я заметно окреп, но все-таки оставался еще «доходягой».

Я не очень владел искусством шрифта, что, вероятно, и заметили, и когда открылась навигация, я с первым пароходом был направлен в Казань.

За это время я прошел суровую школу, узнал, что такое лагеря и тюрьмы, и научился всеми правдами и неправдами бороться за свою жизнь. И меньше всего кулаками.

Зэки в большинстве своем жили по закону: «если попадешь в лагерь, то оставляй совесть за зоной» и «порядочный человек тот, кто делает подлости неохотно». У меня были иные взгляды, и я пытался по возможности помогать своим товарищам по несчастью. Когда я стал работать врачом, то почувствовал себя шахматистом, обдумывающим очередной ход при сложной позиции фигур. И заранее никогда не знал, чем кончится эта игра — в мою пользу или нет.

Я должен был угождать вольнонаемным и уркаганам, помогать доходягам, идти навстречу придуркам, да и не забывать о себе.

Постоянно встречались в моем фарватере подводные камни, которые приходилось осторожно обходить, чтобы не разбиться. И все-таки я проиграл. Результат — мне прибавили два года.

В казанской пересылке не было необходимости нарушать закон, и главное — здесь никто не требовал от меня освобождения от работы. Зэки сидели в своих камерах и ждали с нетерпением очередной этап, чтобы попасть в колонию. Я выполнял лишь чисто медицинские функции и лечил.

Сейчас, однако, все должно было вновь повториться: амбулаторные приемы, на которых урки будут угрожать, борьба с симулянтами, комиссовки... Единственное положительное в этом перемещении было то, что я вновь смог дышать свежим воздухом.

О Марийской республике я знал не очень много. Помнил название ее столицы — Йошкар-Ола, что там

живут марийцы — угро-финский народ — который раньше называли черемисами, и что республика богата лесом.

На этот раз я шел через вахту с большим багажом. Кроме рюкзака держал в руках еще чемодан из фанеры с висячим замком. Чемодан смастерили мне в пересылке. В нем лежали медицинские справочники, которые мне прислала Аня, жена моего расстрелянного дяди Степана.

Письма я получал сейчас регулярно, и для меня они были всегда радостным событием. Правда, казалось странным, что где-то есть у меня еще жена, которая ждет и любит меня. Прошлое отодвинулось очень далеко назад и было больше похоже на сон.

На улице мысленно попрощался с Казанским Кремлем, который приютил меня почти на год, взглянул еще раз на мрачную пересылку, на купола Благовещенского собора, на Спасскую и дозорную башни Сю-юмбеки... До вокзала шли пешком. Я впереди, конвоир сзади меня с винтовкой наготове.

Немного в стороне от вокзала уже стоял поезд и специальный вагон для перевозки заключенных, известный под названием «Столыпинский». Я увидел узкий проход и купе-камеры, затянутые сверху донизу прочной сеткой-решеткой. Коридорные окна вагона также были в решетках, в купе окна отсутствовали.

Мне открыли одно купе, и я устроился на нижней полке. Кроме меня и двух охранников в вагоне никого не было.

За этими решетками я чувствовал себя как зверь в зоопарке — не хватало лишь дощечки с надписью «Осторожно — СВЭ» (социально-вредный элемент).

Ехали с остановками больше полудня, пока не добрались до Йошкар-Олы. Я увидел провинциальный город с преимущественно одно- и двухэтажными деревянными домами и полуразрушенными тротуарами

из досок. Улица, по которой меня конвоировали, носила название «Советская» и шла прямо от вокзала до тюрьмы. Тюрьма — 4-этажное каменное здание с «намордниками» — сразу бросалась в глаза. На вахте меня обыскали и направили в одну из небольших камер, где на нарах устроились трое небритых мужчин с угрюмыми лицами.

— Ты кто будешь? — спросил один из них и плюнул на пол.

— Как кто? Обычный человек.

— Это я и так вижу. Меня интересует: за что попал? — Его глаза обшарили меня с головы до ног, скользнули по рюкзаку и чемодану. У меня создалось впечатление, что он не прочь познакомиться с их содержанием.

— Меня осудило ОСО.

— Это что-то вроде «тройки»?

— Да.

— Ты что, контрик?

— Нет.

— А зачем тогда посадили?

— На этот вопрос довольно трудно ответить. Вероятнее всего по чисто профилактическим соображениям.

— Больно мудрено говоришь. Профилические соображения. Это что такое?

— Меня, видимо, считали опасным для общества из-за моего происхождения и моих связей, и решили поэтому изолировать.

— А сколько дали?

— В общем семь лет.

— А сколько отсидел?

— Четыре.

— Ого,— в его голосе послышался оттенок уважения.— Курево есть?

— Нет. Некурящий.

— Это плохо.— Его взгляд был вновь прикован к моим вещам.

— А вы за что сидите? — поинтересовался я в свою очередь.

— Известно. По 162 статье (кража).

— Понятно. Уже осудили?

— Да. Сейчас должны гнать в этап.— У зэка был низкий лоб и надбровья как у неандертальца. На руках я заметил татуировку: сердце, пронзенное кинжалом, и женские имена — Нинка и Люся.

— А что у тебя в сидоре?

— Ничего особенного. Одежда.

— А в чемоданчике? — Колючие глаза внимательно фиксировали меня. Сейчас, подумал я, он скажет: «Открой!» — и начнется шмон. Но у меня был в запасе хороший способ защиты.

— Там медицинские книги. Я же врач и еду по «спецнаряду».

Я прекрасно знал, что врачи в колонии — полубоги, ангелы-хранители, от которых зависит жизнь зэков, и поэтому их, обычно, не трогают. Эти же мужики, вполне возможно, попадут в ту же колонию, что и я.

— Врач? А ты не врешь?

— Зачем мне врать? — Я открыл чемодан и показал одну из книг: «Рецептурный справочник».— Убедился? Или, может быть, думаешь, что таскаю их для курева?

— Нет, мы вам верим.— Мужик уже перешел на «вы», и голос принял заискивающий оттенок.

На следующее утро, сразу после завтрака, за мной пришли.

— Выходи с вещами! — прозвучала знакомая команда.

По той же улице пошли обратно к вокзалу. На этот раз я ехал с конвоиром в обычном полупустом общем вагоне.

Я сел у окна, а мой охранник напротив меня. Это был уже немолодой мужчина, одетый в поношенную военную форму и старые стоптанные ботинки. Узкое, уплощенное лицо, со слабо выступающим носом, говорило о том, что он не русский, а, видимо, мари. Папку, вероятно, с моим личным делом он положил рядом с собой, а затем свернул себе козью ножку. Махорка была едкая, и я чуть не закашлялся.

— Врачом будешь? — спросил он, отложив сигарку.

— Да.

— Это хорошо. В колонии нет врача. Только фельдшер. Женщина. Еще молодая.— Он говорил как-то странно, обрубленными фразами.

Я взглянул в окно. Мимо нас проплывали густые сосновые леса, поля и, как мне показалось, очень бедные деревеньки с избами-развалюхами. Ехали недолго, всего несколько часов, и остановились в небольшом лесном поселке.

— Приехали! — сказал мой конвоир,— пошли! — Еще издали я увидел высокий деревянный забор с колючей проволокой и вышками на углах. Колония называлась ИТК № 3 УИТЛИК МарАССР и находилась в пос. Ошла Нужъяльского сельсовета, в Килемарском районе.

На вахте внимательно изучили мое личное дело, заставили открыть чемодан, познакомились с содержимым рюкзака и направили в баню на санобработку.

Колония оказалась небольшой и состояла из одной зоны, где в заключении содержались как мужчины, так и женщины.

Разбросанно стояли мрачные, низкие жилые бараки и почти такие же постройки, в которых помещались баня, прачечная, санчасть, столовая и другие объекты.

Сначала я попал в руки парикмахера, который меня очень быстро подстриг под «котовского». Жаль было расставаться с волосами, отросшими в пересылке, но в

этой колонии я был пока «никто» и поэтому не мог рассчитывать на привилегии.

Банщик-инвалид с изуродованной рукой, узнав, что я врач, дал мне кусок мыла побольше и разрешил брать горячую воду без ограничения. Одежду, как положено, сдал на прожарку, надев ее на большое кольцо из толстой проволоки.

После бани я направился в санчасть или, точнее, в амбулаторию, где меня уже ожидала фельдшер Тухватуллина Сафура Ибрагимовна, молодая темно-русая татарочка с характерным тонким и изогнутым носом и слегка раскосыми глазами. Она должна была стать моим непосредственным начальником.

Амбулатория состояла из двух помещений: небольшой прихожей со скамейками и приемной. Приемная была скромно обставлена: стол, стулья, кушетка, шкаф, тумбочки...

Я назвал себя и разделся.

— Я уже знаю о вас,— сказала Тухватуллина, выслушав меня,— но пока еще не поступило распоряжение использовать вас по специальности. Придется вам пока работать на «общих», но, я думаю, это ненадолго.

Барак, в котором меня устроили, ничем не отличался от барака рецидивистов в Казлаге: темное, грязное помещение, двухъярусные сплошные нары, деревянный неровный пол с большими щелями, маленькие оконца и спертый воздух...

Ко мне подошел нарядчик Мамаев — рыжеволосый, веснушчатый мариец с узким лицом, потерявший на фронте ногу. Он был высокого мнения о себе, и, как говорили, пользовался своим положением, чтобы соблазнять доверчивых деревенских девушек.

— Завтра пойдете работать за зоной. Там надо выкопать яму. Утром, перед разводом, получите лопату, — сказал он коротко.

После обеда, часам к шести, прибыли зэки, которые работали за зоной. Одеты они были плохо. Брюки в заплатках или рваные, рубашки грязные, на ногах лапти. Интеллектуальных лиц я почти не встретил. В основном это были местные жители — колхозники и рабочие с небольшими сроками.

Все направились в свои бараки помыться, а затем — в столовую на ужин. Я присоединился к ним. На ужин давали гороховый суп и три ложки пшенной каши. О такой пище зэки говорили: от голода не помрешь, но любить не захочешь.

Незадолго до отбоя я отправился в свой барак. Помещение было окутано едким дымом, как при пожаре. Зэки усердно жгли тряпки, чтобы выкурить полчища комаров, которые устроили себе здесь надежное убежище. Средство это мало помогло, и как только дым рассеялся, они появились вновь, да еще в большем количестве, чем до этого.

Я лег на нары и, чтобы спастись от летающих кровопийцев, накрылся одеялом, которое мне дали в коптерке вместе с матрацем, набитым соломой.

Было очень жарко и душно, и вскоре пришлось откинуть одеяло. Когда погас свет, стало несколько легче. Комары как будто успокоились. Но спать не пришлось. На смену комарам пришли «боевые орды» клопов. Они сыпались с потолка, словно горох, и сотнями бросались на нас.

С клопами я встречался неоднократно, и они меня обычно избегали.

Здесь же, к моему удивлению, они мною не брезговали, и мне пришлось охотиться за ними. На смену одному раздавленному клопу приходили два новых. О сне нечего было и думать. Лишь перед рассветом, утомленный борьбой с насекомыми, я на короткое время заснул.

Меня разбудил надрывный, душераздирающий звук удара по рельсу, означающий подъем. Быстро помылся и направился в столовую. Завтрак был такой: кусок хлеба, жидкий чай и две ложки гороховой каши.

После завтрака мне выдали лопату, и я пошел на развод. Впервые я услышал знаменитую «молитву».

«Заклученные! Конвой предупреждает: не растягиваться, не отставать! Из колонны не выходить! Шаг вправо, шаг влево является нарушением правил и считается попыткой к побегу. Конвой применяет оружие без предупреждения. Ясно?»

— Ясно,— ответил нестройный хор.

Моя работа оказалась далеко не легкой. Вместе с напарником, тщедушным мужиком лет тридцати, в прошлом счетоводом, предстояло выкопать большую яму. А земля оказалась глинистой и постоянно прилипала к лопате, которую приходилось периодически мочить водой. От натуги заболел живот, устали руки.

Землю я копал дня четыре, может быть пять, а затем мне было приказано покрыть крышу одного из домиков дранкой. Эта работа оказалась значительно легче, и на время вполне устраивала меня.

Вскоре, однако, меня вновь перебросили на другую работу, на этот раз на заготовку дров для зоны. Сначала пилил, а затем колот дрова. Женщины не очень любили колоть дрова тяжелым колуном и уступили мне это занятие, предпочитая трудиться двуручной пилой.

В пересылке я отъелся и не страдал отсутствием силы. Бицепсы вновь заметно выделялись, и почти любой чурбан я мог расколоть одним ударом.

Я работал даже с азартом, и заготовка дров вызвала во мне что-то вроде спортивного интереса. Конечно, хотелось также и немного бравировать перед женщинами, особенно молодыми.

Постоянно мучила бессонница. Лето было очень жаркое, и духота в бараке с каждым днем возрастала. Одновременно прибавились комары и клопы, от которых не было спасения. Трудно стало работать, и я невольно вспомнил Таганку, когда меня ежедневно вызывали на допрос и не давали спать. Остальные зэки, видимо, уже «акклиматизировались» и, в отличие от меня, спали крепким сном.

Проходили дни, недели, а я по-прежнему работал на «общих». Когда я обратился с вопросом к нарядчику Мамаеву, он отмахнулся от меня, как от назойливой мухи.

— Чего беспокоитесь? Приказ на вас еще не поступил. Вот поступит — мы вам скажем.

— Странно. Меня в спешном порядке направили сюда по спецнаряду, поскольку здесь нет врача, а вместо этого используют уже больше месяца на «общих». Где здесь логика?

— Логика? Здесь спрашивают не логику, а бумажку, приказ. А его пока еще нет. Вам ясно?

— Ясно-то ясно, но мне от этого не легче.

— Да, кстати,— сказал Мамаев, направляясь на вахту,— с завтрашнего дня вы пойдете на сельхозработы. Имейте в виду — подъем будет пораньше.

С этого дня резкий звук удара по рельсу будил нас еще до рассвета. После скудного завтрака отправлялись к месту работы, прошагав добрых четыре километра, пока не добрались до цели — большого поля, где должны были провести прополку овощей от сорняков.

Конвоиры торопили нас, заставляли идти быстрее, а затем следили, чтобы никто не филонил. Работа в наклонку была для меня непривычна и утомительна, тем более, что я хронически не досыпал.

Часам к двенадцати прозвучала команда:

— Кончай работу!

— Что, перекур? — спросили зэки удивленно.

— Нет, пойдете в зону.

— Так рано?

— Почему рано? Пообедаете, а потом вернетесь обратно.

— Сволочи! — выругался кто-то рядом со мной.— Выходит, снова топать четыре километра туда и обратно.

Для начальства было проще гнать нас снова в зону, чем организовать обед в поле. Их мало интересовало, как это будет отражаться на здоровье заключенных. Это рабский труд — работать целый день в поле, да еще идти шестнадцать километров пешком.

В конце рабочего дня все были «без задних ног» и едва дотащились до зоны. Впервые за это время я спал крепким сном, и даже клопы и комары не могли помешать мне.

Я снова начал тощать и довольно заметно, брюки стали спадать и пришлось сделать новые дырочки в ремне.

Заступиться за нас было некому. Фельдшер Тухватуллина была слишком молода и неопытна, и, главное, отсутствовали желание и мужество для этого.

Что касается нарядчика Мамаева, то он, по старой привычке, знал лишь одно: требовать и командовать. Жалость была ему незнакома.

Начальник колонии Казанкин не казался злодеем. Это был худощавый высокий мужчина лет тридцати пяти, который производил впечатление спокойного и уравновешенного человека. Возможно, что все наши беды казались ему пустяковыми, не стоящими разговоров.

Однажды он подошел ко мне после работы.

— Вы врач? — спросил он, изучающе оглядывая меня с головы до ног.

— Да.

— На прополке работали?

— Да.

— Вот что я вам хочу сказать,— он сделал короткую паузу, словно задумываясь.— Мне известно, что вы прибыли сюда по спецнаряду, но пока на вас еще не прибыл приказ из управления. У меня к вам такое предложение,— он снова сделал паузу,— много клопов в бараках. Надо с ними бороться. Вы же медик.

— Бороться? С клопами? — Это предложение удивило меня.— А какими средствами? Может быть у вас есть пиретрум?

— Специальных средств у нас нет. А вот кипяток найдем. Я уже отдал Мамаеву распоряжение, чтобы он побеспокоился об этом. С завтрашнего дня вы остаетесь в зоне. Вам понятно?

— Да.

Откровенно говоря, мне ничего не было понятно и особенно — как уничтожить клопов кипятком. Клопы же, в основном, отсиживались в расщелинах стен, потолка и нар. И, кроме того, кипяток вряд ли на них подействует. Но я знал — начальство не любит возражений. Для меня же сейчас главное было другое — я остался в зоне.

На следующий день во время развода ко мне подошел Мамаев. В руках он держал странный чайник с длинным носиком, который постепенно сужался. Отверстие его было диаметром не более двух-трех миллиметров.

— Вот вам специальный чайник,— сказал он торжественно.— Наши слесари припаяли ему тонкий наконечник, чтобы легче было попасть в щели нар. И кроме того, так меньше расходуется кипяток.

— А где я его возьму?

— Пойдете в кухню. Я уже договорился с поварами.

С этого дня я стал заправским дезинсектором. Пока эки были на работе, я лазил по нарам и ошпаривал клопов, которые во множестве отсиживались в трещинах и щелях нар. Однако, пока я нес кипяток из кухни, вода заметно остывала и теряла свою «убойную» силу. Я только растревожил кровопийц. Правда, тех, которые пытались покинуть свои убежища, я давил беспощадно. Кровавые пятна на нарах и стенах служили веским доказательством моего трудолюбия.

Эта работа была довольно легкой, а постоянные перебои с кипятком позволяли мне часто и долго отдыхать. За это время я успел познакомиться с жителями лагеря, которые находились в нем дольше меня.

Днем в колонии оставались лишь немногие эки: обслуга, рабочие мастерских и инвалиды. Когда делать было нечего, я беседовал с ними и чаще всего с цыганом Пшеничниковым — коренастым мужчиной средних лет и очень спокойным. Он больше походил на сельского учителя, хотя был профессиональным вором.

На фронте он был тяжело ранен в живот, и последствием ранения стала огромная послеоперационная грыжа. Пшеничников постоянно носил бандаж и поэтому освобождался от общих работ.

Злые языки говорили, что его ранили не на фронте, а во время драки ножом, но я этому не поверил. Рубцы на животе были характерны для осколочных ранений.

Пшеничников называл себя художником, рисовал для колонии разные плакаты и надписи и пытался делать «коврики» — лубочные картинки с рыцарями на конях, лебедями, плывущими по озеру, и девицами в розовых платьях на фоне лунного пейзажа. Судя по этим «творениям» его можно было в лучшем случае называть маляром, но не художником.

Но вкусы бывают разные, как и уровень культуры, и вольнонаемные с удовольствием украшали стены своих

квартир подобными шедеврами.

У Пшеничникова была лагерная жена — Галина, крепко сложенная девица, которая также сидела за кражу. Поскольку Пшеничников оказался в колонии единственным «вором в законе», то она стала его подругой.

В воровском мире законы строгие, и «марухи» обязаны были беспрекословно подчиняться своему повелителю. Галя очень заботливо относилась к Пшеничникову, стирала ему белье, штопала носки, вышивала носовые платки и нередко приносила еду с кухни.

— Молодчина у меня Галя,— хвалился Пшеничников, — а в постели она — огонь. А вообще они оба внешне ничем не отличались от других заключенных, добросовестно выполняли свою работу и, конечно, здесь, в зоне, не воровали.

Однажды я спросил Пшеничникова:

— Ты женат?

— Нет.

— А почему?

— Нам не положено,— ответил он несколько смущенно.

— Как это понять?

— Вы же знаете, кто я по профессии. Настоящим вора́м не положено иметь семью и поддерживать связь с родственниками.

— А как тогда понимать татуировку «Не забуду мать родную», которую носят многие блатные?

— Наша мать — тюрьма, а наша семья воровская.

— А что у вас еще запрещено? — поинтересовался я.

— Многое, в том числе трудиться. Мы должны жить только на средства, полученные, как бы лучше сказать, не общепризнанными способами.

— Хочешь сказать преступными?

— Пусть будет по-вашему. Кроме того, нам не полагается читать газеты и интересоваться политикой. Ну и, конечно, мы должны быть честными друг к другу.

— А к другим?

— Фраера нас не касаются.

— Тогда вопрос: ты же сейчас работаешь. Выходит, ты нарушаешь один из основных воровских законов.

— Вообще-то да, но времена меняются. Среди наших многие смотрят сейчас на это уже другими глазами. Раньше было проще. Тогда давали небольшие сроки и отсиживаться в лагерях, «где вечно пляшут и поют» было довольно легко. Сейчас, например, за хищение государственного имущества могут припаять 25 лет, которые никто не выдержит, где-нибудь в Воркуте или на Колыме, если он будет придерживаться наших воровских законов. За отказ от работы тебе, очень просто, пришьют статью 58 пункт 14 — саботаж (экономическую контрреволюцию) и могут дать вплоть до «вышки» (высшую меру наказания — расстрел). Кому охота преждевременно распрощаться с жизнью? Вот я и кантуюсь в зоне и рисую.

Статья 58 пункт 14 подразумевала: контрреволюционный саботаж, т.е. сознательное неисполнение кем-либо определенных обязанностей или умышленно небрежное их исполнение со специальной целью ослабления власти правительства.

Эта статья дала следователям широкие возможности для нечестных манипуляций, чтобы возбудить очередное дело из ничего и заработать еще одну звездочку.

Любой брак в работе, любая поломка, авария, любое невыполнение плана, да и вообще любые неполадки на производстве и в учреждениях могли быть истолкованы как умышленные действия.

А как вообще можно доказать умышленность или неумышленность каких-либо действий? Все это целиком

зависело от совести следователя. В дальнейшем эта очень удобная статья использовалась, чтобы судить колхозников, не набравших нужное число трудодней, лагерников, не выработавших нормы, за побег...

Чтобы сохранить свое здоровье, многие блатные стали нарушать свои законы и устраивались, при возможности, бригадирами, нарядчиками или в качестве других придурков, где без особых усилий можно было пользоваться льготами.

Они не знали жалости к другим заключенным и добивались нередко хороших успехов на общих работах, применяя для этих целей дубинку и умело составляя туфтовые наряды.

Очень истощенных эков, таких как в Чистополе или Казлаге, я здесь не встретил, но несколько «доходяг» и в этой колонии имелось. Среди них выделялся молодой парень лет двадцати, которого звали Володей.

Одетый в рваную одежду, с изможденным лицом, он с трудом волочил ноги, передвигаясь, словно во сне. Володя ни с кем не разговаривал и постоянно мычал. Его считали умалишенным и на работу не гнали. На шее у него висела небольшая котомка, в которой он прятал остатки своей пайки, а в правой руке держал черный от копоти котелок.

Днем он околачивался около кухни и столовой и обследовал помойные ямы. Он сидел по статье 193 (военной) и, кажется, за дезертирство.

Как мне рассказывали, Володя был не местным, а попал сюда не то из Белоруссии, не то с Украины.

Среди инвалидов выделялся счетовод Куклин. Его торсу мог бы позавидовать Геркулес. Плечи были косая сажень, бицепсы и кулаки могли принадлежать молотобойцу. Ему бы только поднимать гири или быть цирковым борцом, но, увы — ноги были ампутированы. Одна выше колена, другая — ниже.

Куклина судили за дезертирство и бандитизм. Во время войны он остался в лесу, где устроил себе хорошо замаскированную землянку. Был вооружен: имел ружье и запас пороха и патронов. Он запасся продуктами: мукой, сахаром, солью, которые, в основном, добыл грабежом. Старался грабить подальше от своего укрытия. Занимался также охотой, ловил рыбу, собирал ягоды и грибы.

Долго его разыскивала милиция, и в конечном итоге засекли Куклина. Пришли за ним с автоматами и потребовали, чтобы он сдался. Куклин оказал вооруженное сопротивление, и началась перестрелка. В левую ногу угодили ему семь пуль, в правую — три. Так он был взят милицией и судим. Ноги ампутировали.

Это был безусловно мужественный и храбрый человек, но странно, что он фронту предпочел не менее опасную жизнь в лесу, по существу — жизнь разбойника.

Я встречал дезертиров, которые трусливо прятались на чердаках и в подвалах у своих родных или вели жизнь отшельников в глухомани, питаясь, в основном, дарами леса. Куклин в отличие от них действовал смело или, точнее, нагло, прекрасно зная, что в случае неудачи ему могла грозить высшая мера наказания.

Спросить его мне было неудобно, но у меня создалось впечатление, что он скрывался в лесу не от трусости, а от нежелания защищать Родину, которой руководил «любимый вождь всех народов».

Я работаю врачом

Недолго я занимался дезинсекцией барачков, всего какие-то восемь-десять дней, и был, наконец, переведен на работу в санчасть в качестве врача.

В тот день меня вызвали в амбулаторию. Там уже сидели начальник колонии Казанкин и фельдшер Тухватуллина.

— Садитесь! — Казанкин показал рукой на свободную табуретку.— На днях на вас поступило распоряжение из управления, и вы приказом назначены врачом колонии. Непосредственным вашим начальником будет Сафура Ибрагимовна,— он кивнул в ее сторону.— Она объяснит вам ваши обязанности. У вас ко мне есть вопросы?

— Нет.

— Тогда работайте.— После этих слов начальник покинул амбулаторию. Тухватуллина, или, как ее звали по-русски Софья Ивановна, сидела напротив меня за столом и, кажется, была несколько смущена.

— Вот что, доктор,— начала она после короткой паузы,— хочу вам сначала коротко рассказать, чем вы будете заниматься. Утром надо быть на разводе. Иногда вы, иногда я, попеременно. Надо выяснять, нет ли больных. Если есть больные, тогда обследуете их после развода. Посмотрите также, как рабочие одеты, какая у них обувь. Бывает, что заключенные приходят на развод босиком.

— Босиком? — удивился я.

— Да. У некоторых бывает, что обувь пришла в непригодность, у других ее украли. Нередко встречаются и такие, которые просто не хотят работать и ищут причину, чтобы пофилонить. Потом надо посмотреть больных в стационаре и заполнить на них

истории болезни. Вечером у вас будет амбулаторный прием. Ну, а днем вы должны проверять санитарное состояние зоны — барачков, кухни, столовой, бани... Вот, пожалуй, и все ваши обязанности.

Хотелось задать ей вопрос: а вы что будете делать? Но я молчал. Из опыта знал, что чаще всего вольнонаемные медики занимаются лишь тем, что контролируют работу заключенных сотрудников.

Тухватуллина вынула маленькое зеркальце из сумки и поправила свои длинные темно-русые, не совсем татарские волосы.

— В амбулатории вам поможет медсестра Судиловская. Вот все, что я хотела вам сказать. Сегодня можете быть свободным.

— А где я буду жить?

— Да, совсем забыла. Жить вы будете в амбулатории. Так удобнее для работы. Постельное белье получите у сестры-хозяйки Кузнецовой. А сейчас можете пойти в барак, чтобы взять свои вещи.

После обеда я перебрался в амбулаторию. Под кушетку положил свой фанерный чемодан и рюкзак, а затем осмотрелся. Амбулатория имела одно большое окно, из которого просматривалась вся зона, в том числе и вахта. Это имело свои положительные и отрицательные стороны.

Через окно я всегда прекрасно видел, что делалось в зоне, но и каждый мой шаг находился под наблюдением, тем более, что вахта была расположена напротив меня, на другом конце зоны.

В прихожей я заметил еще одну дверь, которая, однако, была заколочена гвоздями и загорожена скамейкой. Она вела в небольшую комнатку, где жили девушки Нина и Настя, которые работали в бухгалтерии. Рядом находилась мастерская, где плели лапти.

Нина или, точнее, Нина Привалихина имела кукольное лицо, большие, несколько удивленные синие глаза, небольшой аккуратный носик, красиво очерченные губы и светло-русые длинные волосы. Она была очень стройная, с тонкой талией и высокой грудью. Настоящая красавица. Она никого не могла оставить равнодушным, но сама вела себя очень строго и была недоступна. Говорили, что ее сестра известная артистка театра. На работу она шла всегда вместе с Настей, невзрачной толстушкой, и старалась не смотреть на мужчин. Я не видел, чтобы она с кем-нибудь кокетничала, и все в ней — высоко поднятая голова, равнодушное выражение глаз, говорило о том, что для нее существовало лишь одно — работа.

Я также был равнодушен к ней. Как врач, я всегда имел возможность найти подходящий повод, чтобы поговорить с ней, но когда увидел ее испуганные глаза, мне стало неловко.

Нина очень дорожила своей работой и тем обстоятельством, что находилась в колонии, недалеко от родного города Йошкар-Олы. Она очень боялась этапа, и боязнь брала верх над чувствами.

Лишь однажды она потеряла самообладание и то ненадолго, когда в зону прибыл молодой, черноволосый, черноглазый летчик, который был ранен в ногу и носил протез. Волевое лицо Игоря, прямой тонкий нос, сжатые губы и крепкий подбородок произвели на нее сильное впечатление. Но Нина и здесь удержала себя в руках, и дальше записок и коротких бесед это увлечение не пошло.

Игорь Маслов работал в военной академии, которую из Ленинграда эвакуировали в Йошкар-Олу, интендантом и ухитрился растратить (или присвоить) около миллиона рублей. Его приговорили к высшей мере наказания, которую заменили отправкой на фронт. Там он был тяжело ранен в правую ногу, которую

ампутировали. После возвращения в Йошкар-Олу он связался с ворами и бандитами и был чуть ли не их главарем. За уголовщину был вновь осужден. Нине он обещал сердце и руку, но и на этот раз оказался аферистом. После того, как его направили в другую колонию, девушка весточки от него не получила.

Я мог только преклоняться перед ее самообладанием и стойкостью. Пожалуй, таких девушек я больше не встречал в колониях. Она была осуждена на десять лет за должностное преступление и все эти годы оставалась целомудренной.

Спас ее возможно и тот факт, что в этой колонии ээки не задерживались дольше месяца. Кто знает, чем кончилась бы встреча с Игорем или другим интересным парнем, если бы он остался на длительное время в этой колонии. Есть крепости, которые требуют длительной осады.

На следующее утро, сразу после завтрака, я пошел на развод. Еще издали заметил свою начальницу и подошел к ней. Она стояла около вахты, в окружении ээков.

— Сегодня, кажется, больных нет,— сказала она после короткого приветствия.

К ней подошел молодой парень с довольно наглой физиономией.

— Не в чем ходить на работу,— пожаловался он, подняв сначала правую, а затем левую ногу и демонстрируя изношенные лапти. На подошвах они были совсем стерты и виднелись грязные портянки.

— Найдем вам другие,— ответила Тухватуллина и подошла к нарядчику Мамаеву. Тот послал кого-то из своих помощников за новыми лаптями. Лаптей в колонии было достаточно.

После развода я отправился в амбулаторию, где уже сидела медсестра Мария Алексеевна Судиловская, женщина лет сорока, которая встретила меня

вымученной улыбкой. В ней было что-то монашеское — темные, гладко причесанные волосы, острый нос, тонкие сжатые губы и очень холодные, недобрые глаза. Она протянула мне руку.

— Рада с вами познакомиться,— сказала она вместо приветствия,— очень хорошо, что у нас появился свой врач. Трудно работать без него. Фельдшер — это все-таки не врач. А сейчас давайте сначала познакомимся с документами, а затем с аптечкой и инструментарием.

Амбулаторный журнал и другие документы были в порядке. Записи сделаны аккуратно и вполне грамотно. Правда больные, в основном с легкими травмами или простудными заболеваниями, не требовали больших знаний. Аптечка была не очень богата, но имелись трофейные медикаменты — очень удобные флаконы (для многократного использования) с хлорэтилом, ампулы со змеиным и пчелиным ядом и другие. Инструментов было немного: шприцы, иглы, пинцеты, скальпели...

Немного погодя пришли двое эков на перевязку и еще один, которому надо было ставить банки.

— Больше, наверно, никто не придет,— сказала Судиловская.— Советую вам пойти сейчас в стационар на обход. Обычно его проводят в это время.

Стационар оказался небольшим, коек приблизительно на двадцать, из которых заняты были двенадцать. Их занимали две пожилые женщины с отеками, несколько молодых парней с простудными заболеваниями, трое с чесоткой и другие.

Здесь я познакомился с сестрой-хозяйкой и поваром Александрой Федоровной Кузнецовой, уже немолодой женщиной с добрым, привлекательным лицом.

После обеда я заполнил истории болезни, назначил лекарства и отправился проверять объекты зоны — пищеблок, прачечную, баню...

Знакомство с объектами зоны

Кухня занимала в лагере особое положение, так как от нее во многом зависело здоровье и благополучие заключенных. Поэтому за ней и следили тысячи глаз — медработники, придурки, простые работяги и вольнонаемные. Все хотели, чтобы суп был погуще и наваристее, а кашу можно было бы резать ножом. Но при скудном лагерном рационе сделать это было невозможно, и поэтому кухонные работники в первую очередь старались угодить начальству. Работягам оставалась лишь прозрачная жижица.

Нарядчик должен был комплектовать кухню, подыскивать повара, его помощников и посудомоек. Желаящие занимать эти места находились всегда, и выбор зависел от воли и желания нарядчика.

Если повар должен был обладать определенными профессиональными качествами, то для его помощников и obsługi этого не требовалось. Зато девушек для этих должностей выбирали смазливых, фигуристых и не очень строптивых. Строптивых отправляли сразу со следующим этапом подальше.

Но перед тем как занять место в кухне, все ее работники обязаны были пройти строгий медицинский контроль, что очень устраивало придурков. Они боялись венерических болезней. Много раз обращались ко мне нарядчики, зав. столовыми и другие представители лагерной элиты, шепча заговорщически, чтобы я тщательно проверил новую кухонную работницу, санитарку, а то и просто какую-нибудь молоденькую уборщицу, из чисто «профилактических соображений».

Повар, женщина лет тридцати пяти, не очень полная для своей профессии, краснощекая, с

веснушками на лице, встретила меня пугливо, словно перед судьбоносным испытанием.

Она знала, что от меня, нарядчика и любого сотрудника лагеря зависела ее судьба и поэтому находилась в постоянном страхе. При желании любой из нас мог бы придраться к ней — мелких недостатков в работе нельзя избежать.

Можно пальцем пройтись по стене, чтобы найти пыль или копоть, проверить чистоту фартука или ногтей на руках, наличие воды в умывальнике и тому подобное. Погрешности бывают и в кухне.

— Вы хотите пробу снимать? — женщина заискивающе посмотрела на меня.

— Нет, спасибо. Покажите, пожалуйста, санитарные книжки. Книжки были в порядке. Все работники кухни регулярно проходили медосмотр.

— У вас есть какие-нибудь замечания? — снова я увидел страх в ее глазах.

— Нет. По-моему, у вас в кухне чисто и все в порядке.

— Спасибо,— женщина облегченно вздохнула, точно гора с плеч свалилась.

— Приходите еще,— сказала она почти весело на прощание,— будем только рады.

Вероятнее всего, место повара досталось этой женщине нелегко. Она была хороша собой, опрятная, и я не сомневаюсь в том, что за эту престижную должность ей пришлось платить натурой, как и ее помощницам и посудомойкам. При этом не требовалось применять силу или уговаривать. Просто предложили: либо совмещать работу на кухне с местом любовницы, либо — дальний этап. А дальний этап — это многие дни в дороге в скотских условиях, а затем лесоповал или шахты, после которых далеко не все возвращаются домой, а если и возвращаются, то чаще всего морально

и физически искалеченными. Редко кто выбирал дальнюю дорогу.

В лагерной иерархии заведующий баней или, проще говоря банщик, занимал не последнюю ступень, и все придурки старались наладить с ним хорошие отношения. Он был нужным человеком.

Банщик был первым человеком, с кем сталкивались вновь прибывшие этапники, мечтавшие после изнурительной дороги о хлебе и махорке. За них они были готовы отдать свою одежду, обувь, а если имели, и деньги. Этим и пользовался банщик, который всегда имел в запасе хлеб и курево. Торговать строго запрещалось, за это лишали работы и сажали в карцер, но заключенных это не смущало.

С банщиком Иваном я уже был знаком и поддерживал с ним добрые отношения.

— Поздравляю вас, доктор Генри,— встретил он меня приветливо,— что наконец-то работаете врачом. Только не обижайте меня в будущем. Ладно? — на лице его появилась широкая улыбка,— вы же сейчас мой главный начальник.

— Все зависит от тебя,— ответил я,— и меньше всего старайся заниматься коммерцией. Это опасно. Понял?

— Буду стараться.

Я пошел в моечную, посмотрел насколько чисты скамейки и тазы, а затем направился к выходу.

— Может быть вам нужно мыло? — спросил Иван.

— Пока нет. Может быть в другой раз.

Мыло было очень дефицитным товаром, и заключенным выдавали в бане лишь символический кусочек полужидкой массы. Особенно нуждались в нем женщины, которые последнее отдавали за него.

Но баня имела для эков еще одно важное значение. Она служила местом встреч и свиданий. То, что она состояла из ряда помещений, способствовало

«конспирации», так же как и отдельный вход и выход. Правда, пользоваться ее услугами могла лишь лагерная элита, ибо за это следовало платить. Банщик Иван превращался тогда в надежного сторожа, готового в любой момент сигнализировать об опасности.

Прачечная не представляла для меня большого интереса. Во влажном помещении на веревках висело мокрое белье, и две деревенского вида молодые женщины были заняты стиркой. Я поздоровался.

— Вы наш новый врач? — поинтересовалась одна из прачек, вытирая мокрые руки фартуком.

— Совершенно верно.

— Это хорошо. Будем знать к кому пойти, когда захвораем. А вы от всех болезней лечите? — женщина лукаво посмотрела на меня.

— Таких врачей еще нет, которые могли бы лечить от всех болезней. А вы что, болеете?

— Иногда. От одиночества,— она засмеялась.

— От этой болезни лекарства у меня нет. Там таблетки и микстуры не дают результата. Но, я думаю, что вы лучше меня найдете способ излечения. Во всяком случае, желаю вам удачи.

— Не забывайте нас,— напутствовали меня прачки, — если надо что-то стирать, приходите. Будем рады.

Я зашел также и в мастерскую, где плели лапти. Сразу обратил внимание на своеобразный запах лыка, которое свисало длинными лентами с потолка. Работало пятеро пожилых мужчин-мари. Они трудились не спеша, то и дело устраивая перекуры. Чтобы получить хлеб выше нормы, они должны были сделать три пары, что далеко непросто.

Позже я узнал, что существуют разные хитрости, чтобы выполнить и перевыполнить норму. Можно, например, плести лапти плотные, что требует больше времени, или, наоборот, редкие.

Но существовал способ значительно проще. Кое-кто из работяг, которые были на «общих», надевали специально истрепанные лапти (их держали в «зачеке»), чтобы получить на разводе новые, хотя в них не нуждались. Эти лапти они затем возвращали в мастерскую. Вполне понятно, что благодаря этой хитроумной комбинации, мастерам в лапотном цеху не составляло большого труда справиться с нормой. Конечно, все это делалось за определенную мзду.

Вольнонаемные

Жизнь в этой колонии протекала удивительно спокойно, без особых происшествий и очень буднично. Один день, как другой. Подъем, развод, работа, вот, пожалуй, и все, не считая приема пищи. Не так, как в Казлаге. Там жизнь была ключом, и шла постоянная, безжалостная борьба. Зэки грабили и убивали, проигрывали друг друга в карты, калечили людей физически и морально. Там царили волчьи законы и кулачное право.

Здесь было все иначе. Может быть, потому, что в этой колонии в основном содержались местные жители с небольшими сроками, осужденные чаще всего по бытовым статьям. Уголовников было мало — несколько карманников, да еще Пшеничников и его лагерная жена Галя.

Вольнонаемных, кроме фельдшера Тухватуллиной, я видел редко, так же как и охранников.

Среди последних выделялся деревенский мужик лет сорока пяти в звании старшины, физиономия которого была на редкость тупая. Прямоугольная голова, квадратная челюсть, выступающие скулы и плоский нос, да редкие волосы делали его похожим на Угрюм-Бурчеева из «Города Глупово» Салтыкова-Щедрина.

Когда прибывал этап, старшина обходил зэков и задавал всем один и тот же вопрос: «Могай район?» (марийск.— из какого района?). Поэтому в зоне его называли не иначе, как «Могай район».

Он строил из себя большого начальника, любил ходить по зоне и заглядывать в каждый уголок, надеясь найти какие-нибудь неполадки: паутину на потолке в столовой, невытый пол в бараке, грязную посуду на кухне и зэков, которые без дела шатаются по баракам.

С особым азартом он охотился за любовными парами и обыкновенно с наступлением темноты отправлялся на их поиски. Радости его не было предела, когда ему удавалось поймать где-нибудь в тамбуре парня, обнимавшего свою девушку. Тогда он чувствовал себя героем, совершившим подвиг, или полководцем, выигравшим важное сражение.

За такие грехи эки попадали в карцер, чаще всего дней на пять. А вообще охранники не производили впечатления врожденных извергов и садистов. Чаще всего это были немолодые деревенские мужики, которых мобилизовали на такую службу, или же не нашедшие себе поблизости другой работы.

Их никак нельзя было сравнить с конвоирами-хохлами, которые сопровождали нас по этапу из Москвы в Казань в 1941 году. Те не знали жалости и били деревянными молотками по спинам эков, которые в товарняках во время проверок не слишком быстро передвигались.

Я всегда с особым интересом изучал лица и поведение всех тех, кто трудился в тюрьмах и лагерях. Я всякий раз задавал себе вопрос: что заставило их выбрать себе такую работу? Желание исправить людей или карать их? Сочувствие? Жалость?

В Таганке, Чистополе и во время этапа я видел надзирателей и конвоиров, которые ненавидели заключенных, и на лицах которых выражалась злоба и жестокость.

Чаще всего, однако, я видел на лицах сотрудников тюрем и лагерей выражение брезгливости, презрения, а то и отвращения.

Что касается медицинских работников, которых я встречал, то многие из них относились весьма доброжелательно к нашему брату.

Вольнонаемные медики в основном были женщины, а они, как я замечал, всегда относились более

сочувственно к заключенным мужчинам, особенно молодым, чем к женщинам. Меня это нередко выручало.

Софья Ивановна не строила из себя начальника, всегда советовалась со мной и была весьма корректна. Она, вероятно, поняла, что эки такие же люди, как и все. Несколько позже я узнал, что для этого у нее были причины. Дело в том, что она дружила с нарядчиком Мамаевым и довольно серьезно и вынуждена была скрывать свои чувства, т.к. связь вольнонаемных с заключенными строго каралась. Позже, когда он освободился, она вышла замуж и стала Мамаевой. Среди охраны встречались также и девушки. Однажды две из них пришли ко мне на прием. Я сразу обратил внимание на их несколько плоские, но довольно милостивые лица со слабо выступающим носом. У одной волосы были цвета воронова крыла, у другой темно-русые.

Девушки оказались луговыми марийками. И были очень чисто и опрятно одеты. Охранницы уселись на скамейку, скромно положив руки на колени.

— Заходите! — пригласил я девушек. У меня как раз на приеме никого не было.

Они остановились в приемной в нерешительности и, опустив глаза, слегка покраснели.

— Пожалуйста, садитесь,— я показал рукой на свободные табуретки.

— Спасибо,— ответили девушки.

— На что жалуетесь? — задал я стандартный вопрос.

— Нет ли у вас бинтика? — попросила черненькая.

— А мне надо немного вазелина,— добавила другая.

— Это мы найдем.— Я открыл аптечный шкафчик и вынул оттуда перевязочный материал и маленькую баночку с вазелином.

— Берите!

— Спасибо,— ответили девушки, но почему-то не собирались уходить. Они восторженно смотрели на меня, если не сказать влюбленно. Немного погодя, черненькая, густо покраснев, спросила:

— Вы, наверно, не русский? — Она, видимо, обратила внимание на мой акцент.

— Да.

— А какой вы национальности?

— Я немец.

— Немец? — У девушек глаза округлились от удивления.— Это неправда.

— Почему?

— Они же очень страшные, а вы красивый,— ответила темно-русая.— Я засмеялся.— Откуда вы это взяли, что все немцы страшные?

— Как же, мы видели в кино.

— Это не так. У всех народов есть красивые и некрасивые люди. И у немцев, так же как у русских, мари и других. А что касается кино, то там отбирают специально таких артистов с отталкивающими рожами.

С этого дня девушки-охранницы часто приходили ко мне на прием. Они обычно спрашивали у меня перевязочный материал или какую-нибудь мазь, а затем долго сидели молча и наблюдали за мной. Иногда задавали вопросы: откуда я, почему арестовали, есть ли жена и тому подобное?

Однажды черненькая пришла одна. На этот раз она ничего не просила.

— А где ваша подруга? — поинтересовался я.

— Ее направили на другой участок. И меня, наверно, вскоре тоже туда пошлют.— Глаза девушки стали грустными.

Она посидела несколько минут молча, а затем встала.

— Я должна идти. А это от меня.— Краснея, она передала мне вышитый носовой платок.

— Большое спасибо,— ответил я.— Очень красивый платок.

Охранница смущенно опустила глаза, но не спешила уйти. У нее было очень нежное лицо с розовыми щечками. Она напоминала мне красивую, экзотичную куклу, с которой хочется играть. Мы стояли друг против друга и не знали, что говорить. На меня смотрели ласковые, доверчивые глаза. Я обнял ее. Она стала испуганно озираться.

— Ой, не надо.

Я поцеловал ее в щеку. Снова я увидел испуганные глаза.

— Не надо.

Я погладил ей волосы.— Ты хорошая девушка.

Она густо покраснела.

— Простите, меня ждут. Я должна идти.

Она взяла мою руку и слегка погладила ее. Затем повернулась и, глубоко вздохнув, ушла. Больше я ее не встречал. Ее перевели на другой участок.

Обидно, подумал я, что такие славные девушки должны быть охранниками. А может быть, кто знает, для эков это было лучше. Эти девушки, во всяком случае, сохранили женственность и, вероятно, еще сочувственно относились к тем, кто находился здесь, за колючей проволокой.

Большую часть своего рабочего дня я должен был проводить в обществе медсестры Марии Алексеевны, которая оказалась весьма разговорчивой. У нее был хороший дом в Йошкар-Оле, в котором осталась одна дочь — девушка лет двадцати. Судиловскую арестовали вместе с мужем по доносу, согласно статье 58, часть 2. В чем заключался донос, она не говорила. Зэки очень неохотно рассказывали о причине их ареста.

— Боюсь за дочь,— поделилась она своими мыслями.

— Сами понимаете, девушка она интересная, придут к ней, конечно, ухажеры, будут устраивать вечеринки. Не

обойдется без вина. Правда, дочь у меня не легкомысленная, но всякое бывает в этом возрасте.

Но больше всего Мария Алексеевна любила расспрашивать меня и не только о моем прошлом. Она живо интересовалась, чем я занят в свободное время, что едят из дома, как отношусь к Тухватуллиной и Кузнецовой, есть ли у меня здесь девушка?

Она была весьма предупредительна, и если ко мне приходила какая-нибудь смазливая девушка без особых причин, Мария Алексеевна всегда освобождала амбулаторию.

— Кузнецову знаете? — говорила она мне, — ее все знали в городе. Она всегда торговала тряпками на толкучке. Вот за спекуляцию ее и посадили.

Лично на меня Александра Федоровна производила хорошее впечатление. А то, что она торговала на базаре, никого не должно было удивить. В военное время все торговали, чтобы выжить.

Ее сын Павел Александрович Кузнецов был известным спортсменом, который еще в 1935 году выполнил норматив мастера спорта СССР. Он был чемпионом Горьковского края и Марийской АССР по лыжным гонкам, чемпионом Поволжья по плаванию и знаменит в республике.

В стационаре работала еще медсестра Шура Шалагина, очень славная двадцатилетняя девушка с темными волосами и приятными чертами лица. Меня она сопровождала во время обхода больных и выполняла назначения. Шура была осуждена за растрату и получила два года. Это была веселая жизнерадостная девушка, которую больные очень любили. Ей писали записочки, объяснялись в любви и назначали свидания, но Шура на это не обращала особого внимания.

После вечернего приема ко мне, как правило, приходили бригадиры, нарядчик Мамаев, а также

начальник производства Комаров, чтобы познакомиться со списком освобожденных.

Ковалев^[1], Аня и другие

Василий Ковалев — крупный, упитанный, толстощекий мужчина с ногами в форме буквы «х», по внешности — типичный номенклатурный работник. Занимал пост председателя райисполкома и был осужден за должностное злоупотребление на десять лет. Он нередко выражал свое недовольствие, когда я, по его мнению, освобождал от работы слишком много людей, но меня это не волновало. Я настаивал на своем.

Начальник производства, как и многие придурки, был не без греха, но вольнонаемные смотрели на это сквозь пальцы. Ковалев был опытным производственником, которого не сразу заменишь...

Ее звали Аня. Она была агрономом по профессии и работала в основном за зоной. Ее можно было назвать привлекательной женщиной: очень ладно скроена, с выразительными большими, правда очень грустными, темными глазами, полными губами, аккуратным носиком. Аня редко улыбалась, и чаще всего ее лицо выражало грусть и печаль. Она относилась к тем женщинам, которые особенно тяжело переживали то, что оказались в местах заключений. К тому же у нее был большой срок — семь лет.

Видимо, одиночество и желание забыться, хотя бы на время, привели к тому, что она уступила ухаживаниям Ковалева.

Как многие очень крепкие и здоровые мужчины, начальник производства отличался крайней мнительностью, и малейшая царапина могла вывести его из равновесия.

Однажды он пришел ко мне после окончания вечернего приема. Он взял, как всегда, список освобожденных, но уходить не собирался. Видимо,

ждал, когда уйдет Мария Алексеевна. Медсестра поняла желание Ковалева и, сжав губы, с гордо поднятой головой покинула амбулаторию. Начальник производства облегченно вздохнул.

— Доктор, у меня к вам большая просьба,— обратился он ко мне, и на лице его появилось смущенное выражение.

— Какая? — спросил я несколько удивленно.

— Не могли бы вы проверить Аню?

— Не понимаю вас. Что я должен проверить?

— Меня интересует — не больна ли она.

— А что у нее? Температура? Или может быть кашель?

— Нет, по женской части.

— Она беременна?

— Нет. Я хочу знать, не страдает ли она венерической болезнью?

— Чем вызван такой интерес? Ведь вы ее, кажется, давно знаете?

— Дело в том, что мой маленький брат заболел.

— Какой еще брат?

Ковалев улыбнулся.— Сами понимаете — причинное место.

— Тогда надо сначала его посмотреть, а не вашу Аню. А вдруг ничего нет? На что жалуетесь?

— На рези, когда мочусь.

Осмотр выявил небольшую банальную трещину.

— Ничего у вас страшного нет,— успокоил я Ковалева.— Вы были просто слишком усердны во время свидания. Небольшая бытовая травма. Это бывает. Аню не к чему тревожить.

Об этом эпизоде я вскоре забыл, но дня через три меня вызвали ночью в женский барак. Встревоженные женщины обступили меня. Аня лежала на койке без сознания. Слышались голоса:

— Кажется, она мертва.

— Это все из-за Ковалева.

— Это он ее довел.

Я осмотрел ее. Пульс был очень слабый и редкий, тоны сердца едва выслушивались. Лицо у молодой женщины было синюшное. Рядом с ней на табуретке лежала пустая упаковка, на которой я прочел: люминал. Это снотворное — излюбленное средство у женщин, которые хотят свести счеты с жизнью. Аню я сразу перевел в больницу. Промывание желудка сделать не удалось. Пришлось ограничиться инъекциями стрихнина, разных сердечных и мочегонных средств... Только на четвертый день Аня пришла в себя.

— Зачем вы спасли мне жизнь? — спросила она меня.

— Это мой долг. Лучше скажите, зачем вы приняли люминал?

Аня не сразу ответила на мой вопрос. Оказывается, Ковалев, перед тем как обратиться ко мне, обвинил Аню в том, что она заразила его венерической болезнью.

Молодая женщина, которая и так не отличалась бойцовским характером, не могла вынести это гнусное и несправедливое обвинение. (Позже, приблизительно через год, когда я уже работал в другой колонии, Аня снова отравилась. На этот раз, однако, спасти ее не удалось.)

После попытки Ани отравиться Ковалев потерял интерес к ней и переключился на медсестру Шуру. Предварительно он поинтересовался у меня, здорова ли она. На этот вопрос я не мог дать исчерпывающий ответ, так как только работники пищеблока подвергались соответствующему медосмотру. Как-то совершенно неожиданно Ковалев ворвался вечером в амбулаторию в нетрезвом виде и потребовал Шуру. Она как раз находилась в приемной комнате.

— Я хочу с ней поговорить,— обратился он ко мне.— Она мне нужна.

Я взглянул на Шуру. К моему удивлению, девушка ничего не ответила и лишь загадочно улыбнулась. Создавалось впечатление, что ее не смущало странное состояние начальника производства. Я понял, что являюсь здесь лишним, и покинул амбулаторию.

Визит Ковалева увенчался полным успехом. С этого момента он часто приходил к Шуре. Сначала только в нетрезвом состоянии... Несколько позже и без того, чтобы принять дозу водки. Ковалев не был извергом или садистом. Когда он дружил с Аней, то относился к ней заботливо, помогал ей во всем и был образцовым кавалером. Он был ласковым и предупредительным, пока Аня его устраивала. После случая с отравлением Ковалев для видимости еще ухаживал за ней определенное время, а потом оставил ее. Пожалуй, она сама не хотела возобновлять отношения с ним, так как поняла, чего он стоит.

«Дружба», точнее связь с женщиной, должна была приносить ему только наслаждение, покой и удовольствие, но не заботы и тревоги. И главное — она не должна была отражаться на его здоровье. Свое здоровье и благополучие он ценил превыше всего.

Шура его больше устраивала. Она ничего не требовала, в том числе и клятвы в любви, и была довольна тем, что получала от него.

К здоровью остальных зэков Ковалев относился иначе. Они были для него только рабочей силой, которую следовало использовать максимально. Жалость к ним ему была чужда.

В сравнении с Казлагом условия в этой колонии были лучше, и особенно — питание. Очень много зависело от врача, который в первую очередь должен был справедливо определить категорию труда заключенного. Направляя слабого человека на общие работы, на лесоповал, можно было его в короткое время

превратить в безнадежного доходягу и кандидата на тот свет.

Здесь приходилось бороться с начальством и нарядчиком, которые были готовы направлять всех на общие работы.

Как и везде, в колонии существовали планы: сколько необходимо выкопать кубометров земли, свалить деревьев, сплести лаптей, выгрузить вагонов...

Вполне естественно, что эти планы трудно выполнить, когда большинство эков были переведены на ЛФТ (легкий физический труд), но это начальство не интересовало. Оно требовало свое, а нарядчик, начальник производства и бригадиры старались вовсю, чтобы не терять свое теплое место, не очень заботясь при этом о благополучии эков. При этом, нередко, случались конфузы.

Однажды с новым этапом прибыл крепкого телосложения мужчина лет тридцати, который перед медосмотром передал мне скомканную справку с печатью. В ней было написано, что данный гражданин страдает гемофилией.

— Доктор,— попросил он умоляюще,— сделайте, пожалуйста, все, чтобы меня не направили на общие работы, туда, где я могу получить травму, хотя бы легкую. Вы же понимаете, какая у меня болезнь. Любая царапина может мне стоить жизни.

— Конечно,— успокоил я его,— вы останетесь в зоне.

Как и положено, я выдал ему справку с указанием болезни, где было подчеркнуто, что всякие работы, связанные с возможностью получить травму, недопустимы. Рекомендовал работу в зоне, например, в качестве дневального или счетовода.

Как-то в лагере был объявлен аврал с тем, чтобы как можно больше эков направить на работу. Ковалев

выгнал всех, в том числе и инвалидов. Мой протест не подействовал.

Направили за зону и зэка с гемофилией. Его заставили таскать бревна. Во время работы острый конец обрубленного сучка легко поранил левое предплечье.

Бригадир, увидев неглубокую ранку, дал пострадавшему кусок бинта, сказав: чепуха. Забинтуешь, и все пройдет.

Но ничего не проходило. Кровь шла и шла. Еще раз забинтовали руку, наложив побольше ваты, но и это не помогло.

Зэк стал бледным, как полотно, он уже еле держался на ногах и просил лишь одного — быстрее отправить его в больницу.

Бригадир понял, что дело не ладное и обратился к конвоирам, чтобы больного отправить в зону.

Я мучился с ним больше суток, не сомкнув глаз, накладывал одну давящую повязку на другую, давал различные медикаменты и лишь с великим трудом остановил кровотечение.

— Вы чуть не угробили человека,— обрушился я несколько позже на начальника производства Ковалева, — вы что, справкам не верите или умнее врачей? А если бы больной умер? Кто бы отвечал за него? Вы!

— Мы с такими людьми никогда не встречались. Он же выглядел таким здоровым. Как я мог его оставить в зоне, когда даже инвалиды шли на работу,— оправдывался Ковалев.

— Внешность иногда обманчива,— ответил я.— Пусть это послужит вам уроком.

Володя

В начале 1945 года Ошлинская колония ИТК № 3 имела четыре участка, где содержалось около семисот заключенных. Она во многом напоминала пересыльный пункт. То и дело прибывали небольшие партии зэ-ков из разных районов республики, но они долго не задерживались. Одних направляли в Кузьмине (ИТК № 1), других, в основном пожилых людей и инвалидов, в Шушеры (ИТК № 2).

Для нас появление новых людей всегда было чем-то вроде праздника. От них мы узнавали последние новости, как живется на воле, и что изменилось после окончания войны.

Бывали случаи, когда оставшихся в Ошле людей можно было пересчитать на пальцах, и тогда в больнице просто нечего было делать.

Когда в стационаре пустовали койки, я занимал их обычно пожилыми людьми, и как-то решил положить на отдых «доходягу» Володю, которого все считали «полоумным». Он уже совсем отощал и вызывал во мне сострадание. Глаза у него были очень добрые и печальные, и не верилось, что он ненормальный. Моя затея не всем была по душе, в том числе она не понравилась и Ковалеву, но я настаивал на своем, приписывая Володе гастроэнтерит и прочие недуги.

Когда я его позвал в амбулаторию, он очень удивился. Володя как всегда мычал и стонал, словно его мучила зубная боль.

— Раздевайся! — приказал я.

Он разделся. Ребра можно было пересчитать, как струны на арфе, но до чистопольских или казлагских «доходяг» он еще не дотянул.

— Володя, а что скажешь, если я тебя положу в стационар? На поправку. Не возражаешь?

Он посмотрел на меня удивленными глазами. Такого вопроса он, вероятно, не ожидал. В колонии до сих пор только издевались над ним.

— Нет,— сказал он тихо,— хочу.

Володю отправили в баню, а потом переодели в чистое белье. Я предупредил сестру-хозяйку Кузнецову, чтобы его получше кормили и заполнил на него историю болезни с диагнозом: алиментарная дистрофия II степени, энтероколит.

Володя стал поправляться не по дням, а по часам, словно на дрожжах. Недели через три его трудно было узнать. Лицо стало круглое, гладкое, розовое, и оказалось, что это довольно симпатичный паренек.

Он перестал мычать и стонать, стал говорить нормально» правда медленно и несколько скованно.

Володя прибыл, по его словам, из Западной Украины. Находился во время войны в оккупационной зоне, где ему жилось далеко не сладко. Был у немцев в комендатуре на побегушках. Когда пришли наши, его забрали и обвинили в сотрудничестве с немцами. Пройдя через разные лагеря и тюрьмы, он постепенно превратился в «доходягу». Дистрофики, как известно, страдают разными авитаминозами, в том числе пеллагрой, одним из симптомов которой является деменция — приобретенное слабоумие. Этим, видимо, и объяснялось странное поведение Володи. Возможно, однако, что это была своеобразная защитная реакция, которая спасла его от общих работ. На «общих» он вряд ли выжил бы. Может быть даже, что он сознательно строил из себя дурачка.

Володя находился больше месяца в стационаре, а затем был выписан и направлен на легкие работы в зону. Он окреп и с удовольствием занялся делом. Он вновь стал нормальным человеком.

Оказывается, не очень многое требуется, чтобы человека сделать человеком. Немного сострадания и желание помочь.

Жестокая статья

Однажды в Ошлу прибыл небольшой этап в количестве 15 человек, в основном сельских жителей. Как и положено, их отправляли сначала в баню, а затем на медосмотр.

Первой вошла в приемную амбулатории худенькая женщина лет тридцати. Одета она была по-лагерному — в телогрейку, солдатские брюки и защитного цвета юбку. Ноги были обуты в ботинки из серого брезента с деревянной подошвой. Подобную обувь я помнил по Казлагу, где имелась даже специальная мастерская по изготовлению этих уродов.

Уже по одежде я сделал вывод, что женщина не первый год в заключении. Она села осторожно на скамейку, скромно положив худые руки на колени. Лицо ее было миловидное, но очень бледное, глаза голубые, светло-русые волосы коротко пострижены. Во взгляде, который она направила на меня, я прочитал печаль, покорность и надежду на сочувствие. После вопросов о фамилии, имени и отчестве, а также годе рождения, следовала статья.

— От седьмого-восьмого,— ответила она тихо.

Срок я уже не спрашивал, так как эта статья «знала» лишь два наказания: расстрел, или десять лет лагерей.

— За что посадили? — спросил я.

— Было очень голодное время, и мне надо было кормить маленьких детей. А есть было нечего. Тогда я пошла на колхозное поле уже после уборки и набрала с полведра картошки.

— Выходит, за полведра картошки — десять лет?

— Да.

В начале тридцатых годов свирепствовал голод, который только на Украине унес около четырех миллионов людей (1932—33). Голод заставлял их в поисках пищи идти на колхозные и совхозные поля, зернохранилища и тому подобное, чтобы чем-то накормить своих детей. Тогда и вышло по инициативе «мудрого отца всех народов и друга детей» Сталина постановление ЦИК и Совнаркома СССР от 7.8.1932 г. «Об охране имущества государственных предприятий, совхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности».

В сталинской редакции им была вписана следующая фраза: «Люди, покушающиеся на общественную собственность, должны быть рассматриваемы как враги народа».

Закон предусматривал расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой, при смягчающих обстоятельствах,— лишение свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией всего имущества, «за хищение урожая на полях, общественных запасов, скота, саботаж сельскохозяйственных работ, кража семян, вредительское уменьшение норм высева, умышленная поломка тракторов и машин, уничтожение лошадей, безнарядное расходование молочных продуктов...»

Дальше было указано — применять постановление «независимо от размера похищенного».

В народе постановление было названо: «закон о пяти колосках», так как в те времена голодные ночью по плохо убранному полю стригли ножницами колоски на кашу для детей.

Осужденные по статье от 7/8 32 г. не подлежали амнистии. Нарком юстиции тех лет Н. Крыленко разъяснил постановление следующим образом: «Всякому, кто покушается на общественную собственность, если он будет выходцем из враждебной среды — расстрел. Если это вовлеченный в кулацкую

компанию, поддавшийся кулацкому влиянию элемент, еще не отказавшийся от старых воззрений единоличник или колхозник — 10-летнее лишение свободы. Вот как гласит закон».

Крыленко, между прочим, был спортсменом, покровителем советских шахматистов и видным альпинистом. Его именем на Памире, в непосредственной близости от пика Ленина (7134 м), был назван перевал. Член компартии с 1904 года, участник революций 1905—1907 гг., бывший Верховный командующий, он был расстрелян в 1938 г. как враг народа.

Десятки тысяч людей были осуждены по статье от седьмого-восьмого. В военные годы я встречал их всюду в тюрьмах и лагерях. Многие, у кого кончился в это время срок, были задержаны до особого распоряжения и освобождены лишь после окончания войны.

Женщина, которая сидела передо мной, была одна из жертв этого страшного закона. Какую же угрозу она могла представлять для Советского государства? — подумал я невольно.

— Ради бога, не отправляйте меня на «общие»,— умоляла она меня.— Не хочу к концу своего срока погибнуть.

Беглого осмотра было достаточно, чтобы освободить ее от физического труда. У нее было выраженное варикозное расширение вен нижних конечностей и изменения со стороны сердечно-сосудистой системы.

— Не беспокойтесь,— успокоил я женщину,— вам дадут легкую работу в зоне.

— Большое спасибо,— вздохнула она с облегчением,— а то меня были готовы послать на лесоразработки.

Несколько позже ее отправили в Шушеры, откуда она вскоре была освобождена.

Кончилось лето, и началась далеко не золотая осень с нудными, нескончаемыми дождями. Правда, одно

было хорошо — исчезли комары.

Зэки приходили с работы грязные, в мокрой одежде, и в бараках воздух стал еще тяжелее. В тамбуре, на нарах, везде висели портянки, лапти, штаны, издававшие своеобразный кисловатый запах.

Одновременно с переменной погоды появились и первые больные с простудными заболеваниями, в том числе и воспалением легких, и работы стало больше. Многие зэки жаловались на боли в пояснице, ходили скрюченными, и далеко не всегда было легко отличить больных от симулянтов.

Работяг можно было только пожалеть, особенно сейчас, в осенний период. Выполнять тяжелую работу на голодном пайке само по себе наказание, тем более, что большинство зэков были плохо одеты и обуты. Одежда не выдавалась, и каждый отправлялся на работу в том, в чем его арестовали. Единственное, на что могли рассчитывать заключенные, были лапти — не лучшая обувь в слякотную погоду.

Вполне естественно, что все стремились на прием в амбулаторию, но не для того, чтобы получить лекарство. Они мечтали об освобождении от работы, хотя бы на денек.

Всех удовлетворить я, конечно, не мог, и поэтому находились такие, которые пытались симулировать. Они не знали, что я прошел хорошую школу в Казлаге и научился распознавать все эти хитроумные способы уклонения от работы.

Первый, кого я разоблачил, был молодой паренек, который под мышкой держал мешочек с теплой золой, чтобы поднять температуру. За ним последовали двое с поносом, вызванным крепким мыльным раствором. Кроме того, я имел свою «агентуру», в частности, дневальных барачников, которые очень дорожили своей работой и всегда готовы были мне помочь. Они и рассказали мне о симулянтах и о том, чем они вызвали

понос. О подобных «художествах» я должен был докладывать нарядчику или начальнику режима, но никогда этого не делал.

Я ограничивался всегда лишь тем, что читал «больным» нотацию, не давая им освобождения от работ.

«Артист» — Девушки-воровки

С новыми, этапами стали приходить уголовники, и климат в колонии стал иной. Далеко не все урки жаждали трудиться, и каждый пытался разными способами увильнуть от работы. Отказаться от нее вообще они не рисковали, так как могли быть осуждены за саботаж. А такой поворот дела их не устраивал. Поэтому они старались хотя бы от случая к случаю найти причину, чтобы остаться в зоне.

Как-то перед разводом меня вызвали в мужской барак. Погода была скверная. О такой говорят, что хороший хозяин собаку не выгонит на улицу. В бараке на полу лежал мужчина небольшого роста, средних лет, вокруг которого столпились ээки.

— Припадочный,— услышал я.

Мужчину я знал. Это был вор-рецидивист по кличке «Артист», который неоднократно просил у меня освобождение. «Припадок» вызвал у меня подозрение. «Артист» дергал руками и ногами, откидывал голову назад, но как мне показалось, очень осторожно, чтобы не причинить себе боли. Глаза у него были закрыты, язык не прикушен. Я взял кусочек ваты, намочил его нашатырным спиртом и прижал к носу «больного». «Артист» стал дышать ртом, но я его сразу закрыл рукой. Секундами позже вор вскочил и, зло ругаясь, покинул барак. Представление закончилось, и попытка получить таким путем освобождение от работы провалилась.

С приходом нового этапа жизнь в колонии оживилась. Теперь можно было встретить в зоне не только немощных стариков и инвалидов, но также и весьма привлекательных представительниц прекрасного пола. Поскольку они все обязаны были

пройти медосмотр, то я одним из первых мог оценить их по достоинству.

Однажды, это было в октябре, ко мне направили трех девушек — высоких, стройных, похожих друг на друга, с весьма миловидными лицами. Звали их Валя, Тася и Ира. Девушки были осуждены по статье 162 за квартирную кражу, что меня удивило.

Я раньше всегда думал, что воры и грабители — люди не только с исковерканной психикой, но также и с неприятной, если не отталкивающей, внешностью. Они должны были выглядеть так, как их изображал Чезаре Ломброзо, который выдвинул положение о существовании особого типа человека, предрасположенного к совершению преступлений в силу определенных биологических признаков.

Действительно, я иногда встречал убийц и насильников с низким лбом, сплюснутым носом и тупоумным выражением лица, напоминающим отдаленно неандертальца. Но также видел и красивых бандитов. Привлекательные воровки попадались реже, значительно чаще — смазливые растратчицы, спекулянтки и осужденные по другим бытовым статьям. Правда, если рассуждать логично, то они такие же воры. Разница лишь в том, что одни залезают в карман государства или соседа, а другие отбирают деньги у своих сограждан спекулятивным путем, продавая вещи дороже, чем они стоят.

Что же касается квартирной или карманной кражи, то они требуют определенного опыта, иногда даже артистичности, да еще немалой смелости.

Человеческая натура создана так, что она нуждается в обществе. Человеку трудно жить одному — он коллективное «животное», и в определенном возрасте у него особенно большая тяга к лицам другого пола. В этом я не был исключением.

Мне понравилась Тася. У нее было простое, несколько округлое лицо, очень свежее, серые глаза и длинные светло-русые волосы. Заметил я еще одну особенность: небольшое коричневое пятно-«золотинку» на радужной оболочке левого глаза.

Что касается фигуры, то она олицетворяла образ красивой, здоровой крестьянской девушки.

В колониях обычно знакомятся в столовой или чаще всего в клубе (если он есть) во время танцев или других культурных мероприятий.

Чтобы заниматься нашим воспитанием или, точнее, нашим перевоспитанием, существовала так называемая КВЧ (культурно-воспитательная часть). Она организовывала беседы и лекции, вечера самодеятельности, снабжала литературой, выдавала музыкальные инструменты, шахматы и тому подобное.

Странная была жизнь в колонии, где резко выделялись свет и тень. Здесь так же, как на воле, существовали бригады, которые соревновались между собой, выпускались стенгазеты и бюллетени, отмечались и даже награждались ээки с лучшими показателями в труде.

Но в этих же колониях ээки могли умирать от голода и непосильного труда, стать жертвами уголовников и калеками физически и морально.

Лагерная элита имела возможность следить за своей внешностью, ходить после работы в наглаженных брюках и юбках, носить галстуки и вышитые кофточки, туфельки на высоких каблуках, употреблять косметику.

Работяги должны были довольствоваться телогрейками, одеждой защитного цвета и лаптями или обувью на деревянном ходу.

Они не знали, что такое стирка и смена белья, а чистка зубов казалась им экзотическим занятием. Женщины не могли пользоваться гигиеническими средствами, а баня и прожарка, которые проводились

дважды в месяц, были лишь слабым утешением. Но и они не могли уничтожить специфический запах, который исходил от зэков-трудяг,— смесь грязного белья, пота, разных других выделений с запахом от дезинфекции.

Поэтому они всегда чувствовали себя униженными, неловкими, неполноценными, перед вольнонаемными и представителями лагерной элиты, которые смотрели на них свысока, как на нечистоплотных животных.

Я хорошо помню то чувство, которое испытывал, когда в камеру чистопольской тюрьмы входил дежурный по корпусу — в отутюженной форме, с аккуратной прической, чисто выбритый и пахнущий одеколоном. А мы, зэки, стояли перед ним жалкие, завшивленные, обросшие и дурно пахнущие. С какой безгливостью смотрел он на нас.

И здесь наблюдалась аналогичная картина. С каким же превосходством взирали люди типа «Могай района» на бывшего доцента, писателя или художника, которые были одеты в рваные пальто, истрепанные бостоновые костюмы и лапти, да еще пахли, как вонючие козлы, и обязаны униженно обращаться к ним со словами «гражданин начальник».

Вот тогда они чувствовали себя пупом земли, и гордость их не знала предела.

Тяжелой была жизнь в колонии, и лишь тот оставался на плаву, кто был сильнее или умнее других. Удивляют поэтому высказывания известных наших писателей М. Горького и Л. Леонова, которые пришли чуть ли не в «телячий» восторг от обстановки в лагерях. М. Горький после посещения Соловков и «Беломорканала» писал: «Лет этак через пятьдесят, когда жизнь несколько остынет и людям конца XX столетия это покажется великолепной трагедией, эпосом пролетариата, вероятно, тогда будет достойно освещена искусством, а также историей удивительная

культурная работа рядовых чекистов в лагерях» (1936 г.).

Л. Леонов выразился так: «Может быть, самое ценное в системе Беломорстроя, следовательно ОГПУ — высокое искусство умно и строго щадить людей, предназначенных всем нашим гнусным прошлым для страшной и, вот, избегнутой роли человеческого утиля».

В Ошле организовывались вечера отдыха, где ээки могли даже танцевать. Обычно играли гармонь или баян, а когда их не было, кто-то брэнчал на гитаре или балалайке. Девушки пели частушки, плясали. Чаще всего танцевали бальные танцы — падеспань и другие, которых я не знал. В этих случаях я превращался в зрителя. Зато я не пропускал ни одного фокстрота или танго. Конечно, я выбрал себе в партнерши Тасю.

Нет лучшего способа знакомиться с девушкой, как на танцах, и главное — сразу узнаешь, какое чувство она к тебе испытывает. Она может танцевать с каменным лицом, не произнося ни слова, без темперамента, держась подальше от тебя, или, наоборот, прижавшись к тебе, быть разговорчивой и нежно улыбаться. И по тому, как она отвечает на твое рукопожатие, сразу становится ясно, хочет ли она продолжения знакомства или нет.

Тася была несколько смущена, когда я ее пригласил, покраснела слегка, но охотно согласилась. Она танцевала хорошо, и, когда я ее слегка прижал к себе, не сопротивлялась.

— Вы откуда? — спросил я ее.

— Из Сернурского района.— Она посмотрела на меня с лукавым выражением лица и, видимо, поняла, что я начал этот разговор не без умысла.

— Работали?

— Да, в колхозе. А вы давно здесь?

— Нет, несколько месяцев.

— Я слышала, что вы немец.

— Да. Это вас смущает?

— Меня? Почему? Вы же, наверное, не фашист?

— Конечно, нет.

Музыка как раз кончилась. Я проводил ее к скамейкам и сел рядом с ней.

— Тася, а можно вас еще пригласить?

Девушка сделала большие глаза.

— Если вам приятно, пожалуйста. Но откуда вы знаете мое имя?

— Вы же были на медосмотре.

— Да, но как вы могли запомнить мое имя? Наверно, у вас хорошая память?

— Почему? Я запомнил лишь ваше имя.

— Мое? Чем я отличаюсь от других? — Она поправляла волосы, чтобы скрыть свое смущение.

— У вас приятное лицо.

— Это вам только кажется. Другие девушки не хуже меня.

— Я другого мнения.

В тот вечер я танцевал только с Тасей, а затем проводил ее в барак.

— Вам понравились танцы? — спросил я на прощание.

— Да, Генри.

— А вы откуда знаете мое имя?

— Вас, по-моему, знают все.

— Еще увидимся с вами?

— А вы хотите? — Снова девушка улыбнулась лукаво.

— Конечно.

— Тогда увидимся еще.

Странная жизнь царила в колонии, где зэки на короткое время могли забыть и колючую проволоку, и вонючие бараки, и конвоиров с собаками, которые гнали их на работу. Они могли даже петь и танцевать и прижимать к себе покрепче девушек, приглянувшихся

им. А дальше уже следовали сплошные запреты. Постоял с девушкой, обнявшись в тамбуре — карцер, а если был на престижной работе — на «общие». Это тоже своеобразная пытка, пытка изощренная. Об этом я сейчас невольно подумал.

С этого вечера я начал встречаться с Тасей. Иногда я заходил к ней в барак после работы, а иногда она посещала меня в амбулатории после приема.

Когда она впервые пришла ко мне, в приемной еще сидела Мария Алексеевна.

— У вас что случилось? — обратилась она к Тасе.

— Она ко мне, — ответил я.

— К вам? — Судиловская сделала удивленные глаза, а затем очень придирчиво взглянула на девушку, словно ощупывая ее с головы до ног. Я встал и вышел в ожидальную. Там как раз никого не было.

— Пойдем, Тася, сюда! — позвал я девушку.

Она села рядом со мной и, как школьница, положила руки на колени.

— Может быть, нехорошо задавать такой вопрос, но скажи, за что тебя посадили?

Тася смутилась.— Если я вам все расскажу, тогда, наверно, вы будете меня презирать?

— Почему? Каждый человек может ошибиться. Особенно в твоём возрасте, да еще в военное время, когда почти все голодали. Людям надо уметь прощать.

— Даже если они воровали?

— Конечно. А, вообще, скажу тебе (я уже перешел на «ты»), при определенных условиях 99 человек из ста способны на воровство.

— Не понимаю вас. В каких условиях?

— В 1943 году, когда я сидел в Чистопольской тюрьме и уже дышал на ладан, в камере появился новый заключенный из местных жителей. Хорошо упитанный и очень жадный. Он часто получал передачи, но никогда не делился с нами.

— Вы тогда были больны? — прервала меня Тася.

— Я не болел, а умирал от голода. И вот, когда мы все уже давно съедали свою пайку, этот человек обычно развязывал свой сидор и начинал кушать медленно, чавкая от наслаждения. Он ел свой деревенский хлеб, который получил с передачей, закусывал луком, мочил сухари в воде и проглатывал с восторгом пирожки с капустой. А мы все смотрели на него с завистью и проглатывали слюну. Рядом со мной лежал такой же доходяга, как и я, который в прошлом был старшим инженером на одном из ленинградских заводов. Ночью он каким-то образом незаметно разрезал мешок «куркуля» и дал мне кучу очень вкусных пирожков. Я, конечно, знал, что они ворованные, но не отказался от них. Выходит, я тоже участвовал в этом воровстве. Я видел, как воровали доценты, профессора, писатели и бывшие партийные работники. Голод подавлял все законы морали и приличия. Конечно, другое дело, когда человек ворует из-за нежелания работать. Так что, Тася, и я был вором.

— Но у вас было совсем другое дело.

— А у тебя?

— Была у нас соседка, которая постоянно спекулировала. Она, как сыр в масле, каталась. Она всегда ходила на толкучку и даже продавала ворованные вещи. А мы с Валею и Ирой жили очень бедно. Даже туфель не было ходить на танцы. Вот мы и задумали забрать у нее кое-какие тряпки, когда она ушла на базар. Кто-то, видимо, заметил нас. Нашу квартиру стали обыскивать, ну и, конечно, нашли ее барахло. Вот и все.

Тася оказалась очень скромной девушкой, что меня удивило. Воровки чаще всего бывают сорвиголовы и не очень церемонятся. Хотя мы встречались почти ежедневно, наши свидания заканчивались тем, что я гладил ее руку или на прощание целовал в щеку. Я не

хотел торопить события и вел себя корректно. Тася тоже не стремилась к иным ласкам, правда, несколько позже мы уже целовались по-настоящему.

Дружба наша длилась не очень долго. Вскоре ее отправили в этап вместе с подругами.

— Статная девушка,— отозвалась о ней Мария Алексеевна,— вы, наверно, переживаете?

— Жаль, конечно, но что поделаешь, мы не на воле.

Этапы стали прибывать почти ежедневно, но лишь единицы прибывших оставались в Ошле. И самое интересное — в первую очередь попадали в этап девушки, которым я уделял внимание. Мария Алексеевна всегда выражала в таких случаях свое сочувствие и старалась утешить.

— Не горюйте. Еще много хороших девушек вы здесь встретите. Свято место пусто не бывает.

Судиловская живо интересовалась моими увлечениями, старалась давать советы и оказывать помощь, но всегда любопытствовала, а как зовут мою знакомую?

Я на это не обращал внимания, но однажды, когда ее срочно вызвали на вахту, я увидел на столе оставленную ею записку. В ней я прочел фамилии двух девушек, с которыми только что познакомился. Все стало ясно. Это, однако, случилось значительно позже, незадолго до того, как я был отправлен в Шушеры. Тогда и подтвердились мои подозрения, и я узнал, что моя помощница действительно регулярно ходила на вахту, чтобы передавать различные сведения, в том числе и о моих увлечениях.

Короче говоря, медсестра Судиловская оказалась обычным «стукачом». Хотелось только узнать, зачем она стала доносчицей? В лагерях были зэки, которые продавали себя за лишнюю порцию баланды или пайку хлеба, но Мария Алексеевна не нуждалась в усиленном

питании. Того, что она получала в больнице, ей вполне хватало.

Мои увлечения вряд ли могли очень интересовать начальника режима, хотя, кто знает, но, вероятно, не имели первостепенного значения. Вполне возможно, что деятельность Судиловской и ограничивалась подобными сведениями, ценными для «Могай района».

Но зачем она, вообще, докладывала о моих симпатиях? Женщины, чаще всего, способны на подобные поступки из-за мести или зависти. Может быть, она была обижена тем, что я не уделял ей должного внимания? Мария Алексеевна была лет на пятнадцать старше меня, суха как вобла, и вряд ли могла быть названа привлекательной. О таких Григорий Распутин говорил: «Любовь твоя, матушка, мне приятна, но дух Господен на меня не исходит» (теория Распутина состояла в том, что дух человека входит через известные органы). Видимо, она была иного мнения о своих достоинствах и считала, что я напрасно отворачиваюсь от нее. Короче говоря, Мария Алексеевна решила мстить, обиженная моим невниманием.

Опера, обычно, работают по принципу: услуга за услугу — и Судиловская должна была получать какие-нибудь поблажки.

Тогда я вспомнил, что в отличие от других эков она получала довольно легко свидания с дочерью. Вполне возможно, это и был один из знаков внимания, оказанных опером.

Я по своей натуре человек не мстительный и поэтому решил не обращать внимания на своеобразную деятельность своей помощницы. Единственное — избегал разговоров на политические темы и о жизни в местах заключения.

Согласно моим взглядам, люди, желающие другим зла, не остаются без наказания, в чем я позже мог

убедиться не однажды.

Как-то Судиловская показала мне фотографию молодого человека, не лишённого привлекательности. Узкое лицо, тонкий прямой нос, сжатые губы, черные усики и гладкие черные волосы, зачесанные назад. Но глаза этого человека были жесткие и очень не добрые.

— Как он вам нравится? — спросила она.

— Что я могу сказать, довольно интересное лицо.

— Да, он настоящий красавец.

Хотелось сказать, что это лицо сутенера, но я оставил это мнение при себе.

Из слов Марии Алексеевны я понял, что дочь может выйти замуж за этого альфонса и просит ее совета.

Некоторое время спустя молодая пара пришла в колонию, чтобы обсудить все вопросы их будущего союза.

— Очень приятный и обходительный молодой человек,— рассказывала мне после свидания Судиловская.— Они хотят устроить свадьбу через месяц. Я не против. Неужели я должна помешать счастью своей дочери? Не знаю только, как быть с домом?

— А при чем здесь дом?

— Понимаете, он не хочет жить в Йошкар-Оле, а желает переехать ближе к Сталинграду. Там у него родные. В этом случае дом придется продавать. Конечно, очень не хочется, но другого выхода нет. Нельзя же дом оставить без присмотра. Я попросила их подождать еще немного... во-первых, надо обсудить этот вопрос еще с мужем, а затем переоформить дом на дочь.

— А что скажет муж?

— Не думаю, чтобы он возражал.

Мужа Судиловской я видел лишь мельком — худощавый мужчина, несколько выше среднего роста, выглядевший очень несчастным. Видимо, он находился

под ее каблуком. Вскоре он был переведен в другую колонию.

Кончилась вся эта история очень грустно. Дом был переписан на молодую девушку, а затем продан за 68 тысяч рублей. После свадьбы юная пара отправилась на пароходе в сторону Сталинграда. В пути альфонс исчез в неизвестном направлении... Конечно, с деньгами.

Девушка кое-как, без единой копейки, добралась до Ульяновска, где у нее проживали родные. Я не желал зла Марии Алексеевне. Такую кару она не заслужила.

Интересно, что моя помощница вела далеко не монашеский образ жизни и приручила к себе бывшего фельдшера, который был на добрых десять лет моложе ее. Его привлекали, конечно, не женские прелести медсестры, а ее щедрые дары в виде хлеба и каши.

Когда его отправили в этап, он не забыл прихватить и кое-какие вещи своей возлюбленной.

В колониях острой проблемой было то, что мужчины чаще всего были отделены от женщин. В Ошле эта проблема почти не существовала, даже тогда, когда в зоне оставалась лишь обслуга. Те из зэков, которые хотели «утолить жажду» и не жаловались на отсутствие мужской силы, всегда находили себе женщину. Они в таких случаях обычно отправлялись в прачечную, где трудились крепко сложенные деревенские бабы в лучшем возрасте, которые никому не отказывали и не потому, что были развращены, а просто из жалости. А вообще-то, здесь не признавалась платоническая любовь. Всякая встреча с представительницами прекрасного пола была связана с определенным риском для обоих партнеров. Поэтому каждый думал так: если рисковать, то уж за стоящее дело.

Простые дружеские отношения с рукопожатиями и нежными поцелуями могли вызвать лишь недоумение.

Меня в таких случаях не раз спрашивали: а ты меня, наверное, не любишь?

В тот день я пришел как обычно в амбулаторию после обхода больных, чтобы немного почитать.

У стола сидела незнакомая девушка лет двадцати, которая приветливо мне улыбнулась. Бывает любовь с первого взгляда. Эту девушку я полюбил сразу. Даже голова закружилась, когда взглянул на нее. Чем-то она мне напоминала мою жену Милу, но не ту, которая вышла замуж за меня в 1941 году, а ту, которую знал по фотокарточкам, когда ей было лет 19—20.

Сперва я обратил внимание на большие ясные, серые глаза, очень добрые и ласковые. Затем взгляд упал на темно-русые волосы, которые изящно облегли овал лица, и на аккуратные уши и нос. Рот был небольшой с красиво очерченными губами. Не скрывались от глаз и высокая грудь, и тонкая талия.

На ней была темная блузка, шею украшали простые бусы, сверху блузки был надет легкий пиджачок с буфами. Я поздоровался и сел напротив девушки. В таких случаях очень трудно начинать разговор, тем более, что не было известно, кто она — заключенная или вольнонаемная. По тому, как она себя держала — очень раскованно, я мог предположить, что она, вероятнее всего, вольнонаемная. Заключенная вряд ли села бы так непринужденно за мой стол. Оказалось, что она также медработник и пришла в гости к Софье Ивановне, с которой была дружна.

— Вы давно в Ошле? — задала она вопрос.— Я вас раньше не видела здесь.

— Нет, не очень. С июня.

— А где до этого были?

— В разных местах: Москве, Чистополе, Казани.

— А какая у вас статья?

— Арестовали по 58-ой статье, а судило ОСО.

— За что?

— Как социально-вредный элемент.

— Интересно. По внешнему виду не скажешь, что вы такой «вредный».

Сколько раз задавали мне эти стандартные вопросы сразу после приветствия. Но такая уж была традиция в местах заключений.

Недолго длилась наша беседа. Пришла Софья Ивановна, и обе девушки покинули амбулаторию. Сразу стало пусто в помещении, и мне показалось, что я потерял что-то очень дорогое.

Вспомнился мне небольшой рассказ: юноша познакомился на танцах с очень миловидной девушкой и сразу полюбил ее. Весь вечер он провел вместе с ней, и она так ему понравилась, что он не мог себе представить дальнейшую жизнь без нее. Ему показалось, что он наконец нашел свое счастье, и он дал девушке слово, что всегда будет с ней. Девушке он тоже очень понравился, и она согласилась стать его женой, потому что тоже полюбила юношу. Когда они вышли на улицу, их подхватил людской поток и разъединил. Полный отчаяния юноша начал искать ее. Искал он ее очень долго, но так и не нашел.

Сейчас я почувствовал себя приблизительно так же, как этот юноша, который нашел свое счастье, но потерял его.

Девушка, которую я полюбил с первого взгляда, принадлежала другому миру, мне враждебному и видела во мне, вероятнее всего, лишь паринеприкасаемого. По тому положению, которое я сейчас занимал, я имел право лишь на мечты, но не на надежду.

Цуккер — Бесемолки

Незадолго до ноябрьских праздников Софья Ивановна предупредила меня:

— Доктор, скоро у нас с вами будет много работы. Ожидают большой этап из Москвы. Обязательно проверьте заранее работу бани и дезкамеры. Могут быть завшивленные. Да посмотрите, кого при необходимости можно выписать из стационара. Вероятно, будут и больные.

Этап прибыл в пасмурный, прохладный день, уже ближе к вечеру. Заключенных было больше ста, из которых добрую половину составляли женщины. Они заметно отличались от того контингента, который прибывал до этого в Ошлу. Многие были хорошо одеты, на них были приличные костюмы, пальто, правда сильно измятые.

Некоторые мужчины носили трофейное обмундирование, мышиноного цвета немецкие галифе и френчи, короткие, сшитые из добротной кожи сапоги.

Состав этапа был пестрый: уголовники-рецидивисты, грабители, убийцы и осужденные по статье 58. Последние прибыли в основном из мест, которые были оккупированы немцами, главным образом из Белоруссии.

Большая часть так называемых «политических» согласно статьям уголовного кодекса сотрудничала с немцами, и среди них, что меня удивило, оказалось много девушек.

Во время медосмотра мое внимание привлек мужчина лет пятидесяти с длинной черной бородой и ярко выраженными семитскими чертами лица. Особенно выделялся большой крючковатый нос. Одет он был в темно-коричневый костюм, полупальто и подшитые

валенки, в которые были заправлены брюки. Я попросил его раздеться и прослушал его.

По внешнему виду было ясно, что этот человек никогда не занимался физическим трудом. Об этом говорила слабая мускулатура и впалая грудь. Лицо было интеллигентное. Послать его на лесоповал означало бы подписать ему смертный приговор. Я назначил его на ЛФТ (легкий физический труд).

— Как ваша фамилия? — спросил я его.

— Цуккер Арнольд Соломонович.

— Статья?

— 58-ая, часть вторая.

— Вы откуда?

— Из Москвы.

— Значит мой земляк. Я окончил в Москве 1 Медицинский институт. Вы кем работали?

— Я журналист.

Во время медосмотра заходил нарядчик Мамаев, и я попросил его устроить Арнольда Соломоновича в зоне, может быть, в КВЧ или еще куда-нибудь.

Увидев нарядчика, Цуккер засуетился.

— У меня к вам большая просьба,— обратился он к Мамаеву,— но это весьма конфиденциальный разговор. — Он вышел в ожидальную и, убедившись, что там никого нет, вернулся и продолжил:

— Дело в том, что меня ограбили.

— То есть как ограбили? — удивился нарядчик.

— Очень просто. Это было в Москве,— в этапной камере с нами была хорошо организованная банда, которая всех терроризировала. Она отобрала у нас одежду, обувь, короче говоря, все, что им понадобилось.

— А что вы хотите сейчас? Мы же не в Москве.

— Да, мы не в Москве. Но зато все эти бандиты здесь, и вещи тоже, которые они у нас отобрали...

— Понятно. Вы хотите, чтобы мы этим делом занялись?

— Да. Но главное, чтобы нам все вернули. Понимаете, там были у меня теплые вещи и многое другое, что требуется для зимы. А сейчас у меня нет даже сменного белья. Только просьба, пожалуйста, другим не передавайте наш разговор.— Цуккер опасно озирался.— Эти бандиты на все способны.

— Хорошо. Я поговорю с оперуполномоченным.

Теперь у меня работы прибавилось, и я метался, как белка в колесе. Если раньше на амбулаторный прием приходили человек десять-пятнадцать, то сейчас не менее тридцати-сорока. И все требовали от меня только одно — освобождение от работы.

Мне дали в помощь молодую медсестру Тамару Кулакову, очень бойкую деловую девушку лет двадцати. В этом возрасте почти все девушки привлекательны, особенно деревенские. Тамара не была исключением. Прекрасно сложена, краснощекая, с веснушками на лице, она сразу вызвала к себе симпатию. Карие глаза у нее имели одну особенность. Они были на редкость выразительны и красноречивы. Без слов можно было читать мысли Тамары.

Мне говорили, что девушка влюблена в меня, но в то время это меня не интересовало.

Тамара сидела за криминальные аборты. Когда ей было лет четырнадцать, она выдала себя за шестнадцатилетнюю и поступила в медицинскую школу. После ее окончания она работала в медпункте. Однажды к ней пришла молодая женщина на прием и попросила, чтобы Тамара сделала ей аборт. Как помочь ей, девушка не знала. Но ей подсказала мать. С этого момента Тамара стала потихоньку «помогать» женщинам поселка, в том числе и представителям элиты — жене начальника милиции и тому подобное.

Однажды она отказала одной женщине (беременность уже была большая), и та донесла на нее.

— А сколько ты брала за аборт? — поинтересовался я.

— Сначала по пять и десять рублей, а потом побольше.

С Тamarой работалось легко. Она никогда не унывала, была всегда веселой, пела песни в свободное время и научила меня играть на балалайке «сербианку».

Наступили холода, и никому не хотелось идти на работу. Все старались любыми средствами добиться освобождения. Не обошлось и без угроз.

Я всегда старался дать возможность людям отдохнуть и в первую очередь старым и слабым, и не ждал пока столбик градусника поднимется до 38°C.

Моими постоянными клиентами были молодые девушки, которые обращались ко мне в определенные дни месяца. Согласно правилам, освобождение от работы допускалось лишь в случае меноррагии (менструации, сопровождающейся значительной потерей крови), что наблюдалось крайне редко в лагерях, где в те годы чаще всего у женщин отмечалось отсутствие менструации.

Когда девушки приходили ко мне, я смело ставил этот диагноз (меноррагия) без проверки, чтобы дать им передышку. Я ничем не рисковал. Даже если нарядчик или кто-то из начальства сомневались в этом диагнозе — проверять никто бы не согласился. Все они были мужчины, а Софья Ивановна, безусловно, поддержала бы меня.

Положение женщин было особенно тяжелым, так как они были лишены возможности соблюдать элементарные правила гигиены. Мыла, которое они получали при посещении бани, едва хватало для мытья рук и головы, а стирать белье было нечем. Мечтать о

вате, марле или бинтах не приходилось. Вот поэтому я всегда старался освободить женщин в эти дни для того, чтобы они могли привести себя в порядок.

Во время медосмотра я познакомился с тремя очень милыми девушками из Белоруссии — Тоней, Улей и Ниной. Меня особенно привлекала Тоня Ракицкая — настоящая Гретхен с ясными голубыми глазами, волосами цвета льна и нежной кожей.

Как-то не укладывалось в голове, что такие молоденькие и привлекательные девушки могли находиться здесь, за колючей проволокой. Их барак находился рядом с лапотным цехом, и я часто посещал их.

— А вас за что посадили? — поинтересовался я.

— Как вам сказать,— отвечала несколько смущенная Уля.— За принадлежность к фашистской организации.

— Фашистской организации? Это действительно так?

— Да. Мы были «бесемолки».

— Это что такое?

— Белорусский союз молодежи. Когда немцы заняли Белоруссию, они организовали его взамен комсомола.

— Вас заставили вступить в эту организацию?

— Силой нет. До войны мы тоже были пионерами, когда учились в школе, и не потому, что очень хотели. Кто не вступал в пионерскую организацию, на того смотрели косо. Его считали чужим, если не врагом советского строя. То же самое было и здесь. Спокойнее было вступить в эту организацию.

— И чем вы там занимались?

— Занимались спортом, пели песни, ходили в походы.

— Некоторые из нас даже ездили в Берлин,— вмешалась Нина, стройная блондинка с кукольным лицом и привлекательным бюстом.

— В Берлин? Каким образом?

— Мы ездили туда на молодежный слет. Было очень интересно. Даже Гитлера видели.

— А с вами занимались, как это называлось у нас — политико-массовой?

— Вы хотели сказать политико-воспитательной работой?

— Да.

— Не совсем как у нас. Показывали фильм «вохеншау» (еженедельный киножурнал), рассказывали о жизни в Германии, конечно, и о фюрере и его цепях,— ответила Уля,— но мы сами ничего не делали, только слушали.

Мне жалко было этих милых девчат. Ради чего их посадили в тюрьму, отправили в лагерь? Какое они совершили преступление? Они никого не убивали, никого не грабили и никого не агитировали свергнуть советскую власть. Не от хорошей жизни они вступили в эту организацию, а чтобы выжить. Для чего они сейчас в лагере? Для перевоспитания? Их направили на лесоповал плохо одетых, не приспособленных к этим условиям. А им всего 18—20 лет. Что от них останется через год? Большинство из них вскоре пройдут через руки придурков и уркаганов. И неужели они потом больше будут любить советский строй?

Дня через два после этого разговора я увидел Тоню с одним из уголовников по кличке «Серый», которого недавно назначили бригадиром. Он носил традиционные, заправленные в хромовые сапоги гармошкой брюки, и маленькую кепочку на голове. Лицо у него было круглое, глаза маленькие и колючие, нос слегка вздернутый.

Я его знал по амбулаторному приему, куда он приходил, чтобы взять списки освобожденных от работы.

Тоня постояла с ним немного, а затем направилась в свой барак. Я поздоровался с Серым.

- Как дела? — спросил я его.
- Как в Польше. У кого больше, тот и пан.
- Это мне без тебя известно. А что это за девушка, с которой ты разговаривал? Ты ее знаешь?
- Тоню? Как ее не знать. Мы с одного этапа. Она была моей подружкой. Правда, мы сейчас с ней немного разошлись, как в море корабли. Она вас интересует?
- Симпатичная девушка.
- Да, ничего. Могу вас познакомить. Это для меня плевое дело. Я не против.
- Спасибо. Но я не люблю делить девушку с кем-нибудь. Раз она твоя, мне здесь делать нечего.
- Напрасно. Я же вам сказал, что я крест на нее поставил. Попробуйте, мне будет интересно.
- Почему интересно?
- Хочу узнать, что у вас получится.
- Ладно, подумаю. А если надо, сам с ней познакомлюсь.
- Ваше дело. Желаю успеха,— на лице его появилось ехидное выражение.

Вечером я всегда обходил зону и, конечно, задерживался подолгу в бараке, где обосновалась Тоня со своими подругами. Она устроилась на нижних нарах. Девушки предусмотрительно занавесили одеялом свой уголок и создали таким образом своеобразную автономию, скрытую от чужих глаз.

Освещение в бараке было чисто символическое (горела одна сороковатная лампа), что и создало некоторую интимную обстановку.

Я никогда не приходил с пустыми руками, так как прекрасно знал, что питания девушкам не хватало. Те шестьсот или семьсот граммов хлеба, да жидкая каша и пустая баланда, которые они получали, были явно недостаточны. Работа на лесоповале — не печенье перебирать.

У меня всегда имелись небольшие запасы хлеба «на пожарный случай». Сестра-хозяйка Александра Федоровна очень заботливо относилась ко мне, кормила вдоволь супом и кашей, и мне не составляло труда сэкономить немного хлеба.

Кроме того, я снабжал девушек также и мылом, в котором они очень нуждались.

В лагерях существовала своя этика и свои негласные законы, которые зэки старались соблюдать. Если кто-то выбрал себе девушку, то он старался оказывать ей посильную помощь.

Придурки и уркаганы почти все имели своих лагерных жен, которых устраивали при возможности на блатную работу. И; конечно, помогали им материально.

Бывало и наоборот, когда заключенная занимала престижную должность, работала в кухне, столовой, хлеборезке, больнице или бухгалтерии. В этом случае она могла сама себе выбирать по вкусу практически любого зэка, который нуждался в питании.

В местах заключения любовь шла через желудок. Этим пользовались все, кто был материально обеспечен лучше, чем остальная масса. Поэтому начальники цехов, заведующие пекарней, столовой... чаще всего уже люди не очень молодые, имели в качестве жен 19—20-летних смазливых девушек. Девушки не смотрели на возраст своего поклонника, главное, чтобы он мог их прокормить. Если он к тому же был еще и привлекателен — тем лучше.

Когда я познакомился с Тоней, то не ставил перед собой далеко идущих целей. Мне было просто приятно посидеть в обществе миловидной девушки. Я не хотел злоупотреблять своим положением и добиваться взаимности с помощью подношений. К тому же я знал, что вряд ли она останется долго в Ошле. Здесь могли задерживаться лишь инвалиды.

Тоня жила в сельской местности и закончила в 1941 году десятилетку. Учиться дальше помешала война. Она помогала родителям в хозяйстве. Жителям западных областей тогда еще разрешалось иметь несколько коров, свиней и тому подобное, и Тоня жила в достатке.

— А давно ты знаешь Серого? — спросил я ее однажды. Мне было непонятно, как она могла связаться с таким блатным типом.

— У нас были чисто товарищеские отношения,— Тоня покраснела.— Я не собиралась дружить с ним, но он меня постоянно преследовал. Один раз даже ударил. А что я могла сделать? Меня никто не собирался защитить. Пришлось сделать вид, что я согласна дружить с ним. Я надеялась, что нас разъединят, но мы опять попали в один этап. Здесь я решила порвать с ним.

Несколькими днями позже, когда в клубе были танцы, я подошел к ней. Она сидела в стороне от остальных и была грустна.

Девушка смутилась, так как все взгляды сидевших были обращены к нам.

— Может быть, потанцуем, Тоня,— пригласил я ее.

— Простите, доктор, но я себя чувствую сегодня не очень хорошо.

— А посидеть с тобой рядом можно?

— Конечно,— ответила она тихо.

— Почему такая грустная?

— Вам, наверное, будет смешно. Хочу домой. Скоро будет рождество — мой самый любимый праздник. Люди на воле будут украшать елки, дарить друг другу подарки, пить вино, веселиться. А мы будем сидеть в лагере.

— Что поделаешь? И на нашей улице когда-нибудь будет праздник.

— Да, но когда? Лучшие годы уже будут позади.

— Но не для тебя. Ты еще очень молода и привлекательна.

— Вы в этом уверены? — Тоня заулыбалась и бросила на меня ласковый взгляд.

— Я в этом уверен. И еще одно, не надо печалиться. Этим не поможешь.

— А что надо делать, по-вашему?

— Быть оптимистом и стараться найти даже здесь что-то положительное.

— Положительное? Я пока положительного в лагерях не встречала.

— А люди?

— Люди? Кого вы имеете в виду? Воры и грабители, которые нас окружают, или эти надзирательницы в соседнем бараке?

— Почему? Здесь есть и другие заключенные. Например, Цуккер.

— Тот, с черной бородой?

— Да. Это очень интересный и порядочный человек.

— Возможно, но он же старый.

— А ты хотела молодого? Тоня засмеялась.

— Да, вот еще, что я хотел сказать: ты не против встретить рождество вместе со мной?

— Как это вместе? — Она сделала удивленное лицо.

— Ну вместе со мной, Улей и Ниной. Согласна?

— Конечно.

Когда дали отбой, я встал и проводил Тоню в барак. Перед входом я остановился.

— У меня еще один вопрос к тебе.

— Какой?

— Я боюсь, что поставил тебя в неудобное положение.

— Я вас не понимаю.

— Кажется, у тебя друг. Как он посмотрит на то, что я тебя провожаю.

— Не надо об этом говорить.— Она посмотрела на меня умоляющим взглядом,— все это уже позади.

Я подумал: а что мне терять, и решил взять «быка за рога».

— А если я тебя буду провожать и завтра, и послезавтра, каждый день? Что ты скажешь на это? Будешь возражать?

— Нет.— Тоня снова покраснела и опустила глаза.

Ее рукопожатие на прощание было красноречивее слов. Так началась наша дружба.

В женском бараке напротив амбулатории действительно находились бывшие надзирательницы, но не ГУЛага, а фашистских концентрационных лагерей. Это был страшный барак и не только своим внешним видом — тусклым освещением, спертым воздухом, грязным полом и такими же грязными нарами.

Страшным были его обитатели — женщины, которые потеряли все, что может украсить представительниц слабого пола — скромность, стыдливость, порядочность, женственность, чистоту...

Одни сидели и лежали на нарах в нижнем белье, другие в одних трусах, выставляя напоказ свои груди. Многие были грубо покрашены.

В основном здесь находились осужденные по 58-ой статье за сотрудничество с немцами. Это не были наивные школьницы, которые вынуждены были вступить в Белорусский союз молодежи, а проститутки, надзирательницы и «немецкие овчарки».

Когда я зашел в барак, меня встретили недвусмысленными возгласами:

— Что так рано пришел, док?

— Почему рано? Я готова хоть сейчас.

— Эй, док! Залезай на нары. Нас здесь двое. Жалеть не будешь.

— Хочешь, док, по-французски. Это мы тоже умеем.

Я поздоровался и постарался не обращать внимания на призывы.

— На что жалуетесь? — задал я стандартный вопрос.

— Нам мужиков надо.

— Это не входит в мои обязанности.

— Как не входит в ваши обязанности? Вы должны лечить?

— Безусловно.

— Тогда лечите.

— Как?

— А это мы вам покажем.— Женщины ржали как лошади. Одна из них — здоровая баба с грубым, мужиковатым лицом и покрашенными губами, которая лежала на нижних нарах, подняла ногу и громко выпустила газы. Снова барак потряс гомерический хохот. Хотелось плюнуть от отвращения.

Я постарался побыстрее покинуть эту «помойную яму», в которой находились подонки общества.

В этом бараке я после Казлага вновь встретился с «коблами» — активными лесбиянками, которые своим внешним видом заметно отличались от других женщин. Одетые в мужские брюки, по-блатному заправленные в сапоги гармошкой, в пиджак, с кепкой на голове, с папироской во рту, они старались как можно меньше быть похожими на женщину.

И в своей речи они пытались щеголять изощренными вариантами, на тему «мат» — вроде, в Бога, в рот, в нос, во все дырочки, со всеми покойниками и тому подобное.

В колониях, где мужчины и женщины не находились вместе, «половая проблема» была особенно остра и не затрагивала лишь часть представителей элиты. В больницах, санчастях, бухгалтерии обычно встречались как женщины, так и мужчины, чем и пользовались придурки.

Все остальные должны были вести монашеский образ жизни или стать гомосексуалистами. Подобная «любовь» была отнюдь не всегда добровольная, и жертвами ее становились более слабые и боязливые ээки.

Характерным для этих женщин было на редкость выраженное чувство ревности. «Кобёл» не отпускал свою любовницу ни на шаг, и, не дай боже, если кто-то хотел оказать ей слишком большое внимание, пытался приблизиться к ней, а может быть, и отнять, тогда, нередко, все это кончалось кровопролитием. «Коблы» не боялись в подобных случаях действовать не только кулаками, но и ножом.

О «коблах» поется и в блатных песнях, одну из которых переписала мне медсестра Тамара.

Златокудрая, в мужском одетая,
по зоне ходишь ты с плана пьяная,
ты портишь девушек, таких же девушек,
таких же девушек, как ты сама.
Но ты красивая, да златокудрая,
но что же сделала с тобой тюрьма,
свободу отняла, природу отняла,
и дала в лагере кличку «кобла».
Златокудрая, в мужском одетая,
глаза прищурены и грозная,
с натурой женскою, с мужскими чувствами,
вот что же сделала с тобой тюрьма.
А рядом с ней сидит девчонка милая,
из-за нее она на все пошла,
семью покинула, детей покинула
и стала в лагере женой «кобла».
Златокудрая, на волю выйдешь ты,
с любимой женщиной ты будешь жить.
Но знай любовь ее не верная,
и может женщина вам изменить.

Иди развратная своей дорогою,
иди развратная своей тропой,
и пусть останется душевной тайною,
что делала тюрьма с тобой.

К этим женщинам, вероятно, надо относиться не с презрением, отвращением и ненавистью, а с жалостью за то, что они такими стали. Не от хорошей жизни они потеряли свою привлекательность.

Сапоги

За четыре года, проведенные в местах заключений, мне ни разу не выдавали одежду или обувь, и поэтому весь мой гардероб заметно изнашивался. Исключение составляла лишь моя американская кожанка, утепленная цигейкой.

В казанской пересылке сестра-хозяйка Мавлия перевязала мои дырявый норвежский свитер, а экспортной сшил мне элегантный френч из английской шинели. И если Мавлия эту работу выполняла из теплых чувств ко мне, то портному потребовался сульфидин, в то время весьма дефицитное лекарство.

Красивую зеленую шелковую рубашку я купил за две пайки хлеба у цыгана, правда, вместе со вшами, а вот с ботинками дело обстояло плохо.

Был такой момент в Ошле, когда я уже заказывал себе лапти, но потом удалось приобрести коричневые полуботинки, да еще крепкие короткие немецкие сапоги. Последние я купил у бывшего старосты, который служил у немцев во время оккупации.

Торговля в лагерях строго запрещалась и каралась карцером. Единственное — трудно было поймать эков во время сделки, но иногда это удавалось. Особенно тогда, когда предмет торговли был необычен и бросался в глаза, как например, эти короткие немецкие сапоги.

У Могай-района были острые глаза и хорошая память и он, вероятно, во время шмона, который проводился регулярно, обратил внимание на эти сапоги. И вот однажды, когда я ходил в них по зоне, он остановил меня.

— Откуда у вас эти сапоги? — обратился он ко мне с оттенком злорадства. Он, видимо, уже заранее ликовал,

что наконец-то может мне показать свою власть и даже посадить в карцер.

— Как откуда? — я старался сделать удивленное лицо,— они у меня уже давно.

— Где вы их взяли?

— Мне выдали их в казанском пересыльном пункте.

— Врете. Почему я их раньше у вас не видел?

— Потому что сейчас слякотная погода и в полуботинках неудобно ходить.

— Вы купили их здесь. Мне это известно. Не морочьте мне голову.

— Вы ошибаетесь.

— А я вам докажу, что вы нагло врете, — с этими словами он повернулся и направился на вахту.

Недолго думая, я сразу пошел в мужской барак, чтобы предупредить старосту.

— Ни в коем случае не признавайтесь, что вы мне продали сапоги,— посоветовал я,— иначе нам обоим карцер. И вообще отрицайте, что они были у вас.

— Я же не дурак,— ответил он.

Вечером меня вызвали на вахту, где уже находился староста.

— Вы его знаете? — спросил его Могай-район, указывая на меня.

— Конечно, это врач.

— У нас есть сведения, что вы ему продали сапоги.

— Какие сапоги?

— Короткие, немецкие.

— У меня таких никогда не было,— староста сделал невинное лицо.

— Они были у вас. Я их заметил во время обыска.

— Ошибаетесь, гражданин начальник, наверно, видели у кого-нибудь другого. Я бы такие не продал, если бы имел. Сам хожу в рваных туфлях.

— Врете!

— Зачем мне врать? Я же не враг себе. Знаю, что торговля в лагере запрещена. О карцере не мечтаю.

— Если будете изворачиваться, попадете быстро туда и надолго.

— Как я мог продавать сапоги, если у меня их не было?

Могай-район задумался, видимо, не зная, как продолжать эту «беседу». Он посмотрел злыми глазами сначала на меня, затем на старосту, а потом рявкнул:

— Убирайтесь! Но на этом наш разговор еще не закончен. Меня не обманете.

— Наверно, хочет допросить ваших соседей по бараку, знают ли они ваши сапоги,— предупредил я старосту.

— Мои сапоги мог увидеть лишь Могай-район во время шмона. Я их держал в торбе и никому не показывал. Боялся, что стащут. Они мне нужны были на «пожарный день» для продажи.

Могай-район действительно вызвал несколько зэков на допрос, но никто не дал нужных показаний.

Так ничем и закончилась эта история с сапогами, однако, Могай-район затаил на меня злобу.

Алиев, Букетов и другие

В мужском бараке мое внимание привлек смуглый и черноглазый, высокий и стройный мужчина с черными усиками и типичными кавказскими чертами лица.

— Вы, случайно, не из Грузии? — поинтересовался я.

— Нет, я азербайджанец.

— А как ваша фамилия?

— Алиев.

— Не по 58-ой?

— Нет, по 136-ой (убийство).

Я потом часто встречался с Алиевым. Это был чрезвычайно располагающий к себе, дружелюбный, сердечный человек, который ради друга готов пожертвовать не только последнюю рубашку, но отдать и свою жизнь.

Меня он всегда встречал, широко улыбаясь, показывая ослепительно белые зубы. Обнимая меня одной рукой, он обыкновенно спрашивал:

— Чем тебе помочь, док? Все для тебя достану.

За убийство он получил десять лет. В лагере он вновь совершил убийство (кто-то его оскорбил), и ему прибавили срок.

Никак не хотелось верить, что этот душевный человек способен на такие преступления.

Но однажды я увидел его иным. Вечером, после приема, медсестра Шура прибежала ко мне с испуганным лицом:

— Доктор! Алиев бежит по зоне с ножом и хочет кого-то зарезать.

Я увидел его бегущим мимо мужского барака в сторону бани. Глаза у него были красные, взгляд блуждал. Он скрежетал зубами, и руки его дрожали. В правой он держал длинный нож. Кажется, он ничего не

видел. Алиев напоминал человека в состоянии амока. Задержать его оказалось невозможным. Он зарезал бы любого.

К счастью, уркаган, которого он искал, спрятался надежно. Алиев его в тот день не нашел и постепенно успокоился.

В этом, в общем хорошем человеке, темперамент и страсти оказались сильнее разума. Они его и привели за колючую проволоку. Почти рядом с ним на нарах лежал еще один осужденный по статье 136, бывший старший лейтенант Букетов — красивый молодой человек лет двадцати восьми с очень правильными чертами лица и темными волосами. Таких убийц, как он, я потом встречал неоднократно.

Награжденный несколькими орденами, он вернулся в приподнятом настроении в свою родную деревню. Когда он подошел к своему дому, была уже ночь. Он постучал сначала в дверь, а затем в окно. Наконец он услышал знакомый женский голос.

— Кто там? — это спрашивала жена.

— Я, Валентин.

— Валентин? — голос прозвучал не очень радостно.

Дверь открылась, но не настолько, чтобы он мог войти в дом. Он увидел жену, одетую в шелковую ночную сорочку, и в тапочках. Голову покрывал пуховый оренбургский платок.

— Зачем пришел? — услышал он грубый голос.

— Как зачем? — спросил он удивленно.— Я пришел к тебе, домой.

— Тебе здесь делать нечего. Уходи. У меня другой муж.

— Как? Другой муж?

— Да, именно так. Другой муж. Ты же больше года не писал.

— А как я мог тебе писать, когда находился в окружении, а потом в госпитале в тяжелом состоянии?

— А я чем виновата? Уходи!

— Понимаете,— объяснил мне Букетов,— я ее не хотел трогать. Но когда она меня даже не пустила в дом, я взорвался. Черт, подумал я, ладно, нашла себе, стерва, другого мужика, но зачем выгонять меня, как собаку, ночью на улицу? Могла бы пригласить в дом, поставить бутылку водки на стол... Поговорили бы... Я оттолкнул ее в сторону и схватил топор, который лежал в сенях. В спальне я увидел небольшого толстого мужичка. Он сидел в кальсонах на моей кровати и собирался надеть штаны. Когда он увидел меня с топором, он бросил штаны в сторону и очень ловко выпрыгнул из окна. Жена завизжала и тоже побежала к окну, но не успела. Я ее ударил топором по затылку. Ну, а на следующий день я пошел в милицию и сообщил, что убил жену.

В этом же бараке находился и Арнольд Соломонович Цуккер, с которым я довольно часто беседовал. О своем прошлом он не любил вспоминать, и мне кажется, из опасения, что может сказать лишнее. А лишнее слово — опасная вещь. Сколько эков получали лагерную статью за неосторожно сказанное слово. А страх, боязливость и перестраховка были характерными чертами моего знакомого.

Я узнал только то, что Цуккер работал в министерстве иностранных дел при Молотове, а брат его — в посольстве в Берлине. Последний, якобы, стал шпионом. Из-за брата Арнольд Соломонович был осужден, да еще потому, что хранил на квартире не сданный в войну приемник. Знаю еще, что он автор книги об оркестре без дирижера. Называлась она «Персимфанс» (или что-то в этом роде). Он знал прекрасно русскую литературу и музыку, писал стихи.

Сейчас он был очень озабочен тем, что началось следствие по поводу грабежа в этапной камере. Его вызывали уже неоднократно как свидетеля, и у меня

создалось впечатление, что не без его инициативы. Цуккер опасался последствий, или точнее, мести.

— Понимаете,— рассказывал он мне,— вся эта банда, с которой я сидел в этапной камере, прибыла сюда в полном составе. Между прочим, у них прекрасный главарь, то есть я хотел сказать — умнейший организатор. Можно позавидовать.

— А каким путем они отобрали у вас и у других вещи?— спросил я.

— Могу рассказать, как у меня отобрали пиджак. Очень хороший черный пиджак из английского бостона. Я его когда-то купил в Берлине. Так вот, представьте себе переполненную камеру. В одном углу сидят урки и играют в карты. Через некоторое время один из них встает, подходит ко мне и говорит очень спокойным тоном: «Эй ты, борода, сними пиджак!» Я, конечно, протестую. Как же я буду без пиджака, тем более, зимой. «Зачем я должен снять его?» — спрашиваю я. «Потому, что я его выиграл».

Короче говоря, кончилось тем, что он меня схватил за горло и пригрозил: задушу! Пришлось отдать пиджак. Вы думаете, кто-нибудь встал на мою защиту? Ничего подобного. Все остались сидеть на своих местах, словно ничего не случилось. А в камере было шестьдесят человек. Таким образом они отобрали у нас вещи. А несколько позже, незадолго до этапа, они просто ходили по камере и отбирали то, что хотели.

— И никто не сопротивлялся?

— Один попытался, но на него сразу напали трое из этих бандитов и избili. Все дело в том, что они очень хорошо организованы и один защищает другого. Нам с 58-ой не хватает этой сплоченности.

Днем позже на вечернем приеме ко мне обратился молодой мужчина лет тридцати, небольшого роста, худенький, с узким лицом, тонкими, несколько синюшными губами и таким же тонким, острым носом.

Вид у него был болезненный. Я обратил внимание на то, что он дышал очень тяжело и поверхностно, словно рыба, выброшенная на берег.

Затрудненный выдох, кашель и другие признаки говорили о том, что он страдает эмфиземой. Видимо, больной еще простудился, так как температура была повышена.

Я освободил его от работы, дал лекарство и сообщил, что переведу его позже на легкую работу в зоне.

— А знаете, кто это был? — спросила меня медсестра Шура, когда он покинул амбулаторию.

— Понятия не имею. По статье — это вор.

— Он главарь банды. Все урки в лагере ему подчиняются.

— Неужели? Такой тщедушный?

— Да. Это настоящий «вор в законе», а кличка его «Профессор».

«Вор в законе» — это идейный, профессиональный преступник, относящийся к наивысшей касте уголовного мира. Он, как правило, рецидивист, принятый сходкой в воровскую группировку и обязавшийся соблюдать традиции и обычаи воров. «Воры в законе» жили за счет поборов с других заключенных и жестоко эксплуатировали их.

В приемной у меня стоял маленький столик, на котором лежали медицинские справочники, необходимые для работы: рецептурный, терапевтический и другие.

Однажды, после вечернего приема я заметил, что книги исчезли. Я, вполне естественно, очень расстроился.

— Обратитесь к Профессору, — посоветовала Шура, — он найдет концы. Это могло сделать лишь «шакалье».

Я нашел Профессора в мужском бараке. Он сидел на нарах вместе с двумя блатными и курил. Я

поздоровался.

— Мне надо поговорить с тобой по одному делу. Оно имеет для меня большое значение.— Я старался с блатными всегда говорить на «ты».

— Что за дело?

— Сначала такой вопрос: мне кажется, что я отношусь к вашему брату справедливо. Это так?

— Да.

— И стараюсь при возможности помочь.

— Да.

— Вы заинтересованы в том, чтобы я не изменил свое отношение к уркам?

— Да. Но в чем дело?

— Так вот — вместо благодарности у меня стащили медицинские книги, которые мне необходимы для работы. Скажу лишь одно: если я их не получу обратно — пеняйте на себя. Поблажки больше никому не будет.

— Понял. Когда свистнули?

— Вчера вечером.

— Ладно. Поговорю с ребятами. Вечером приходи. Достанем. Профессор сдержал слово. Вечером мне вернули книги. Правда, в одной из них не хватало трех страниц. Их использовали на курево.

— Это сделала мелкая шпана, не наши. Местные. Мы им дали по шее. Так что, док — мы здесь ни при чем.

Вот тогда я впервые столкнулся с хорошо организованным преступным миром, который, по меткому замечанию одного из писателей, очень напоминает по своей служебной иерархии структуру коммунистической партии. И там и тут то же беспрекословное подчинение решениям главаря («пахана»), периодические «чистки», поиски в своих рядах нарушителей закона, суды над провинившимися и кровавые приговоры. Здесь характерна и античеловеческая воровская мораль: хорошо лишь то, что хорошо вора и противопоставление «воров в

законе» — массе, мужикам. И если члены коммунистической партии носили в нагрудном кармане партийный билет, то принадлежность к воровской группировке обозначалась татуировкой. Для «воров в законе» это было сердце, пронзенное кинжалом. Другие не имели права носить такую татуировку.

В царской России на воров смотрели как на неисправимых преступников, и в тюрьмах и на этапах отделяли их от политических. Иначе стало после революции, когда отреклись от всего старого, от прошлых взглядов и порядков. Так, по официальной терминологии ГУЛага,— уголовники считались социально-близкими, поскольку они враги частной собственности, и следовательно являются революционной силой. Их необходимо передать в руки пролетариата для перевоспитания и таким образом включить в сознательную жизнь. Через КВЧ старались разъяснить уголовникам единство их классовых интересов с трудящимися и воспитывать в них враждебное отношение к кулакам и контрреволюционерам. Они, уголовники, считались для родины еще не потерянными.

Такие писатели, как Горький, Макаренко и Маяковский, стали их идеализировать и в поисках положительных героев для литературы обратились к блатным.

Позже, однако, теплые чувства к уголовникам заметно остыли, и о том, что они социально-близкие больше не упоминалось.

Конечно, есть и свои отличия. Члену компартии не обязательно было уметь играть в карты, а для блатного это закон и удобный способ общения. В то время как руководящие партийные кадры имели своих секретарей и помощников, «воры в законе» держали «шестерок», которые также использовались для различных

поручений, в том числе, в отличие от партийных помощников, и для сексуальных целей.

О смертности

В то время бывалые лагерники говорили: кто в войну не сидел — тот лагерь не отведал. С этим я мог согласиться, вспоминая морг в Казлаге, где трупы, за какие-нибудь три-четыре дня, заполняли все помещение от пола до потолка, лежали штабелями, друг на друге, словно дрова.

Смертность в Ошле была небольшая — умирали в основном старики, больные-хроники, изредка и дистрофики. Это объяснялось тем, что основной контингент заключенных приходил прямо с воли и здесь долго не задерживался. Они просто не успевали «дойти», к тому же условия в колонии после войны заметно улучшились.

Здесь я впервые увидел, как отправляли умерших на кладбище. Это была странная картина, достойная кисти Перова. По засыпанной снегом дороге понуро шла тощая лошадь, запряженная в сани, на которых лежал грубо сколоченный гроб. На нем сидел возчик в длинном тулупе, а сзади шагал солдат с винтовкой наготове. Видимо, из профилактических соображений. А вдруг там, в гробу, вовсе не покойник, а зэк, который таким образом намерен совершить побег.

В лагерях (особенно дальних) существовал необычный порядок: чтобы избежать подобных случаев покойников везли через вахту, где дежурный прокалывал трехгранным штыком или специальной стальной пикой тела умерших, стараясь пронзить живот. Этот ритуал был санкционирован Берия и согласован со Сталиным. Правда, в Ошле не глумились подобным образом над мертвецами.

Перед погребением на покойника составлялся стандартный акт «по данным истории болезни и

формуляра или санкарточки» и как сказано далее: «Заполнения производить разборчиво и чернилами. Установочные данные согласовать с УРЧ (учетн. распредел. часть) или с представителями на местах».

Кроме паспортных данных указывались дата, место и причина смерти, откуда прибыл умерший и тому подобное. Дальше следовало описание наружного осмотра трупа: рост, цвет глаз, цвет волос на голове и на бороде, татуировки, рубцы...

Существовал еще акт с указанием, где, когда и в присутствии кого был погребен покойник, и что труп был опущен в яму ... метр глубиною, ... метр шириною, ... метр длиною, головой на ... У могилы поставлен ... с надписью ... и подписи.

После заполнения всех этих актов полагалось сообщить родственникам о смерти заключенного и о том, что они могут получить его вещи. Вещи приговоренных к высшей мере наказания не возвращались родственникам. На этом заканчивались все формальности, которые, однако, далеко не всегда соблюдались.

Тоня, Серый и Уля

Тоня оказалась очень ласковой девушкой. Я в этом убедился после того, как увидел ее со слезами на глазах. В тот день она измучилась на лесоповале, и к тому же ее оскорбил бригадир. Короче говоря, она расстроилась. Я попытался ее утешить, гладил как ребенка по голове, целовал в лоб. Ничего не помогало. Тогда я поцеловал ее сначала в щеку, а затем и в губы. Она перестала плакать, обняла меня и сама начала целовать.

С этого дня я приходил к ней каждое утро перед подъемом в барак и будил ее поцелуями. Вечером прощался с ней таким же образом.

Конечно, за нами наблюдали завистливые женские глаза, были и такие, которые желали нам зла. О том, что я подружился с Тоней, всем стало известно. Шило в мешке не утаишь, а «радиопараша» работала исправно.

Однажды ко мне подошел Серый.

— Док, давай-ка,— сказал он с вызовом,— оставь Тоню в покое. Хватит, поиграл. Надо мною уже смеются.

— А это не твое дело.

— Как не мое дело? Тоня моя.

— Ошибаешься. Можешь ее спросить.

— А мне зачем спрашивать ее? Я сказал тебе, что она моя.

— Я хорошо помню, что ты говорил о ней. Ты сказал, что порвал с ней!

— Это я только так сказал. Ради шутки. Хотел проверить ее.

— Этим, Серый, не шутят. Выходит, проверка кончилась не в твою пользу. Сам виноват. И, кроме того, Тоня не подопытный кролик. Запомни.

— Все равно. Оставь ее, иначе будет плохо.

— Угрожаешь? Не на того напал. А что касается Тони — ты ей нужен, как собаке боковой карман. Понял?

— Ладно, док. Мы с тобой еще встретимся.

Я, как и обещал, сочельник и рождество провел в обществе девушек — Тони, Ули и Нины. Они привезли еловые веточки и украсили их бумажками и ватой. Получилась миниатюрная рождественская елка. Я накопил немного хлеба, достал немного масла и с полкилограмма конфет. Для зэка — лучший подарок, когда он может набить живот.

Питание в колонии было сквернейшее, и зэки ходили голодными. Страдали и девушки. Их лица заметно осунулись, и одежда уже не облегала их так плотно, как прежде.

О питании говорилось и в одном из приказов (правда не для заключенных), что «во всех колониях имели место перебои в питании заключенных овощами, мясом, жирами. Отсутствовал систематический контроль за работой кухонь и столовых, особенно на производственных участках. Ассортимент приготовляемой пищи однообразен. Имели место хищение продуктов питания обслугой кухонь, в результате заключенные недополучали положенное им по нормам питания. В отдельных производственных участках столовые вообще не были организованы».

Девушки сразу оживились, заулыбались и после трапезы начали петь. В основном это были военные песни: «Синий платочек», «Землянка» и другие. Некоторые из них я слышал впервые, в том числе очень мелодичную «На полянке возле школы встали танки на привал...»

Вспоминали, как на воле встречали рождество, и невольно загрустили. На этот раз, прощаясь с девушками, я целовал их всех очень крепко и чувствовал, как они нуждались в ласке. Правда, Нина уже не была одинока.

Девушка она была видная, и на нее сразу обратили внимание. От ухажеров отбоя не было, и она могла себе выбрать друга по вкусу. За время пребывания в местах заключений, в тюрьмах и на этапах, Нина поняла, что ей одной не справиться со всеми трудностями, которые ей предстояло преодолеть. Нужна была надежная опора, защитник, способный помочь ей в трудную минуту жизни. Она выбрала крепкого мужчину пет тридцати, с волевым лицом и хорошо одетого. Уже по его внешнему виду можно было сделать вывод, что этот человек нигде не пропадет и, вероятнее всего, станет нарядчиком, бригадиром, или начальником какого-нибудь цеха.

Он будет одевать и кормить ее и постарается устроить на блатную работу. Правда, при определенных условиях, если Нина станет его лагерной женой. Таковы правила игры в лагерях. Но, когда стоял вопрос о выживании, чаще всего девушки соглашались на эти условия.

27 декабря, в день моего рождения, было очень холодно, градусов под тридцать. Утром в столовой Ковалев объявил, что прибыли пульманы, и надо их срочно погрузить. Мобилизовали всех, кроме инвалидов и больных. Для меня не сделали исключения. Толстые бревна, длиной около 2,5 метров, надо было грузить в большие товарные вагоны. Зэки, которые были слабее, тащили их вдвоем. Я справлялся один.

Работали часов шесть и, несмотря на холод, нагрелись основательно. Зэки остались довольны, так как получили дополнительный паек хлеба.

Вечером меня предупредили: будь осторожен, Генри. Тебя хотят зарезать.

Я понял, что Серый намерен осуществить свою угрозу. Конечно, постарается это сделать поаккуратнее, где-нибудь в темном тамбуре и без свидетелей. Задача в таких случаях состоит не обязательно в том, чтобы

убить соперника на месте... достаточно бывает и удара ножом в бок в качестве наглядного предупреждения.

Днем мне нечего было бояться, так как Серый работал за зоной, а вечером я избегал ходить в чужие бараки, за исключением того, где находилась Тоня. «Открытого боя» я не боялся, так как физически был сильнее Серого.

Однажды я все-таки встретил вечером своего соперника около бани. Поблизости никого не было. Серый, увидев меня, нагнулся, чтобы выхватить из-за голенища сапога нож, но я опередил его и вывернул ему руку.

В это время показались несколько эков, и я отпустил его. Серый мог, конечно, отомстить Тоне, но это было несколько затруднительно. Во-первых, она работала в другой бригаде, а во-вторых, он не хотел окончательно испортить отношения с ней. И кроме того, я караулил ее, да еще помогали друзья.

Я смотрел на Тоню, как на красивую фарфоровую куклу, которой хочется любоваться, но боязно трогать. Но эта кукла была далеко не безвольная.

Когда она ласкалась, то не забывала мне напомнить о том, что у нее нет подходящей обуви для зимы, нет теплого белья и вещевого мешка.

Я старался выполнить ее просьбы. За пол-литра водки мне сшили для нее очень удобные бурки, Александра Федоровна достала теплое белье, а рюкзак я отдал ей свой, купив себе позже армейский вещевой мешок.

Что касается водки, то ее можно было приобрести через бесконвойных, в том числе и Ковалева, который был моим должником.

Серого я видел еще только один раз. Это было днем, в воскресенье. Я стоял около столовой, когда он подошел ко мне.

— Ну как, док, поживаешь? — на лице его появилась ехидная улыбка.

— Твоими молитвами.

— Это хорошо, а Тонечка как? Все любишься ею? Вас сейчас, наверно, водой не разольешь.— Он фальшиво засмеялся.— А знаешь, док, очень хотелось рассчитаться с тобой, но видишь пока не получилось. Ты рад?

— А чему мне радоваться?

— Да, ты прав. Радоваться тебе незачем. И знаешь почему? Завтра узнаешь.— Он помахал мне рукой и направился в свой барак. Вечером прибежала ко мне в амбулаторию вся в слезах Тоня.

— Генри, милый мой, завтра меня отправят в этап.

Она обняла меня.

Сейчас мне стали понятны угрозы Серого. Видимо, кто-то, у кого были определенные связи, помог ему, так как и его включили в этап.

Тяжело было расставаться с Тоней. На дорогу я достал ей еще несколько паек хлеба, немного сахара, мыло и подарил ей еще кое-какие вещи. На всякий случай, чтобы она смогла обменять их на что-то другое, нужное.

— Бог справедлив, мы еще увидимся,— сказала она на прощание. Серый, вероятно, ликовал, когда я прощался с Тоней. Но снова подтвердилось мое поверье, что судьба карает тех, кто желает зла другим.

Серый тоже был включен в список этапников, но за два часа до их отправки его арестовали вместе с другими урками за камерный бандитизм.

В первую очередь, конечно, забрали Профессора. Позже мы узнали, что его приговорили к высшей мере наказания. Другие получили лет по десять.

После того, как Тоню отправили в этап, я дня три никуда не ходил, а потом все-таки решил посетить ее

подруг Улю и Нину. С Улей я был в очень хороших отношениях, и мы с ней часто танцевали.

Девушки сидели очень скучные — почему-то им не выдали хлеба.

— Это мы исправим,— успокоил я их и забежал к Александре Федоровне, чтобы попросить полбуханки.

У девушек настроение сразу поднялось, и они стали разговорчивее. Весь вечер я провел с ними вместе, но старался больше уделять внимания Уле, тем более, что у Нины уже был кавалер.

С этого дня я вновь посещал барак, но на этот раз с целью встретиться с Улей.

Уля Каштелян до ареста жила в сельской местности Молодеченской области Белоруссии (Поставский район, дер. Новый Двор), вблизи границы с Литовской ССР. У нее были две сестры. Родители имели хорошее хозяйство, четыре коровы, свиней и тому подобное и жили зажиточно.

Это была крепко скроенная девушка с серыми, добрыми глазами и русыми косами, которые она укладывала вокруг головы. Лицо было простое, но привлекательное — лицо молодой и здоровой крестьянской девушки. Она мало уступала Тоне по внешности, и я не сразу решил, кому из них отдать предпочтение.

Как-то она спросила меня:

— Вы, наверно, скучаете по Тоне?

— Да, конечно, она хорошая девушка.

— Да, хорошая, но не девушка.

— Как это понять, Уля? — я сделал удивленное лицо.

— А вы не знаете, что она была замужем?

— Кто? Тоня? — я был ошарашен.

— Да, именно ваша любимая Тоня.

— Не может быть.

— Не может быть? Она даже имела ребенка, но он вскоре умер.

— Это для меня новость.

— Могу вам еще сказать, что она до вашего знакомства постоянно встречалась с Серым, причем ходила она к нему. Правда, в последнее время она, кажется, избегала его.— Уля с любопытством посмотрела на мое расстроенное лицо и невольно засмеялась.

— А вы были такими наивными и верили ей.

Я не знал, что ей ответить. Мне было больно и обидно, что я ошибался в человеке. Конечно, вполне естественно, что девушки выходят замуж и имеют детей, но зачем это скрывать. Правда, я никогда не спрашивал Тоню об этом. Но после этой встречи я стал немного умнее и понял, что смазливое лицо, волосы цвета льна и голубые глаза далеко еще не гарантия тому, что их обладательница — ангел небесный. А кто знает, может быть, Тоня меня все-таки любила? Возможно, Уля преувеличивала, а может быть, и ревновала.

Дня три я переживал и снова никуда не ходил. На четвертый день Уля пришла ко мне в амбулаторию. Она села рядом со мной на кушетку.

— Вы все еще переживаете? Неужели вы ее все еще любите? — Она посмотрела на меня с сочувствием.

— Пожалуй, все уже позади. Конечно, обидно, что я ошибся в человеке. Я относился к ней очень бережно, как к фарфоровой кукле, а кукла оказалась не фарфоровой.

Я знал, что лучшее лекарство от несчастной или неудачной любви — новая любовь. Я знал также, что Уля была ко мне равнодушна и ревновала, знал, чего она ждала от меня.

— Зачем говорить о Тоне, когда есть Уля,— сказал я после небольшой паузы и обнял ее.

Вся моя печаль была позади, но обида долго не проходила. С этого дня я вновь посещал женский барак.

В бараке, где жили Уля и Нина, было очень холодно, и я поэтому решил проявить заботу. Каждый раз перед отбоем я оставлял Уле свое теплое кожаное полупальто с подкладкой из цыгейки, как дополнительное одеяло, а утром, перед подъемом, я брал его обратно.

Мы были счастливы, ходили вместе на танцы, беседовали и долго целовались. Наши встречи были для нас, как молодое вино, от которого немного кружилась голова и поднималось настроение. В такие минуты мы забывали, что находились в лагере.

Но и это счастье длилось недолго. Всего две недели. Улю и Нину отправили со следующим этапом на Урал.

У меня совершенно не было желания менять свои привязанности, как перчатки, тем более, что по своей натуре я быстро привыкаю к людям и трудно с ними расстаюсь. Но как быть, когда каждый месяц состав колонии менялся? А одному жить в этих местах трудно.

От московского этапа осталось лишь десятка два уголовников, к которым прибыли новые. Ушел, к сожалению, и Арнольд Соломонович, с которым я очень подружился. Его отправили в ИТК № 1 (Кузьмине).

В один из выходных дней я сидел в амбулатории у окна и увидел необычную картину: зэки шли группами из столовой, и среди них я заметил пару: медицинскую сестру Тамару и какого-то молодого паренька в кепочке. Они остановились шагах в десяти от амбулатории и продолжали разговаривать между собой. Вдруг к ним подбежала женщина в темном платке и ударила Тамару в спину. Чем, мне не было видно. Тамара закричала, а парень размахнулся, сильным ударом в лицо свалил женщину в снег и начал ее топтать ногами.

Я вскочил, бросился к двери, но в этот момент она открылась, и вбежала Тамара.

— Генри, помоги! Меня ударили ножом.— На глазах у девушки были слезы.

Она быстро скинула платье. В средней трети левой лопатки я увидел колотую, кровоточащую рану. Тамаре повезло — была задета только кость. Я наложил две скобки Мишеля и забинтовал рану.

Невольно я залюбовался прекрасной фигурой девятнадцатилетней девушки. Было на что посмотреть. Плотные высокие груди не могли оставить меня равнодушным, но в момент оказания медицинской помощи мысли целиком заняты работой, и такие «детали» не замечаются. Когда, однако, все уже сделано, врач вновь превращается в мужчину и уже не безразличен к женским прелестям, и я в том числе.

Оказывается, какая-то воровка приревновала Тамару к своему любовнику и решила отомстить сопернице. Но Тамара уверяла меня, что ранили ее напрасно.

Я положил ее сразу в стационар. Тамара еще долго плакала, и мне пришлось ее успокаивать, как маленького ребенка. Она этим была настолько тронута, что поцеловала мою руку. Все кончилось тем, что мы обнялись, о чем девушка давно мечтала.

После этой истории, в которой обвинили также и Тамару, ее перевели на работу за зоной. Возможно, что у нее были еще какие-нибудь грехи. Девушка «с характером», слишком часто шла на риск.

Когда она работала со мной в амбулатории, мне не составляло большого труда, при желании, быть с ней наедине. Другое дело сейчас: за ней следило много глаз.

Однажды она улучила момент и прибежала ко мне в приемную, когда Судиловская обследовала пищеблок.

Мы сидели на кушетке, не веря своему счастью и забыв все на свете. Совершенно случайно я взглянул в сторону окна и увидел бегущих с вахты двух сотрудников колонии: Могай-района и какого-то охранника. Они направились в амбулаторию.

— Тома! Сюда идут! — предупредил я девушку, но сам растерялся, так как в это время ей не полагалось быть у меня.

Тамара выбежала в ожидальную, когда к двери подошли охранники.

«Влипли,— подумал я,— придется мне и Тамаре сидеть в карцере». Секундами позже я увидел озадаченные лица непрошенных гостей.

— Куда девалась женщина? — рявкнул Могай-район. Я сразу понял, что Тамару они не увидели, хотя никак не мог себе объяснить ее исчезновение.

— Какая женщина? — я попытался сделать удивленное лицо.

— Сюда заходила женщина.

— Вы ошибаетесь. Здесь никого нет. Можете поискать.

Могай-район посмотрел под кушетку, заглянул под стол, а затем от огорчения плюнул на пол и, не сказав ни слова, оба охранника покинули амбулаторию.

Дня через три я вновь встретился с Тамарой.

— Ты мне объясни,— обратился я к ней,— куда ты исчезла тогда? Ты же не могла испариться? Как они могли не увидеть тебя?

— Очень просто. Они, как большие начальники, не привыкли закрывать за собой дверь, а чтобы попасть в амбулаторию, дверь надо толкнуть внутрь, я и встала за дверь. А когда они вошли в приемную, я выбежала из ожидальной. Вот и все.

Я мог только восхищаться сообразительностью Тамары. Я бы не додумался до этого.

Могай-район не простил нам эту «шутку» и, вероятно, как и я, не мог себе объяснить факт исчезновения Тамары. Как он, наверно, ликовал, когда увидел, что девушка направилась ко мне. Для таких людей, как он, не только малограмотных, но также и тупых, особое удовольствие составляет унижать людей,

которые умнее их. Для Могай-района борьба с «вшивой интеллигенцией» приносила особую радость. А сверхсчастье — когда их можно посадить в карцер.

На этот раз снова фортуна от него отвернулась, но желание мстить осталось, и вскоре Тамару отправили в Кузьмино.

Валентина

С одним из этапов прибыла из Горького молодая, высокая и стройная женщина, которую вскоре устроили в бухгалтерию. Она была осуждена на два года за растрату.

Валентина, так звали ее, одевалась всегда строго, в темную юбку, белую кофточку и высокие черные сапоги. Также строго было и ее лицо, не лишенное привлекательности, с темно-коричневыми глазами, прямым носом и полными губами. Волосы были темные, гладкие и коротко подстриженные.

Она, так же как Нина и Настя, ходила всегда с бесстрастным выражением лица, словно не видя, что делается кругом.

Я на нее не обращал особого внимания, хотя вежливо здоровался. Мне казалось, что она из тех женщин, которые готовы пойти в монастырь, считая, что можно вполне обойтись и без мужчин.

Как-то она пришла ко мне на прием и попросила аспирина.

— Доктор, у меня очень болит голова,— пожаловалась она.

Мы немного побеседовали, а затем она ушла. Прощаясь со мной, она необычно крепко и сердечно пожала мне руку, и у меня создалось впечатление, что она не хочет отпустить ее.

У Валентины, видимо, часто отмечались головные боли, во всяком случае она стала посещать прием через день и обычно тогда, когда кроме меня в приемной никого не было.

Вскоре, однако, я пришел к выводу, что странные «головные» боли имели несколько иную этиологию, чем предполагал я вначале. Вряд ли такие средства, как

аспирин, могли здесь оказать необходимый лечебный эффект. А поскольку молодую женщину бог не обидел внешностью, мне не составляло большого труда бороться с этими болями иным путем.

Когда она однажды вновь пришла за лекарством, на этот раз после вечернего приема, я обратил внимание, что ее большие выразительные глаза были грустнее, чем обычно. Они стали еще печальнее, когда я вручил ей очередной пакетик с таблетками аспирина с кофеином.

— Валя,— сказал я очень тихо,— может быть, вам требуется другое лекарство.

— А какое? — спросила она несколько удивленно.

— Хотите, я вам скажу на ухо. Эта большая тайна.

— Неужели тайна?

— Да.

Она наклонила голову. Тогда я обнял ее крепко и поцеловал в губы. Секундами позже она уже обхватила мою голову и начала страстно целовать мне щеки, глаза, губы. Я ее не узнавал...

У нас не было календарей, и газеты мы не получали, поэтому часто спорили, какой сегодня день.

— Завтра вторник,— сказала однажды Валя.

— Нет, среда.

— Поспорим? — предложила она.

— На что?

— На «американку».

— Согласен.— Меня это устраивало, так как согласно игре (или спору) проигравший «американку» обязан был выполнить любое желание победителя.

Я оказался прав.

— Что вы желаете? — Валя смотрела на меня с любопытством.

— Пока не скажу. Время придет — узнаете.

Когда Валя устроилась в бухгалтерию, ее сразу перевели в комнату, которая располагалась рядом с

амбулаторией, где жили Нина и Настя.

Валя была замужем, и я чувствовал без слов, что она жаждала уже иных ласк, чем те, которыми мы обменивались.

Но я также знал, что молодая женщина мечтала о спокойной обстановке, без страха и тревоги, чтобы не было необходимости бояться постороннего вмешательства.

И вот тогда я вспомнил о двери, которая вела из амбулатории в комнату девушек, но была заколочена. Не составляло, однако, большого труда вытащить три гвоздя. Путь оказался открытым.

Как-то Нина и Настя отправились по работе на один из участков, и Валя осталась одна.

Ночью, часа через два после отбоя, я тихо открыл дверь и вошел в комнату. Здесь было очень холодно.

— Кто там? — испуганно спросила Валя.

— Это я.

— Зачем так поздно? — в ее голосе я слышал удивление.

— Я вспомнил «американку», которую ты проиграла.

— Неужели именно сейчас? Ради чего?

— Мне показалось, что тебе здесь очень холодно.

— Ты что, хочешь затопить печку? — она засмеялась.

— Нет в этом нужды. Дровами сейчас не хочу заниматься. У меня в достаточном количестве своего тепла. Вот я и пришел согреть тебя.

Дальше мы обошлись без слов, и Валя заставила меня забыть все вокруг. Она напоминала мне странника, который, замученный в пустыне жаждой, наконец наткнулся на источник чистой воды.

Когда девушки вернулись из командировки, мы перенесли место свидания ко мне, где также могли без тревоги утолить свою жажду. Для Вали был всегда открыт путь к отступлению, если бы кому-то вздумалось

побеспокоить меня в ночное время. А так как наружная дверь всегда закрывалась на крючок, опасаться было нечего.

За исключением Нины и Насти, никто не знал о моей дружбе с Валентиной, так как в зоне мы не встречались и строго соблюдали конспирацию. Даже всевидящее око Марии Алексеевны на этот раз ничего не заметило.

Кажется, все обещало быть в нашу пользу, но и на этот раз судьба была ко мне не милостива.

В конце марта, когда кругом лежал еще глубокий снег, Софья Ивановна ошарашила меня новостью.

— Генри, я должна вас огорчить. Сегодня я узнала, что поступило распоряжение направить вас в Шушеру, во вторую колонию.

— Во вторую колонию? Почему? Чем она лучше или хуже Ошлы?

— Видите, наша колония, по существу, пересыльный пункт, где заключенные обычно не задерживаются, а в Шушерах много больных и инвалидов, которые требуют лечения.

Я не могу сказать, что эта новость обрадовала меня, и не только потому, что здесь была Валентина. Условия в этой колонии меня вполне устраивали. А кто знает, что будет впереди. Неизвестность всегда пугает.

Жаль было расставаться с Александрой Федоровной, которая всегда заботливо относилась ко мне.

Два дня спустя в амбулаторию явился Могай-район.

— Давай, собирайся с вещами,— сказал он в фамильярном тоне, и лицо его приняло злорадное выражение,— пойдешь в Шушеры.

Около столовой я увидел девушек из бухгалтерии и подошел к ним. У Вали были слезы на глазах. Хотелось ее обнять на прощание, но этим я мог бы подвести ее,— я сдержался. За мной следило много глаз, и я побоялся сделать неверный шаг.

— Счастья тебе, Валюша,— сказал я тихо и пожал ей руку.

— До свидания, милый,— шепнула она.

Мария Алексеевна пыталась сделать грустное лицо.

— Очень жаль, что вы нас покидаете, очень жаль. Мне было легко работать с вами.— Она протянула мне руку.

— И мне тоже,— ответил я.

Софья Ивановна также выразила свое огорчение по поводу моего ухода.

— Трудно будет без вас,— сказала она, вздыхая,— но что поделаешь — не моя воля. Я бы вас не отпустила. Желаю вам всего наилучшего.

Положение моего непосредственного начальника было весьма шаткое. Ее связь с Мамаевым трудно было скрыть, и ко всем неприятностям прибавилось еще самоубийство агронома Ани. Оказывается, Софья Ивановна давала ей неоднократно таблетки люминала, которые молодая женщина копила, чтобы покончить с собой.

Софья Ивановна получила десять суток гауптвахты, которые она отсидела в Йошкар-Оле.

В итоге она вынуждена была оставить работу в органах. Позже она вышла замуж за Мамаева, но их жизнь сложилась неудачно. Он оказался деспотом, да к тому же еще и пил.

Но не только Софья Ивановна была «грешна». Один из приказов того времени гласил: «Среди личного состава ВОХР, в ИТК № 3 имело место грубое аморальное поведение — сожительство с заключенными, коллективная пьянка и бандитские проявления».

На этот раз у меня было поменьше вещей — фанерный чемодан, в котором все уместилось, и пустой вещевой мешок.

На вахте меня очень внимательно обыскали, но ничего криминального не нашли. Я вышел на вахту вместе с конвоиром — пожилым, мрачным человеком в тулупе, с помятым, видимо от водки, лицом. Чуть дальше ворот стояли простые розвальни, около которых возилась молодая румяная марийка в традиционном черном тулупе и валенках.

Конвоир поправил портупею, ощупал кобуру и скомандовал:

— Садись!

Я положил фанерный чемодан и вещевой мешок в сани и расположился на сене, которое девушка заботливо приготовила. Она знала меня по приему и приветливо улыбалась, показывая ослепительно белые, крепкие зубы.

Дорога петляла через дремучие, преимущественно хвойные леса, кроны которых были покрыты снежными шапками, пересекала мелкие замерзшие речушки, старицы и озерца. Недавно шел снег. Постоянно встречались следы зверей: замысловатые петли зайцев, ровный пунктир лис, глубокие ямы, оставленные лосями.

Дальше появились дубовые массивы — излюбленные места медведей, которые приходили сюда к осени, чтобы собирать питательные желуди.

Как не хотелось вновь очутиться за колючей проволокой, когда так близко такие прекрасные, но для меня недоступные места, проплывающие сейчас мимо. Единственное удовольствие, которого меня никто не мог лишить,— это вдыхать чистый и целебный лесной воздух.

Конвоир не обращал на меня внимания и сладко дремал. Он знал, что я «политический» по ст. 58-ой, а такие не бегут.

Девушка время от времени бросала на меня короткие взгляды, а затем несколько смущенно

спросила:

— Ты совсем поедешь в Шушер? — У деревенских мариек обычай всех называть на «ты» (возможно потому, что в марийском языке нет понятия «вы»?..)

— Не знаю. А почему спрашиваешь?

— Жалко.

— Почему жалко?

— Ты хороший врач. Добрый. Нас жалеешь.

Я засмеялся.

— А другие не жалеют?

— Софья Ивановна? Она только бегает за своим Мамаевым. А Мария Алексеевна злая. Она жалеет только мужиков. Девушек не любит.

Я всегда относился с особым сочувствием к молодым девушкам и не потому, что, может быть, они мне нравились. Они были наименее защищенные и наиболее бесправные в условиях заключения и поэтому больше всего требовали внимания. И в этом отношении медики могли сделать очень много.

Особенно страдали в лагерях деревенские девушки, которые были слишком наивны и доверчивы и легче всего поддавались влиянию. Такие заключенные, как нарядчик Мамаев и другие, ловко использовали свое влияние, чтобы свернуть вновь прибывавших девушек с пути истинного.

Марийские девушки, конечно, больше доверяли ему, поскольку он был мари и к тому же большой начальник. Большинство из этих девушек имели малые сроки — один-два года и очень боялись попасть в дальний этап, далеко от своей родины. Этим и пользовался нарядчик. Долго ему, обычно, уговаривать не приходилось. Сначала он обрисовывал красочно картину дальних лагерей, откуда нет возврата, а затем подчеркивал, что список этапников составляется при его участии.

Может быть и эта розовощекая девушка, которая везла меня сейчас в Шушеры, одна из его жертв. Быть

возницей в колонии — престижная должность, которую далеко не просто получить.

Возница почти как вольная, и если ее деревня не очень далеко от колонии, поехать туда в гости не слишком сложно. Нарядчик (а может и кто-то из «вольных») имеет право направлять ее туда под каким-нибудь предлогом. Конечно, если плата за это будет «натурой».

Неизвестность всегда немного пугает. А может быть в Шушерах меня снова, как в Ошле, направят на «общие», на лесоповал или еще куда-нибудь. А важнее всего — кто будет моим начальником. От этого очень много зависело. Хороший начальник — это то же самое, что крепкий щит для воина.

— А далеко до Шушер? — спросил я девушку.

— От Ошлы, наверно, километров 30—35.

Пока мы ехали, у меня было достаточно времени для размышлений. Итак, меня снова перебросили на новое место и, конечно, не спрашивая моего согласия. Мы были здесь, во всех отношениях, как рабы.

Когда негров отправляли из Африки в Америку, они были втиснуты в трюмы кораблей, как сельди в бочки, и далеко не все добирались до места назначения живыми.

Нас, эков, везли в телячьих вагонах и трюмах пароходов и барж в такой же тесноте, давая кусок хлеба, соленую рыбу и холодную воду. В дороге умирал не один десяток заключенных.

Так же как негров, нас осматривали, словно скот, щупали мышцы и по ягодицам определяли категории труда.

На лесоповалы и на стройку дорог отправляли не только рабочих и колхозников, но и людей умственного труда: писателей, художников, музыкантов, ученых, которые никогда не держали в руках пилу или лопату. Зимой, по глубокому снегу, они ходили в полуботинках или в обуви на «деревянном ходу», в демисезонных

пальто и единственное, что им выдавали (кроме «эрзацобуви») были рукавицы.

За 600—700 граммов хлеба (если выполняли норму), жидкую баланду и две ложки каши они должны были вкалывать по десять часов и более в день, да еще в любую погоду^[2].

Но не только это было тяжело переносить. Если ты был на престижной работе, то словно Дамоклов меч над головой, постоянно мучил страх лишиться своего теплого места, быть отправленным на «общие» или попасть в очередной этап.

Не легче было терять друзей, из которых одни попадали в дальние лагеря, а другие, не выдержав жизненных тягот, погибали.

Меня спасла моя специальность, хотя побывал я и на «общих» и не однажды был доходягой.

Сейчас меня направляли в качестве врача во вторую колонию, но никто не давал гарантии, что сначала не пошлют на лесоповал. А на лесоповале, тем более в такое время года, можно «дойти» за короткий срок. Было над чем задуматься.

В Шушерах

Ехали не спеша, часа четыре или пять, пока добрались до цели. Издали я увидел среди разбросанных мощных дубов небольшой поселок и «зону». Вблизи виднелся берег Большой Кокшаги.

Конвоир проснулся. Снова схватился за кобуру и поправил ремень.

— Приехали,— сказал он простуженным голосом.

— Вижу.

Девушка взглянула на меня с сожалением и шепнула: — Я буду сегодня в женском бараке, где бесконвойные.

— Спасибо,— ответил я и сжал ей руку.

Я ее понял. И ей, молодой и здоровой девушке, хотелось ласки и сочувствия. Но мысли мои были заняты другими проблемами.

На вахте, как положено, просмотрели внимательно мое личное дело, а затем познакомились с содержанием чемодана и вещевого мешка.

— Идите в санчасть к Осиповой! — приказал дежурный.

— А кто такая Осипова?

— Валентина Федоровна? Начальник санчасти.

Интересно, подумал я, какая она? Пожилая или молодая? Привлекательная или нет?

ИТК № 2 (Шушеры), расположенная на правом берегу Большой Кок-шаги, была организована в феврале 1945 г. для содержания заключенных III—IV категории (т.е. ослабленных) с контингентом до 500 человек. До этого колония находилась в поселке Красный мост. Колония в Шушерах долгое время не имела зоны ограждения, а жилые бараки заключенных находились на территории населенного пункта.

Отсутствовала всякая изоляция от местного населения. В момент моего приезда все эти недостатки уже были устранены.

Зона мало отличалась от той, в Ошле. Жилые бараки, мастерские, столовая, баня... Такие же низкие, серую и неприветливые здания.

Санчасть занимала довольно большое деревянное строение. Здесь одновременно размещались амбулатория и стационар.

Я поднялся по ступеням и открыл дверь. Санитарка в белом халате вышла мне навстречу и удивленно спросила:

— Вы к кому?

— К Осиповой.

— Тогда идите туда! — она показала рукой на приоткрытую дверь. В комнате, видимо, приемной, сидела молодая девушка спиной ко мне. Я поздоровался. Девушка обернулась, и я чуть не лишился дара речи от удивления.

Это была та самая девушка, которая не так давно приходила в Ошлу в амбулаторию и вызвала в моей душе такое смятение.

— Неужели это вы?

— Да, доктор, это я. Но сначала здравствуйте. Рада, что вас прислали сюда на помощь. Одной очень трудно.

Она протянула мне руку, и я ее держал несколько дольше положенного, но мой шеф этого, видимо, не заметила.

— Но сначала, доктор, вас надо устроить. Будете жить в бараке для работников ИТР и obsługi. Сейчас скажу сестре-хозяйке Марусе, чтобы она вам приготовила белье.

В комнату вошла женщина лет сорока с небольшим, темноволосая, с морщинистым лицом, покрытым толстым слоем пудры. Губы были ярко накрашены. Она

была одета в несуразное красное платье, которое, видимо, предназначалось для подростков.

— Познакомьтесь,— сказала Валентина Федоровна, — это наша сестра-хозяйка Маруся.

— Очень рада познакомиться с вами,— сказала женщина, кокетливо улыбаясь и протягивая руку.— Мы много слышали о вас.

— Обо мне? — я удивился.

— Да. Земля слухом пользуется.

— А что вы слышали обо мне?

— Что вы хороший врач.

— Это, пожалуй, преувеличено.

Маруся принесла белье: простыню, подушку, новое байковое одеяло и проводила меня до барака ИТР.

— Кушать будете в амбулатории,— объяснила она.— Вам принесут с кухни.— Она сделала небольшую паузу и, улыбаясь многозначительно, продолжала: — Я думаю, что здесь вам будет хорошо. У нас очень хороший начальник колонии и очень хороший начальник санчасти.

Такого приема я не ожидал. Это было выше моих мечтаний. Я буду работать вместе с девушкой, которую полюбил с первого взгляда. Что может быть лучше.

Но мою радость несколько охладило то обстоятельство, что Осипова — вольнонаемная. И кроме того, я совершенно не знал, какие она питает ко мне чувства. Вероятно, никаких. Мы же виделись до этого всего лишь один раз, и это вряд ли могло оказать на нее какое-то влияние.

Любовь, конечно, приносит великую радость, но лишь в том случае, когда она взаимная. А если нет? Если Валя не ответит на мои чувства, пребывание в этой колонии будет сплошной пыткой. Однако, сначала надо было думать о работе. Меня послали сюда не затем, чтобы ухаживать за своим шефом.

Барак, в котором меня устроили, оказался небольшим, рассчитанным на 10—20 человек. Это была так называемая «вагонка», построенная по типу железнодорожных вагонов,— на одном каркасе четыре спальных места — два внизу, два наверху. Мне предложили место рядом с нарядчиком Валентином Бурзуловским — болгарин по национальности. Болгары, так же как и немцы, греки, калмыки, ингуши, чеченцы и другие, относились к тем национальностям, которым не доверяли и выслали подальше от родных мест.

Колония была небольшая (на трех участках находилось около 500 заключенных) и смешанная, то есть содержались как мужчины, так и женщины. Днем все были вместе, а после отбоя женскую половину зоны закрывали. Бараки были для уголовников и бытовиков и отдельно для осужденных по 58-ой статье.

В зоне имелись: бондарный цех, цех, где делали сани, лапотный цех, пошивочная и другие. Часть заключенных работала за зоной на лесоповале. Вблизи находились дубняки, древесину которых использовали для изготовления, главным образом, бочек и саней.

В этой же колонии содержались и неработающие инвалиды, а на подучастке в Старожильске — женщины с грудными детьми.

Работа в Шушерах мало отличалась от той, в Ошле. Утренний прием (короткий) для заболевших перед началом работы, обход больных в стационаре, проверка санитарного состояния зоны и вечерний прием.

В отличие от Тухватуллиной Валентина Федоровна почти всегда присутствовала на амбулаторном приеме и нередко во время обхода больных в стационаре. Правда, всю документацию я заполнял сам.

Во время работы мне было не сложно наблюдать за своим шефом и делать определенные выводы. С самого начала знакомства я несколько идеализировал эту

девушку и пока не ошибся в ней. Не заметил в ней каких-нибудь отрицательных сторон. Она носила обычно белую блузку, вышитую у воротничка, и темный легкий пиджачок с модными тогда буфами, синюю юбку, не очень длинную и высокие красивые сапожки на высоких каблуках. Лицо, его нежный овал, спокойные серые глаза, красиво очерченные брови, аккуратный носик и мягкие губы делали девушку на редкость привлекательной. Темно-русые волосы, расчесанные несколько кверху, дополняли картину. И еще одно: я никогда не видел, чтобы она повысила голос или сказала кому-нибудь резкое слово. Она умела держать себя с достоинством при всех обстоятельствах.

Но мне показалось, что в душе она всегда немного грустила. Возможно потому, что она выросла сиротой и никогда не знала родительской любви.

Я прекрасно понимал, что должен был действовать чрезвычайно осторожно — любая поспешность могла только навредить. Но было одно обстоятельство, которое меня смущало и вызывало неуверенность в успехе. До сих пор я имел дело с заключенными женщинами, которым нечего было терять и которые ничего не требовали, кроме ласки. Одни из них были замужем, другие — нет. Все они, однако, охотно шли на сближение, чтобы как-то скрасить свою тоскливую жизнь и забыться. С ними в этом отношении было легко. Но Валя была вольнонаемная, и это меняло дело. Чего она могла ожидать от меня? Я же был женат. В ее возрасте девушки мечтают о замужестве, а не о «легком флирте».

Шушеры вряд ли были лучшим местом, чтобы найти себе подходящую пару для жизни и поэтому, возможно, могло появиться желание немного развлечься, пококетничать, но вряд ли с заключенным. С ним игра не стоила свеч.

Когда я думал о своей жене Миле и нашей короткой совместной жизни, то все это казалось неправдоподобным, больше похожим на чудесный сон. Как-никак, но четыре года разлуки — большой срок, особенно в нашем возрасте.

От Милы давно не было писем, и у меня появилось смутное чувство, что для этого имелись веские основания. Хороших новостей я не ожидал.

Я снова холостой

В начале апреля я получил от нее, наконец, долгожданное письмо.

12.03.46 Дорогой Генри!

Несколько раз я уже собиралась писать тебе, но как-то рука не поднималась писать тебе правду и причинить еще новое огорчение. Теперь передо мной твое письмо, я буду отвечать тебе и вкратце постараюсь написать о всех последних событиях моей жизни. После отъезда от твоей мамы я поехала к своим старикам и провела там целый год, работала в горах по своей специальности — картографа. В заповеднике все так же хорошо, но я чувствовала, что долго не смогу выполнять такую физически тяжелую работу с вечным хождением нагруженной, а главное, не могу больше жить в глуши. Случилось совсем неожиданное для меня. Мне суждено было познакомиться во время своих путешествий с очень славным геодезистом, и мы решили жить вместе. У него в прошлом тоже драма с женой, так что мы оба начинаем другую жизнь. Не легко было мне изменить тебе, милый Генри. Как-то страшно думать, что, потеряв меня, ты становишься еще более одиноким, и что я прибавляю тебе еще новые страдания, а у тебя их и так немало. Но передо мной все время стоял вопрос: годы, годы идут. А сколько мне лет ты и сам знаешь! Это, пожалуй, основное, из-за чего я решилась на такой шаг и не захотела терять этого очень хорошего и

преданного мне человека. Генри, мне хотелось бы только сказать тебе, что никогда, никогда за все время нашей разлуки не упрекала тебя ни в чем. Может быть, мне приходилось иногда и нелегко, но из-за своей молодости и энергии все проходило как-то без особых последствий, и ты всегда оставался для меня дорогим и любимым. Кроме того, со мной была твоя мама, которая очень помогала мне и предостерегала от многих неверных шагов. Писать я тебе перестала не из-за того, что забыла тебя, на то были другие причины. Я думаю, что для нас обоих время, проведенное вместе, останется на всю жизнь счастливым и светлым воспоминанием. Очень, очень жаль, что судьба была так жестока и разъединила нас.

Милый, я прекрасно понимаю, что хоть и даешь ты мне свободу, но все же нелегко тебе будет читать это письмо. Прости, прости меня, дорогой, что мне, твоему самому хорошему другу, приходится делать тебе больно. Знай одно, что, несмотря на то, что изменилась моя жизнь, я тебя всегда помню и остаюсь твоим другом.

Твою маму я никогда не забуду, очень люблю ее, ее нельзя не любить. За эти годы она заменила мне мать, и я всегда, если это будет в моих силах, помогу ей.

Теперь напишу немного подробнее о себе. Я вышла замуж четыре месяца назад. За это время успела побывать в Тбилиси, в Москве и заповеднике. Теперь опять в Тбилиси. Устроилась прилично. Я не работаю. Должна до июля 1946 года отчет о своей летней работе в заповеднике. Жизнь моя будет кочевой, так как муж все время работает в горах, и с апреля до

ноября каждого года мы выезжаем из города. Опять восхождения, и конечно, мои волнения (везет мне на альпинистов).

Во время пребывания у родных я собрала твои марки, рисунки, монеты и отдала их на хранение своей тетке. Картин нет, так как я в суматохе отдала их кому-то из твоих медиков, но их не видела больше. Твоя бумага об окончании института у моей мамы. Пусть она ее хранит. Ну вот и все, кажется, в основном. Писать тебе больше вряд ли буду. Если ты только не получишь это письмо, то напишу еще.

Прости меня, если можешь. Желая тебе только самого хорошего, здоровья, сил, бодрости все переносить. Целую тебя крепко. Милуша.

Р. С. Я посылала тебе в прошлом году книги. 1. Пржевальского, 2. Миклухо-Маклая, 3. Обручева — Путешествия, 4. Брюллова, но, очевидно, они не дошли.

Откровенно говоря, содержание этого письма меня не очень удивило. Я в душе уже давно сомневался в возможности продолжения совместной жизни с Милой. Если я в первые годы заключения не мыслил себе жизнь без нее, то позже был уже другого мнения. Я знал Милу очень хорошо, уже потому, что она принадлежала к тем людям, которые не скрывают свои чувства и взгляды и говорят всегда правду. Она никогда не была дипломатом.

Как и всякая девушка, Мила мечтала о замужестве, и как всякая женщина о детях. В 1945 году ей исполнилось тридцать лет. И чего она добилась? Замужем, но муж в заключении. Детей нет, а что впереди? И Мила решила действовать.

Чехов как-то назвал блондинок «замороженным шампанским», и это определение относилось и к Миле. Но трезвый ум в большинстве случаев преобладал у нее над чувствами. Взвешивая все за и против, она вышла замуж за другого человека. Я ее не осуждал. Для нее не существовало другого выхода. И вновь она демонстрировала свою прямооту, когда писала: «Писать тебе больше не буду».

Прочитав это письмо, я почувствовал себя вдруг очень одиноким и только тогда по-настоящему понял, что потерял.

Мила была исключительным человеком и очень надежным, и была для меня не только женой, но и большим другом.

В этом большом мире у меня остался сейчас лишь один близкий человек, с которым я мог поделиться — мать, но она была далеко.

Всегда, когда мне плохо и тяжело на душе, я стараюсь найти в сложившейся ситуации что-то положительное, интересное или поучительное и убедить себя в том, что все не так страшно как кажется на первый взгляд. Мила была на три года старше меня, и эта разница в годах, как мне казалось, угнетала ее и сделала неуверенной. Она сомневалась во мне и, пожалуй, была права. Пройдут годы, разница между нами будет все заметнее и удержать меня будет труднее. То, что я был равнодушен к представительницам прекрасного пола, ей было хорошо известно.

В конечном итоге я сказал себе: пожалуй так будет и лучше. Мое легкомыслие вряд ли сделает наш союз счастливым. Миле надо было родиться на десять лет позже.

Но что сказать, попытка найти утешение помогла лишь отчасти, и я переживал.

Нина, Ксана и Фогель

Чтобы рассеять грустные мысли я окунулся в работу, и если в санчасти делать было нечего, то ходил по зоне, обследовал больных и знакомился с заключенными. В первую очередь меня интересовали те, кто были осуждены по статье 58-й. Если в Ошле я не встречал представителей интеллигенции, осужденных по этой статье, кроме Цуккера, то здесь каким-то образом некоторые из них осели на более длительное время.

Выделялись две молодые женщины из Прибалтики: Нина Мигуева и Ксана Хлебникова. Первая из них была несколько старше, уже за тридцать лет и отличалась удивительной скромностью и порядочностью. В прошлом пианистка, она работала здесь в пошивочном цехе. Совершенно непонятно, как можно было этого тихого человека, который обитал только в мире звуков, посадить за решетку.

Ксану можно было назвать изящной и, может быть, даже красивой женщиной. Об этом говорили ее очень правильные черты лица, темные волосы и светло-серые, почти голубые глаза. Это сочетание, довольно редкое, делало ее особенно привлекательной.

Обе они жили в Прибалтике и были эвакуированы в начале войны в Оршанский район Марийской АССР. Ксана заинтересовалась политической литературой и начала изучать классиков марксизма-ленинизма. Устроилась она вместе с Ниной в деревянной избе у очень приветливой и миловидной хозяйки, которая помогала им во всем. И, конечно, вечером, за самоваром вели беседы на разные темы. Возможно, молодые женщины вспоминали хорошие годы, которые они провели в Прибалтике, когда она еще была

самостоятельной, а может быть, были недовольны новыми порядками...

Приветливая и миловидная хозяйка оказалась не той, за кого ^давала себя, и написала донос на доверчивых женщин. Обе получили по восемь пет за антисоветскую агитацию.

Даже после войны еще многие заключенные страдали от голода или, точнее, от недоедания, но реагировали на это по-разному. Одни стойко переносили это мучительное чувство, другие были готовы на все: могли воровать, рыться в помойных ямах, униженно кланяться на хлебопекарне, кухне или в столовой, а то и доносить на своего ближнего. У женщин был еще один выход — использовать свою привлекательность, чтобы получить лишний кусок хлеба.

Нина Мигуева не бросалась в глаза и красавицей не была. Она отличалась душевной красотой, но этим мужчины в колониях не интересовались. Иное дело Ксана. Она относилась к тем, кто больше других страдал, и не могла перебороть чувство голода. Я очень часто посещал барак, где жили эти милые женщины, и мы тогда долго сидели вместе и говорили об искусстве — вспоминали французских импрессионистов — Ренуара, Гогена, Монэ и Манэ, композиторов Вагнера, Бетховена и Чайковского, писателей Кнута Гамсуна, Джека Лондона, Стефана Цвейга и других. Ксана была художницей, а сейчас работала в цехе ширпотреба, где украшала деревянные сувенирные коробочки резными орнаментами.

Иногда я прихватывал пайку хлеба и тогда видел, с каким трудом Ксана поддерживала разговор. Ее глаза стойко фиксировали пайку, и лишь мое присутствие мешало ей сразу заняться едой. Грустно было смотреть на красивое одухотворенное лицо этой женщины, на нежные губы, прямой нос и светло-серые глаза.

Я знал, что достаточно было сказать: пойдите со мной, Ксана, и она пошла бы безропотно. И только из-за хлеба. Я не произнес этих слов и старался без взаимных «услуг» помогать этим женщинам. Кроме того, мне было известно, что бухгалтер Федотов откладывал свой лишний хлеб для встреч с Ксаной.

Это был высокий тощий мужчина, с внешностью чахоточного больного и потными руками. Он курил очень крепкую махорку, и от него постоянно пахло табаком. Федотов старался быть галантным кавалером, аккуратно брился и смазывал волосы бриолином. Когда он входил в барак, то обычно потирал от удовольствия руки и сладко улыбался. Заговорщически взглянув на Ксану, он приглашал ее в бухгалтерию.

— У вас очень хороший почерк, Ксана,— вы, конечно, поможете мне переписать кое-что.

— Да,— отвечала она, опуская глаза, прекрасно зная, что ничего не надо будет переписывать, а также и идти в бухгалтерию... Предстояло не что иное, как интимное свидание в предбаннике.

Из мужчин, осужденных по статье 58-й, выделялся бывший инженер из Ленинграда Давид Маркович Фогель — высокий, худощавый и очень не приспособленный к жизни пятидесятипятилетний представитель старой интеллигенции. Удивительно тактичный и вежливый человек, прекрасный собеседник, он пользовался определенной поддержкой со стороны Валентины Федоровны, а также начальника колонии Ремизова.

Чаще всего люди, попавшие в колонию, начинают быстро меняться под влиянием окружающей среды и в первую очередь становятся грубее, черствее и эгоистичнее. Более молодые пытаются быть похожими на блатных, у них появляется какая-то развязность, речь изобилует нецензурными выражениями.

Фогель в отличие от остальных зэков остался прежним, таким же, каким был до своего ареста.

Долго думали на какую работу его поставить, так как везде она у него не клеилась. На лесоповале не хватало физической подготовки, на других объектах — умения. Это был один из тех мужчин, у которых жены забивают гвозди в стену, заменяют перегоревшую лампочку и чинят электрический утюг.

Давид Маркович был стопроцентным теоретиком и страстным библиофилом. В конце концов Фогеля сделали банщиком. Основная его задача состояла в том, чтобы выдавать маленькие кусочки мыла зэкам и, главное, следить, чтобы каждый брал не более двух шаек воды.

Последняя задача была сложной, особенно тогда, когда мылись женщины, которых такое ограничение не очень устраивало. Каждая из них старалась взять побольше воды.

Деликатный Фогель стеснялся обнаженных женщин, не задерживался долго в моечном отделении и пустил все на самотек. В конечном итоге часть женщин осталась без горячей воды, в том числе и те, кто уже успели намылиться с головы до ног. Поэтому ополаскиваться им пришлось ледяной водой. Вполне естественно, начался визг и вой.

Я был свидетелем трагикомичной сцены, когда женщины, покрытые мыльной пеной, толстые и тонкие, безобразные и весьма привлекательные, окружили несчастного Давида Марковича и требовали от него горячей воды, чтобы сполоснуться.

— А где я ее возьму? — защищался он.— Кто виноват, если кто-то из вас взял больше положенного.

— А надо было тебе за этим следить,— возразили ему,— для этого тебя сюда и поставили.

— Или ты пришел сюда, чтобы смотреть на наши титьки, или еще на что-то,— кричала одна из воровок,

демонстрируя великолепные груди и хлопая себя по животу.— Тогда посмотри на товар, только не ослепни.

Сконфуженный Фогель прибежал к Валентине Федоровне.

— Ради бога, освободите меня от этого кошмара.

— А куда я вас поставлю, дорогой Давид Маркович, — возражала Осипова, — надо было следить за выдачей воды.

— Неудобно же мне, мужчине, выдавать голым женщинам воду.

— А будьте смелее. Чего вам стесняться? Не думаю, чтобы ваше присутствие смущало наших женщин. Они не то видали.

Давид Маркович покорился, и с этого дня сам выдавал воду. Больше скандалов в бане не отмечалось.

В бараке рядом с Фогелем лежал семидесятилетний добродушный старик Мамаев. Он был арестован вместе с женой за антисоветскую агитацию. Когда я спросил, за что его посадили и по какой статье осужден, он не мог дать вразумительного ответа.

— Что тебе сказать, милый, — ответил он, — я неграмотный и не знаю ничего. Мы люди темные. Вот дома в праздники молились вместе с соседями. Власти говорят, что этого нельзя. А как же не молиться.

Инвалиды

В одном из барачков жили инвалиды войны, в том числе двое слепых и еще знакомый мой по Ошле — Миша Мельников. Мельников, участник ВОВ, был ранен в левую ногу, и как последствие осталась большая незаживающая рана (остеомиелит), благодаря чему его освободили от работы за зоной и сделали дневальным. Он был осужден за растрату на три года, отбывал свой срок сначала в Ошле, а затем в Кузьмине, в колонии № 1. Парень был очень живой и общительный, играл на гармошке, рассказывал анекдоты и пользовался успехом у представительниц прекрасного пола. Получилось, однако, так, что в него влюбилась дочь самого начальника колонии Хачинского, человека люто ненавидевшего зэков. Увлечение девушки оказалось нешуточным, и вскоре о связи узнала вся зона, в том числе и ее отец. Миша попал в карцер, был направлен на один из подучастков, но девушка была настойчива и сумела даже «организовать» свидания. Хачинский вызвал к себе Мельникова, уговаривал его оставить дочь в покое, обещая различные льготы, а встретив сопротивление, перешел на угрозы. Кончилось тем, что Мишу отправили в Шушеры.

Мельников был любопытным парнем и чаще всего расспрашивал слепых инвалидов.

— А как у вас с женским полом? — поинтересовался он однажды.

— Как вы женитесь? Где вы находите женщин?

— Где мы их находим? — ответил один из них, лицо которого было покрыто черными точками от пороха, — они сами приходят к нам в интернат и выбирают себе парней. На мужчин сейчас большой спрос и нами не брезгают.

— А как вы узнаете, что за женщина,— не унимался Миша.— Может быть, она урод или старая?

— Очень просто. Мы ощупываем ее.

— Что вы ощупываете?

— Сначала, конечно, очень внимательно лицо, чтобы выяснить, какой у нее нос, какие уши, губы, волосы.

— А потом?

— Конечно, и груди.

— А если она не даст пощупать?

— Этого не бывает. Мы всегда заранее предупреждаем, что поскольку мы слепые, наши руки должны нам заменить глаза.

— А после грудей?

— При первом знакомстве мы этим ограничиваемся. А позже, когда вопрос стоит, может быть, и о женитьбе, мы продолжаем исследование. Кому хочется иметь жену без талии, с большим животом и кривыми ногами? Мы, слепые, такие же люди, как и все, и так же разбираемся в женщинах. Любая нам не нужна.

— И что вы тогда делаете?

— Погладим осторожно живот, бедра, ноги... Конечно, есть среди нас и нахальные, которые чуть не в первый день начинают шарить под юбкой...

Ремизов, Комарова, первые успехи

В один из первых дней пребывания в Шушерах я познакомился с Константином Ивановичем Ремизовым — начальником колонии, который убедил меня в том, что и в таких местах работают люди, которые действительно болеют душой за заключенных и стараются облегчить их участь. Среднего роста, лет сорока — сорока пяти, с умным, простым русским лицом, он сразу произвел на меня хорошее впечатление. Он говорил спокойным, ровным голосом, и его серые глаза доброжелательно изучали меня. Я понял, что он видел во мне не «врага народа», а обычного, нормального человека, с которым предстояло работать.

— Как вы устроились? — спросил он меня.

— Спасибо. Хорошо.

— В чем-нибудь, может быть, нуждаетесь? Все ли есть в больнице для работы?

— Пока ни в чем не нуждаюсь.

— Это хорошо. А если что-то потребуется, смело обращайтесь ко мне или Валентине Федоровне. Думаю, что мы с вами найдем общий язык.

Ремизов был одним из тех немногих начальников, которые прежде всего интересовались деловыми качествами заключенных, а не их статьей. Поэтому и начальники цехов были чаще всего не уголовники, а осужденные по 58-й статье.

В сравнении с Ошлой амбулаторный прием в Шушерах оказался для меня чуть ли не отдыхом. В этой колонии почти не встречались урки, и на прием приходили чаще всего простые работяги, которые не

пытались обманывать меня, чтобы получить освобождение.

В стационаре основной контингент составляли пожилые люди с хроническими заболеваниями, а также больные с воспалением легких, гриппом, расстройствами желудочно-кишечного тракта и травмами. Попадали и дистрофики I степени, то есть еще не доходяги, а просто истощенные. Изредка приходилось принимать роды.

Однажды в стационар направили молодую девушку, у которой внезапно парализовало нижние конечности. Она не могла двигаться и вынуждена была даже пользоваться уткой и подкладным судном. Я осматривал ее внимательно, исследовал рефлексy, но существенных отклонений от нормы не отмечал. По всей вероятности заболевание было связано с истерией (так называемая «истерическая реакция»). В Казлаге я уже встречался с подобным случаем истерии, когда также молодая девушка внезапно «ослепла». После нескольких сеансов психотерапии я тогда вылечил больную.

Я не психиатр, но как положено, очень внимательно расспрашивал больную и составил подробнейший анамнез. При этом выяснил, что она недавно получила письмо из дома, в котором ей сообщили, что ее суженый женился.

Видимо, это событие и дало толчок. Я начал с массажа нижних конечностей, сгибал пальцы ног, стопы, учил ее сидеть в постели. Несколько позже заставлял ее стоять, придерживаясь за спинку стула, а потом учил ходить как годовалого ребенка, постоянно внушая ей, что идет улучшение. В первое время девушка двигалась очень неуверенно, обнимая меня рукой. Недели через две наступило полное выздоровление.

Вместе с Валентиной Федоровной работала еще одна вольнонаемная — фельдшер Клава Комарова, весьма подвижная и бесшабашная девушка лет 22—25, которая держала себя весьма раскованно и не делала различия между зэками и вольными. Она курила, кокетничала с молодыми парнями-зэками и могла при случае выпить с ними стакан водки или вина, если ситуация позволяла.

С ней, как и с Валентиной Федоровной, работалось легко уже потому, что они видели во мне такого же человека как и они сами.

Я внимательно следил за своим шефом и очень хотел выяснить, какие чувства она испытывает ко мне. То, что девушка при встречах всегда приветливо улыбалась, еще ничего не значило. Есть девушки, способные «стрелять глазами» в каждого встречного, но Осипова к ним, вероятнее всего, не относилась. Однако, вполне возможно, что она могла кокетничать.

Я старался задержать ее после амбулаторного приема, чтобы побеседовать, и она обычно охотно оставалась. Я рассказывал ей о своем прошлом, о детстве, проведенном в Германии, о школьных и институтских годах, и, конечно, о мытарствах, которые испытал в империи ГУЛАГа.

Девушка внимательно слушала меня, и я замечал, как выражение ее глаз постепенно изменялось. Если вначале в них можно было читать лишь внимание и любопытство, то вскоре к ним присоединились чувства сострадания и нежности. Ее глаза говорили мне больше, чем слова.

Когда она уходила домой, и мы прощались, я всегда немного дольше положенного задерживал ее руку, и не встречал сопротивления. Конечно, хотелось не только читать выражение ее глаз, но и услышать от нее слова, подтверждающие мои догадки, что она так же неравнодушна ко мне.

В подобных случаях трудно найти ответ на этот вопрос. В вопросах любви все повторяется.

И вот однажды, когда мы дольше обычного сидели в амбулатории, я сказал ей на прощание:

— Как не хочется отпускать вас.

— Почему? — Валя, как мне показалось, постаралась сделать удивленные глаза.

— Мне хорошо с вами. В заключении вызывают страдание не только голод, отсутствие свободы, решетки и колючая проволока, но и одиночество. И то, что не с кем поделиться мыслями и переживаниями.

— Вы не до конца ответили на мой вопрос,— на этот раз девушка лукаво улыбалась.

— Я вас понял. Мне кажется, что вы человек, с которым можно поделиться своими переживаниями. Боюсь лишь одного...

— А чего боитесь? — прервала она меня.

— Что вам скучно со мной, что мои разговоры вас совершенно не интересуют, и вы лишь ради приличия слушаете меня.— Ответ на этот вопрос должен был решить все мои сомнения, и я с бьющимся от волнения сердцем ожидал его.

Девушка на секунду задумалась, так как прекрасно поняла, что я от нее хотел.

— Напрасно вы так думаете,— ответила она серьезно.— Я бы не задерживалась здесь в амбулатории, если бы мне было скучно.

— Я очень рад.

Валентина сидела напротив меня, а руки ее лежали совсем близко на столе. словно невзначай я положил свою правую руку рядом, а потом приблизил ее, пока она не коснулась руки девушки. Валя не отодвинула ее. Тогда я очень нежно погладил ее. Девушка слегка покраснела, но не отреагировала, словно ничего не случилось. Первая маленькая победа была достигнута. А может быть, это вовсе и не было победой? Может

быть, Валентина просто не хотела огорчать меня и портить отношения?

Открыто выразить свои чувства я не хотел, и это можно было делать лишь в том случае, если у меня появится абсолютная уверенность, что она разделяет их. Унизительно работать с человеком, который знает, что ты его любишь, но на это он не отвечает. По этой причине я решил действовать очень осторожно. Но одно обстоятельство было не в мою пользу и вызывало у меня неуверенность в успехе. Валентине Федоровне, как вольнонаемной, запрещался любой контакт с заключенными, даже самый безобидный. Последствия могли быть самыми серьезными, вплоть до снятия с работы и отдачи под суд.

И если Валентина действительно испытывает ко мне теплые чувства, то это еще ничего не значит. Требовались большая любовь и большое мужество, чтобы идти со мной на сближение. А были ли эти качества у моего шефа, я не знал.

Вполне естественно, что никто не должен был знать о наших взаимоотношениях, но скрывать свои чувства от посторонних очень внимательных глаз чрезвычайно трудно.

Я продолжал выяснять какие чувства испытывает Валя ко мне, применяя маленькие хитрости: задерживал ее после приема в амбулатории, гладил ее руки, садился так, чтобы наши колени коснулись, смотрел на нее красноречиво...

Постепенно я пришел к выводу, что и девушка меня любит. Однажды после приема родов, а это бывает как правило ночью, она мыла руки, а я стоял сзади нее совсем близко, ожидая свою очередь. Явственно чувствовал своеобразный аромат ее волос и словно невзначай коснулся их своими губами. Девушка повернулась ко мне молча, опуская глаза. Тогда я обнял ее. В тот вечер мы много целовались.

Я был счастлив. С этого дня мы перешли на «ты», что было далеко не просто, так как при людях мы должны были вновь переходить на «вы», а я к тому же должен был звать свою любовь по имени и отчеству. Не раз и не два мы забывали эту предосторожность и тогда лишь с большим трудом выходили из этого щекотливого положения.

Мне было очень трудно сдерживать свои чувства, в отличие от Вали, у которой, видимо, были артистические способности. Обращаясь ко мне при посторонних, она умела сделать такое равнодушное лицо и говорила на таком сухом и официальном языке, что я, нередко, начинал сомневаться в ее чувствах.

Единственным человеком, который был посвящен в нашу тайну, была сестра-хозяйка Маруся. Валя делилась с ней. Ко мне Маруся относилась с большим сочувствием и всегда утешала меня, когда я выражал свою тревогу.

— Не беспокойтесь,— успокаивала она меня,— можете быть уверены, она любит вас.

Вполне естественно, что я всегда старался быть с Валею, и в этом отношении далеко не всякий раз соблюдал осторожность, что вызывало у нее вполне понятное беспокойство.

Однажды она сказала мне:

— Генри, нам надо быть осторожнее. Мне кажется, что кое-кто уже догадывается о наших отношениях.

— А что ты предлагаешь?

— Даже не знаю,— девушка задумалась.— Пожалуй лучше всего, если ты начнешь ухаживать за другой девушкой.

— За другой девушкой? — Я был удивлен.— Зачем? Я же люблю тебя. Как я могу отказаться от тебя?

— Ты меня не понял. Я просто предлагаю тебе ухаживать за кем-нибудь для отвода глаз. То есть не серьезно.

— А за кем я должен по-твоему ухаживать?

Валя сделала короткую паузу, словно перебирая в памяти девушек, которые могли меня заинтересовать.

— Ну, например, за Галей Вязниковой.

Это была очень симпатичная и славная, плотно сложенная, немного курносая девушка, небольшого роста, с чудесными, длинными волосами цвета льна и голубыми глазами. Она мне нравилась, и если бы не Валя, то наверное, я ухаживал бы за ней, но уже по-настоящему. Я задумался. Это могла быть игра с огнем.

— Ну как? — Валя взглянула на меня с любопытством.

— Просто не знаю, что тебе сказать и кроме того неизвестно, как она будет реагировать.

— Как она будет реагировать на знакомство с тобой? Думаю положительно.

— Ты так уверена?

— Уверена. На тебя смотрят многие девушки. Это мне хорошо известно. Пойми, Генри, ты должен это сделать.

— Ну что же, если другого выхода нет — попробую.

С этого дня я стал появляться почаще в зоне, и когда в столовой шло кино или проводился вечер, искал встречи с Галей, садился рядом с ней и вступал в разговор. К моему удивлению, знакомство завязалось очень быстро. Девушка, видимо, еще была «свободной» и охотно встречалась со мной.

Быть в дружбе с врачом колонии считалось престижным.

Галя работала до ареста в торговле и была осуждена на два года за растрату. За такие, чаще всего безобидные преступления (недостача составляла иногда мизерные суммы) сидело много девушек, которые сделали свои первые шаги в торговле, и по неопытности оказались за решеткой. В большинстве

случаев они были обмануты своими же сослуживцами, которые хотели нажиться за их счет.

На наших коротких свиданиях я ограничивался пустыми разговорами, провожал девушку иногда до ее барака, но дальше мои ухаживания не шли. Правда, этого было достаточно, чтобы вскоре заговорили о нашей «дружбе».

Вскоре, однако, я попал в затруднительное положение и не знал, как вести себя дальше. Ограничиваться и дальше только разговорами вызвало бы лишь недоумение. В ее возрасте, тем более в колонии, девушки ждут чего-то более основательного, чем слова, и хотя бы вначале крепких объятий и поцелуев. Я понял по доверчивым и просящим глазам Гали, что она ждет от меня признания в любви и ласки, и мне стало стыдно. Работать же на «два фронта» не позволяла совесть, хотя иногда и появлялось такое желание. Галя была деревенская девушка, которым еще свойственна определенная застенчивость и скромность, поэтому она и не решалась выразить свое недоумение. Блатная девица, вероятно, обозвала бы «меринком».

К счастью, меня выручил не кто иной, как сама Валя. Она заревновала.— Это была глупая затея с моей стороны,— оправдывалась она,— и я поступила очень нехорошо, и в отношении Гали и в отношении тебя. Прости меня.

Несколько дней я почти не показывался в зоне и отсиживался в амбулатории или стационаре. По возможности я старался избегать встреч с Галей. Мне было очень неудобно перед ней, хотя наши отношения отличались необычным целомудрием.

Мои угрызения совести оказались напрасными. Галя долго не горевала. Оказывается, за ней уже давно ухаживал бригадир Вершинин, и девушка долго не знала, кому отдать предпочтение — ему или мне. Теперь вопрос решился очень просто. Вершинин взял

инициативу в свои руки и добился полного успеха. Ровно через год Галя родила ему двойню. После освобождения они поженились.

Пасха

Наступил праздник Пасха. Хотя официально религия считалась «опиумом для народа», люди соблюдали старые традиции, особенно в сельской местности, и отмечали этот день. Не являлись исключением и мои непосредственные начальники — Валентина Федоровна и Клава Комарова. Они похристосовались со мной (правда без посторонних глаз) и подарили мне раскрашенные луковым отваром буроватого цвета яйца.

С Клавой я был в дружеских отношениях, и когда в клубе организовывались танцы, она чаще всего оказывалась моей партнершей. Девушка была очень подвижной и гибкой, и с ней танцевалось легко.

Я уже давно замечал, что Клава старалась «поймать меня в свои сети», но я не обращал на это внимания, и делал вид, что ничего не понимаю. Тогда она решила применить испытанное средство, зная, что Бахус помогает Венере.

В пасхальное воскресенье Валя прибежала в зону после обеда лишь на полчаса, чтобы поздравить меня, а затем вернулась домой, где ее хозяйка накрыла праздничный стол. Клава осталась в больнице. Она уже приняла определенное количество водки и была в приподнятом настроении.

В свободное время я обычно находился в амбулатории, где мог спокойно читать и писать. В бараке этой возможности не было.

Вот и в этот день я сидел в приемной за столом и писал при тусклом свете керосиновой лампы очередное письмо матери. Далеко не всегда горел электрический свет, и поэтому, как в амбулатории, так и в стационаре имелись, на всякий случай, керосиновые лампы и коптилки.

Клава была чем-то занята в процедурной комнате, но вскоре появилась в приемной.

— Опять пишете? — спросила она с упреком в голосе,— нехорошо. Сегодня праздник, и его надо отметить.

— Как?

— А это уже мое дело,— ответила она с вызовом и жестом руки пригласила меня в соседнее помещение.

— Пойдемте! Стол уже накрыт.

В процедурной горела лишь маленькая коптилка, которая едва освещала маленькое помещение. Я увидел кушетку и около нее тумбочку, на которой красовалась бутылка водки. Рядом стояли два стаканчика и тарелки с крашеными яйцами, хлебом, капустой, колбасой и консервами. Такого угощения я уже давно не видал.

— Садитесь, Генри,— Клава показала на кушетку. Я сел рядом с ней. Девушка наполнила стаканчики. Я очень не люблю вино и терпеть не могу водку.

— Не хочется.— Я отодвинул стакан.

— Вы меня обижаете, я же от чистого сердца,— Клава сделала обиженное лицо.

Я поднял стаканчик.— Вы меня уговорили. За праздник и за ваше здоровье.— Мы выпили.

— Закусывайте! — девушка пододвинула мне тарелку с кислой капустой, где лежали еще два соленых огурца. Я взял один огурец. Клава налила снова стаканчики.

— Больше не буду.

— Ну последний раз,— умоляла она,— выпьем на брудершафт.

Алкоголь действует на людей по-разному. Одни делаются агрессивными и злыми, другие развязными, болтливыми или веселыми. Я после вина становлюсь добрым и готов тогда отдать последнюю рубашку. В такие моменты я не могу обижать никого.

— Уговорили.

Мы встали, чокнулись, выпили и поцеловались. Поцелуи оказались далеко не ритуальными.

Видимо, доза, которую приняла Клава, была предельной. Девушка слегка пошатнулась и при этом рукой задела коптилку. Огонь погас. В комнате стало темно. Я подхватил Клаву, чтобы она не упала, и осторожно положил на кушетку.

— Садитесь рядом со мной,— сказала она тихо, крепко притянула меня к себе цепкими руками и поцеловала в губы. Я не очень сопротивлялся, водка оказала свое действие.

Я заметил, что Клава была довольно легко одета, и, видимо, не без основания, набросила свой белый халат прямо на нижнее белье. Девушка дрожала, и я явственно почувствовал ее податливое тело, которое меня искало. В этот момент я забыл все на свете, и даже Валя отошла ненадолго на задний план. Вино сделало меня легкомысленным, тем более, что сопротивления я не встретил. Наоборот, от меня ждали активных действий. Остался лишь шаг до окончательной победы, но неожиданно открылась дверь.

— Кто там? — спросил я сердито.

— Это я, Маруся. Я думала, что здесь никого нет. Закрывать дверь? Или, может, принести лампочку?

И тут я вспомнил Валю. «Какой я все-таки подлец», — подумал я.

— Можете не закрывать дверь,— я сейчас уйду.

В этот момент я невольно вспомнил рассказ Льва Толстого «Отец Сергей», который читал в «Таганке». Правда, он рубил себе руку, чтобы не совершить греха. Я обошелся без топора. До сих пор не знаю, как назвать свой поступок. Благородным? В отношении Вали, возможно. А в отношении Клавы?

Говорят, что Данте в «Аду» («Божественная комедия») описывал одно довольно интересное

наказание для грешниц. Почтенные дамы сидят в комнате, где они постоянно должны думать лишь о тех любовных встречах, которые они не использовали. Это считалось одной из самых жестоких пыток. Существует ли подобное наказание и для мужчин, об этом Данте умолчал.

Долго еще после моего ухода Клава просила Марусю, чтобы она позвала меня.

— Неудобно,— ответила последняя.

С Клавой я встретился спустя двадцать лет. Она была замужем и уже имела взрослую дочь. Мы работали с ней вместе больше десяти лет. Работник она была замечательный, но губило ее вино. Она стала алкоголичкой.

Повар Великомирский и другие

Питание в Шушерах было такое же однообразное, как и в Ошле: каша из могоара, гороховое или картофельное пюре, жидкие щи. Поддерживал эков в основном хлеб и кое-какие передачи из дома. Перевыполнившие норму получали 700 граммов хлеба, иногда даже и больше, а основная масса должна была довольствоваться 600-граммовой пайкой.

Люди от голода, правда, не умирали, но сытых можно было сосчитать на пальцах. Лишь элита, придурки-нарядчики, бригадиры, мастера цехов, да бесконвойные жили более или менее сносно. Им доставались самые «жирные» куски.

Мое положение было особое, так как в качестве врача я должен был снимать пробы на кухне и поэтому нередко дважды в день завтракал, обедал и ужинал. Один раз на кухне, другой раз в амбулатории.

Большую роль в питании эков играл повар, и главное — его мастерство. Попадались настоящие кудесники-виртуозы, которые одними и теми же продуктами ухитрялись дополнительно прокормить еще десятки человек. И главное — это внешне почти не отражалось на качестве. Конечно, можно было любое кушанье разбавить водой, но не в этом мастерство повара.

Повара в Шушерах звали Евгений Великомирский. Это был низенький, толстый мужчина с бабьим лицом и таким же голосом. Когда он проходил медосмотр, мы с Валентиной Федоровной ахнули. Трудно было установить, что у него преобладало: мужское или женское начало. Во всяком случае мужское

«достоинство» оказалось микроскопическим по размеру. Поскольку повар был женат, вероятнее всего имел место ложный гермафродитизм. Великомирский обладал весьма благообразной внешностью, что ему, однако, не мешало быть неисправимым вором, жуликом и хулиганом. Практически он провел почти всю свою сознательную жизнь в местах заключений и лишь изредка, на короткое время, оказывался на свободе.

Как-то Валентина Федоровна спросила его:

— Евгений, вы, кажется, в основном сидели по 162 статье (воровство)?

— Да.

— Если не секрет, расскажите, как вы воровали? Это, вероятно, не очень просто?

— Как я воровал? — Великомирский хитро улыбнулся.— Я, конечно, не лез в чужие карманы и не занимался квартирными кражами. Мой труд, если так можно выразиться, был, до какой-то степени, интеллектуальный.

— Интеллектуальный? — Мой шеф сделала удивленное лицо,— как это понять?

— Видите ли, для того, чтобы стать обладателем чужого добра, существуют разные способы, в том числе такие, где применяется сила. Это уже будет грабеж. Я лично против применения силы. Я уважаю способы, где ты с помощью своего ума и ловких рук добиваешься цели. Но для этого надо быть немного артистом.

— Артистом, чтобы воровать?

— Да.

— Объясните!

— Хорошо. Мой плацдарм, выражаясь военным языком,— вокзал. Я стараюсь выбрать место около прилично одетой гражданки с солидным багажом. Особенно привлекают меня кожаные чемоданы с ремнями и красивыми замками. Я сам одеваюсь получше в наглаженный приличный костюм с

галстуком. Заранее душусь «Шипром». В руках у меня, конечно, тоже приличный чемодан, правда, пустой. Это для удобства. Сажусь и стараюсь завести беседу. Это не сложно. Минут через десять встаю и говорю, что хочу немного закусить. Прошу даму, чтобы она последила за моим чемоданом. Этим даю знать, что доверяю ей полностью. Возвращаюсь минут через десять-пятнадцать. В одном из трех случаев дама тоже встает, чтобы выпить чашку чая, купить газету или пойти в туалет, конечно, просит меня также последить за багажом. Немного погодя я встаю, беру спокойно один из чемоданов легкомысленной дамочки и покидаю вокзал.

— Неудачи были?

— Конечно, иначе я бы не попал сюда. А вообще осечки были довольно редкими.

— Вы занимались только вокзалами?

— Нет. Иногда посещал рестораны или ездил в купейном вагоне. Но больше всего люблю вокзалы.

Великомирский не был дипломированным поваром, а вором-профессионалом, но в одном из дальних лагерей он познакомился с бывшим шеф-поваром столичного ресторана, который обучил его своему мастерству творить чудеса на кухне при минимальном выборе продуктов.

Работа повара в колонии была очень ответственной. Простые работяги требовали от него, чтобы еда была сытная, придурки рассчитывали получить двойные-тройные порции, да погуще. Если бы он предложил нарядчику ту же баланду, как остальным зэкам — его бы немедленно сняли с работы. Но это еще не все. Постоянно заглядывали и вольнонаемные на кухню в надежде, что их тоже накормят. Если, например, повар получил продукты на 200 человек, то поневоле должен был приготовить блюда человек на 230, иначе он бы не удержался на своем месте.

Повар был такой же зависимый человек, как и все остальные зэки, и, в первую очередь, судьбу его определяли нарядчик и врач.

Великомирский готовил прекрасно и в любое время, когда я навещал кухню, он вытаскивал из «зачки» что-нибудь сверхъестественно вкусное. Подобные «сюрпризы» он готовил и для другого начальства.

Когда его освободили, он просил слезно оставить его в колонии. Он уже не мыслил себе жизни на воле. Его устроили где-то в одной из столовых МВД, но он вскоре умер.

Вместе с Великомирским работала поваром очень славная и скромная женщина Тоня Юричева (Пуговкина), судьба которой была типична для тех жестоких времен. Тоня работала бригадиром, и когда голод особенно мучил людей, выдала всем членам бригады до оприходования по ведру ржи. За это все были осуждены по статье от седьмого августа. Молодая женщина получила десять лет, поскольку она созналась. Тоня была замужем и имела дочь. Мужа взяли на фронт, и он пропал без вести. После окончания войны муж неожиданно вернулся. Оказывается, он был в плену. Муж очень любил свою жену и постоянно навещал ее. Выращивал специально свиней и всегда приносил передачи. Им разрешили свидания, и через год Тоня родила в колонии дочь. Поскольку у нее оказался грудной ребенок, она, согласно указу, должна была освободиться, но ребенок неожиданно скончался. Тоне поэтому пришлось отсидеть свой срок от звонка до звонка.

Небольшого роста, со светлыми волосами, исключительно доброжелательная, она пользовалась большим уважением среди зэков. И лицо у нее было очень приятным и добрым, и лишь частые подергивания говорили о том, что эта славная женщина очень много

перенесла. После освобождения она родила мужу еще дочку и жила с ним исключительно счастливо.

Если, однако, сравнить питание в Ошле и Шушерах с питанием в Пересылке, то там оно было заметно лучше, особенно в стационаре. Любимые мои омлеты из американского яичного порошка и татарские деликатесы — мед со сливочным маслом я не встречал в марийских колониях. А вообще, честно говоря, я особенно не думал о еде. Я был сыт и давно уже привык к однообразной пище.

В отличие от меня большинство зэков ломали себе голову над тем, где и каким способом добыть дополнительный кусок хлеба или лишний черпак баланды или каши.

Каждый, как в Казлаге так и в Ошле, старался иметь какой-нибудь дополнительный источник дохода. Правда, его могли иметь в основном лишь те зэки, которые работали в мастерских. Они делали наборные ручки, ножи и мундштуки из плексигласа, шили без наряда бурки, галифе и френчи вольнонаемным, изготавливали посуду, деревянные ложки и плоски и тому подобное.

Что касается остальных зэков, то они должны были довольствоваться тем, что получали за свой труд на «благо» империи ГУЛАГа.

В Шушерах я не очень вникал в жизнь зэков, так как полностью был поглощен работой, которая дала мне возможность большую часть дня быть вблизи своего шефа. Лишь изредка ходил в клуб, когда там были танцы или показывали кино.

Практически я находился весь день в больнице и лишь после отбоя направлялся в свой барак. Больница занимала в лагере особое место. Она была для зэков словно спасательный круг для утопающих, оазисом в знойной пустыне, берегом для терпящих кораблекрушение, лучом солнца после грозы.

Здесь все напоминало волю: светлые палаты с побеленными стенами, койки, заправленные чистым бельем, тумбочки, покрытые вышитыми салфетками и, конечно, улучшенное питание. Здесь впервые к ним обращались вежливо и с сочувствием, даже вольнонаемные медики.

Когда эков из мрачного барака, освещенного тусклым светом, где воздух сперт от долго не мытых человеческих тел и мокрой одежды, которая сушится около печки, переводят в больницу, то им кажется, что они попали из подземелья в рай. В иной мир, где не слышны команды, ругань конвоиров и лай собак.

Больница была магнитом, который всех притягивал к себе: одних, чтобы вылечиться, других, чтобы отдохнуть или пожить несколько дней в человеческих условиях.

Мы с Валентиной Федоровной не ждали, когда у больных температура поднимется выше 38° или 39°, чтобы госпитализировать их, не допускали, чтобы ослабленные эки превратились в доходяг, а старались заблаговременно оказать необходимую помощь, предупреждая дальнейшее развитие болезни.

В других лагерях, где главной задачей считалась отправка как можно большего количества эков на работу, наше отношение к ним могло рассматриваться как потворство «лодырям», если не саботажем, что могло иметь нежелательные последствия.

Мы же считали, что лучше (и для производства) ослабленному человеку дать несколько дней для отдыха, чем ждать, когда он окончательно заболеет и ляжет на месяц или более в больницу.

Осенью, в слякотную погоду, количество больных заметно увеличивалось за счет простудных заболеваний, тем более, что далеко не все эки были хорошо обуты и одеты. Особенного внимания требовали

дистрофики, которые иначе реагировали на болезни, чем остальные. Правда, их было не много.

Я хорошо помню дистрофиков в Казлаге, у которых воспаление легких протекало при нормальной и даже субнормальной температуре, что подтверждалось (диагноз) и на вскрытиях.

Поэтому при обследовании больных я обращал внимание не только на показания градусника. На этой почве были у меня в прошлом стычки с нарядчиками, которые главным для освобождения от работы (кроме случаев травмы) считали повышенную температуру.

В колонии изредка устраивались вечера самодеятельности, в которых также участвовали вольнонаемные, в том числе и Валентина Федоровна. Ее коронный номер был украинский танец «Гопак». Одета в белую вышитую блузку, с цветными лентами на голове, в фартуке, в короткой синей юбке и высоких сапогах, она выглядела очень нарядной. Она танцевала темпераментно и имела большой успех.

Коварство и любовь

Я был не единственный, кого заворожил своим обаянием эта молодая девушка. Почти с самого момента моего появления в колонии за ней усердно ухаживал сотрудник охраны Саша Красавцев. Вернувшись с войны после ранения, он занимал сначала скромную должность стрелка, но постепенно поднимался все выше и выше по служебной лестнице, был секретарем комсомольской организации, совмещая работу с учебой. (Лет через пятнадцать он стал начальником УИТЛИК МВД МАССР и вышел на пенсию в звании полковника. Занимался он немного и литературным трудом, писал маленькие рассказы и стихи).

Красавцева, пожалуй, можно было назвать интересным мужчиной: стройный, с правильными, далеко не деревенскими чертами лица, с темно-русыми волосами, он мог произвести впечатление на представительниц прекрасного пола.

К тому же, в отличие от других сотрудников колонии, он был начитан, интересовался литературой, политикой и усердно работал над собой. Нередко он удостаивал своим вниманием Валентину Федоровну, старался быть галантным, делал комплименты, пытался шутить, а то и обнять девушку за талию.

Я же должен был стоять рядом и делать при этом равнодушное лицо. Положение моего шефа оказалось еще труднее, так как отталкивать Красавцева она не могла.

Коллектив сотрудников колонии был небольшой, а Шушера представляла собой не что иное, как маленький островок, затерянный в глухих, почти еще девственных лесах. Здесь каждый друг друга знал. В таких маленьких коллективах часто образуются

враждующие между собой группировки, которые отравляют всем существование. Валентина старалась всеми силами избегать всяких столкновений и пыталась быть предельно доброжелательной со всеми. Поэтому она не отталкивала Красавцева, не избегала встреч с ним, беседовала и шутила, но не реагировала на его намеки и ухаживания.

В детстве, когда я еще жил в Берлине, меня воспитывали в духе уважения и преклонения перед женщиной и требовали рыцарского отношения. Я следовал этим принципам, но понял, что в местах заключений это далеко не всегда возможно и оправданно.

Работа в Шушерах меня очень устраивала, и мною были довольны. Вскоре, однако, у меня создалось впечатление, что я приехал сюда не для того, чтобы лечить больных, а отбиваться от представительниц далеко не «слабого и прекрасного» пола.

Их, конечно, можно было понять, и не потому, что они видели во мне Аполлона. В послевоенное время питание улучшилось, у эков прибавилось сил, и с ними одновременно появилось желание истратить их не только на лесоповале или в мастерских, а также в объятиях близкого человека.

В Шушерах, к сожалению, было много престарелых и инвалидов и мало крепких и здоровых мужчин. Вполне естественно, что многие женщины видели во мне вполне подходящий объект для «легкого флирта».

В стационаре со мной работала тридцатилетняя женщина Манефа, которая выполняла одновременно роль санитарки и медсестры. Это была довольно изношенная женщина с большими висячими грудями, дряблым большим животом и тонкими паучьими ногами. Ассиметричное лицо с выступающими скулами и узкими глазами имело монголоидные черты, а нос картошкой и толстые губы делали ее совсем непривлекательной.

Манефа относилась ко мне весьма предупредительно, даже угодливо и подобострастно и была готова выполнить любое приказание. Одновременно она пыталась кокетничать, строила глазки и улыбалась многозначительно и заговорщически.

Когда я оставался один в амбулатории, Манефа старалась завлечь меня своими чарами, жалуясь при этом на боли в области сердца или низа живота. Мне приходилось тогда заслушивать ее или пальпировать дряблый, как тесто, живот. Намекая на свое одиночество и на то, что здоровому мужчине необходима женщина, она довольно откровенно предлагала себя.

В таких случаях я всегда ограничивался добросовестным медицинским осмотром, давал «ученые» советы и быстрее покидал амбулаторию.

Есть поговорка: нет злейшего врага, чем обиженный друг. Правда, Манефа никогда не была моим другом, но хотела им быть и даже считала себя моим другом, поскольку у нее имелись определенные намерения.

Видя мое равнодушие, она решила отомстить и распространяла слух, что живет со мной и к тому же уже беременна. Ей, однако, никто не поверил. Тогда она придумала другой вариант мести.

Однажды вечером после приема я сидел с Марусей в амбулатории и занимался отчетами. Сестра-хозяйка была для меня своеобразной связной, благодаря которой я в любое время мог встречаться со своим шефом. Она же являлась также и «почтальоном», через которого мы обменивались короткими письмами.

Мне далеко не всегда было удобно спрашивать сотрудников больницы, где находится Валентина Федоровна или самому заниматься ее розысками, что могло вызвать подозрение. Мы должны были соблюдать строгую конспирацию. В таких случаях Маруся

подсказывала нам, где лучше встретиться, и заботилась одновременно о нашей безопасности. Правда, мы себе ничего особенного не позволяли, но достаточно было увидеть нас обнявшимися, чтобы круто исковеркались наши судьбы.

Маруся тоже не была одинокой и встречалась с электромехаником Виктором Архиповым, мужчиной года на два моложе ее, высоким и молчаливым. Когда она назначала ему свидания в амбулатории, мы менялись ролями, и тогда я стоял «на стреме».

Мы только что закончили последнюю писанину, отчет о поступивших и выбывших больных, как тихо скрипнула дверь и показалось скуластое лицо Манефы.

— Чего тебе надо? — спросил я.

— Ничего,— ответила она и почему-то бегом выскочила из амбулатории, словно за ней гнались черти.

На следующее утро я заметил перемену в поведении Валентины Федоровны. Лицо ее было строгим и больше напоминало застывшую маску. Никогда я не видел ее такой мрачной. Она разговаривала со мной на редкость сухо, официальным тоном, словно я был чужой, и старалась не смотреть на меня.

— Что с тобой? — спросил я.

— Все кончено между нами,— ответила девушка, и в ее глазах блеснули слезы.

— Почему? Объясни. Ничего не понимаю.

Только после долгих уговоров она рассказала мне обо всем. Оказывается, вечером приходила к ней Манефа и доложила, что она, зайдя в амбулаторию, увидела меня, лежащим на Марусе. По ее словам, я сразу вскочил и даже не успел застегнуть брюки.

Я обомлел. Такой наглости я не ожидал.

— И неужели ты поверила этому? — удивился я.

— Не хотелось бы верить, но с другой стороны,— как можно такое придумать и ради чего?

— Ради чего? На этот вопрос мне не сложно ответить. Я отверг ее.

— Как это понимать?

— Очень просто. Она хотела быть моей любовницей, но я вежливо отказался от ее услуг, точнее игнорировал ее.

— Это правда?

— Да.

— Я верю тебе, прости, Генри.— Она погладила мне руку,— не думала, что люди способны на такую подлость.

Я вызвал Марусю и коротко рассказал ей о том, что слышал от Валентины Федоровны.

Она возмутилась.

— Неужели она так сказала? Этого не может быть. Она же прекрасно видела, что мы составляли отчеты.

— Не верите, тогда сходите за ней.

— Хорошо.

Когда Манефа явилась, Маруся спросила ее:

— Скажи честно, ты что говорила Валентине Федоровне?

— Сама знаешь.

— Но это же ложь. Ты же видела, что я сидела с доктором за столом и писала.

— Что видела, то и рассказала. Могу повторить.

— Повтори.

— Он же лежал на тебе,— Манефа показала рукой на меня. У нее было удивительно спокойное лицо, и не моргнув глазом, она окинула нас презрительным взглядом.

— Бессовестная,— это все, что могла ответить Маруся.

Да, к таким женщинам никак нельзя относиться по-рыцарски.

Женские бараки находились в стороне и были отделены от общей зоны забором. Днем женщины двигались свободно по всей территории колонии, но после отбоя должны были находиться в своем «гетто», а дверь, ведущая к нему, закрывалась дежурным.

Ночной вызов

Однажды ночью я был разбужен дежурным.

— Пойдем, доктор,— сказал он простуженным голосом и схватил меня за плечо,— в женском бараке девка заболела и кричит. Никому спать не дает.

В женском бараке горела маленькая коптилка, которая едва освещала помещение. Воздух был тяжелый, и я невольно вспомнил казлагские бараки. Тот же запах долго не мытых тел, запах пота, мокрой одежды и менструальной крови.

Дежурный взял коптилку и остановился около молодой девушки лет 18—19, которая лежала, закутавшись в дырявое одеяло и стонала. Я сел на край нар.

— Что болит? — спросил я.

— Живот.

— Давно?

— Уже часа три.

— Сильно?

— Да, очень сильно.

Проводить осмотр в этой темноте было бесполезно.

— Надо ее отправить в больницу. Здесь делать нечего,— сказал я дежурному.

— Как хотите.— Он наклонился к девушке,— давай одевайся, пойдешь в санчасть.

В приемной было темно. Ощупью нашел керосиновую лампу и зажег ее. Я взял девушку под руки и посадил ее на кушетку.

— А вы можете пока уйти,— обратился я к дежурному.

— Девушка останется здесь?

— Да. Во всяком случае до утра.

Только сейчас я разглядел пациентку. Лицо у нее было простое, но очень приятное, которое сразу располагало к себе: щеки цвета спелых яблок, аккуратный маленький носик, пухлые детские губки и большие, грустные и доверчивые серые глаза. Каштановые волосы были расчесаны назад, и завязаны лентой.

— Значит, у тебя болит живот?

— Да.

— И больше ничего не беспокоит?

— А что должно беспокоить? — девушка меня, видимо, не поняла.

— Ну мало ли что. Может быть, тошнит или, может быть, была рвота? Голова не болит? Не лихорадит?

— Нет.

— И поноса нет?

Девушка смутилась и отрицательно покачала головой.

— А кровотечение?

— Болит только живот.

— Хорошо. Еще вопрос: что ты ела сегодня?

— Как все: хлеб, пшенку и баланду.

— Покажи свой язык!

Язык оказался влажным и розовым.

— А сейчас придется тебя посмотреть. Раздевайся!

Девушка послушно разделась вплоть до нижнего белья и легла на кушетку. Я уже обратил внимание на то, что она сразу перестала стонать, как только удалился дежурный, и поэтому не удивился, когда ничего у нее не нашел. Живот оказался мягким и безболезненным при пальпации, сердце и легкие были в норме.

— Все у тебя хорошо,— сказал я,— можешь одеваться.

— Неужели? — девушка не спешила встать, видимо, давая мне возможность подольше полюбоваться своими

соблазнительными формами. Было на что смотреть. Моя пациентка была небольшого роста, но крепко сбита, с плотными круглыми грудями, округлыми плечами и упругим животом.

— Тебя как зовут? — спросил я.

— Таня.

— Очень хорошее имя. Давай, Таня, будем говорить с тобой откровенно. Я на тебя не обижаюсь и не собираюсь кому-нибудь докладывать о том, что у тебя болит, или, наоборот, что у тебя не болит. Будем считать, что у тебя действительно сильно болит живот, и я тебе, конечно, дам лекарство и освобожу на завтра от работы. Диагноз ставлю — пищевое отравление. Вот посмотри,— я снова пальпировал живот,— нигде не болит.

— Да, сейчас не болит.

— Признайся честно, зачем вызвала дежурного? Чтобы получить освобождение от работы?

Я хотел отнять руку от живота, но она прижала ее своей.

— Простите меня, доктор, не ругайте. Я очень хотела вас видеть.

— А днем для этого не было времени? Могла прийти и на прием.

— Днем где я вас увижу? Я же работаю за зоной. А на приеме всегда чужие люди.

— Они что, помешали бы?

— Конечно.

— Ты хотела со мной поговорить? О чем?

— Нет. Просто хотела посмотреть на вас.— Она сделала короткую паузу и продолжала, слегка смущаясь,— и чтобы вы были немного рядом со мной. Я засмеялся.

— Значит, добились своего?

Она кивнула.

— А сейчас одевайся.

— Вы меня сейчас пошлете в барак? — спросила она испуганно и начала неохотно одеваться.

— Зачем? До утра будешь спать здесь, на кушетке. У тебя же сильно болит живот?

Таня заулыбалась.

— Только посидите со мной немного.

Я принес девушке подушку и одеяло, а затем сел рядом.

— За что сидишь? — поинтересовался я.

— За свинину.

— За свинину? Как это понимать?

— Я работала в колхозе. А нам тогда ничего не давали. Работали только за «палочки». Очень хотелось есть. А семья большая и даже картошки не хватало на всех. А рядом с нами жила спекулянтка, которая у всех покупала шмотки почти даром: за кусок хлеба или картошку. И вот, когда она однажды зарезала свинью, я стащила немного мяса.

Я погладил Таню по голове и поцеловал в щеку. Мне ее было безумно жаль. Девушка доверчиво прижалась ко мне, и, видимо, ждала иных ласк, но я думал о Вале.

— Спокойной ночи,— сказал я и отправился в амбулаторию.

— Спокойной ночи,— ответила Таня, и в ее голосе прозвучала грусть.

Рауф

Далеко не каждое воскресенье было нерабочим днем, и дни отдыха все ээки ждали всегда с особым нетерпением. Женщины занимались тогда стиркой белья и починкой одежды, а после обеда обычно гуляли по зоне, стараясь одеться получше. Мужчины чаще всего бездельничали, покуривали, слонялись между бараками и ходили к женщинам.

В зоне имелись цветочные клумбы, за которыми ухаживал цветовод, поляк Синявский, осужденный по 58-й статье. Начальник колонии Ремизов следил за порядком, любил чистоту и старался при возможности несколько оживить унылый вид колонии.

Было уже лето, солнце грело заметно, и появились первые комары. Пожалуй, только в выходные дни я гулял подольше по зоне, так как в такие дни Валентина Федоровна обыкновенно не показывалась.

Однажды молодые ребята решили устроить состязание по борьбе. В основном это были татары из Параньгинского района, которые работали землекопами или пильщиками. Иногда вместо физзарядки я ходил к пильщикам и заменял минут на тридцать нижнего рабочего. Ритмичная работа (пилили бревна на доски), при которой приходилось, напрягая мышцы, поднимать и опускать продольную пилу, вызывала во мне определенный спортивный интерес.

Среди пильщиков выделялся черноволосый татарин Рауф, небольшого роста, коренастый, который всегда с молодежатым видом, гордо выпячивая грудь, шествовал по зоне. Он считался хорошим борцом, неоднократно завоевывал призы во время сабантуя и был, видимо, высокого мнения о себе.

Сил у меня было достаточно, больше чем у других, и я поэтому решил из простого любопытства принять участие в этом состязании, хотя понятия не имел о татарской борьбе.

Рауф уже расправился с несколькими противниками, когда я вступил в круг. Как положено, я схватил его за пояс, но не знал, что делать дальше. Пытался тянуть его к себе, но он сопротивлялся. Он делал то же самое, что и я, но также безрезультатно. Так мы и стояли минуты три-четыре, толкая друг друга. Неожиданно Рауф сделал подсечку, ударил своей ногой по моей, я потерял равновесие и оказался на земле. В этой борьбе далеко не главное сила...

Не знаю почему, но к Рауфу у меня с самого начала имелась необъяснимая антипатия и не только потому, что он меня победил в борьбе. В нем было что-то вызывающее, стремление быть выше других.

И на меня он тоже смотрел с пренебрежением, словно хотел сказать: а мне наплевать на то, что ты врач.

Дней через пять-шесть после этих состязаний в столовой показывали кино. После просмотра фильма я направился к выходу и неожиданно почувствовал, что кто-то схватил мою руку. Я услышал тихий женский голос: «Приходи ко мне».

Я повернулся удивленно и увидел молодую светловолосую девушку, которую смутно помнил по амбулаторному приему. Кажется, за ней ухаживал Рауф.

В тот же момент я получил сильнейший удар кулаком по нижней челюсти. Боли не почувствовал, но на несколько секунд стало темно в глазах. У боксеров такое состояние называется «гrogги». Я находился в нокдауне.

Все то, что сейчас происходило, было мне совершенно непонятно, тем более, что девушку эту я практически не знал.

Удар нанес Рауф. Я увидел его черные, злые глаза. Он, кажется, был готов убить меня. Очень хотелось броситься на него и свалить его одним из своих излюбленных борцовских приемов. Это не составило бы большого труда. Несмотря ни на что — физически я был сильнее его.

Я, однако, сдержался, так как понял, что это могло вызвать нежелательный резонанс — врач и дерется из-за девчонки.

Главное, как назло, в этот день приехала на проверку начальник унитарного отдела ОИТК МВД МАССР Слипченко.

— Дурак! — сказал я спокойно Рауфу, повернулся и пошел в свой барак.

На следующий день все уже знали об этом случае, в том числе и Слипченко — высокая, худощавая женщина средних лет с грубым, мужским голосом и внешностью, в которой полностью отсутствовала женственность.

К моему удивлению, она осудила мое поведение.

— А я, доктор, на вашем месте дала бы сдачу.

— Вам легко говорить. Я бы также с превеликим удовольствием ответил бы ударом на удар, но откуда я мог знать, как будут реагировать на такую драку. Этап меня не прельщает.— И мысленно прибавил: очень не хотелось подвести Валентину Федоровну.

Вскоре Рауф был отправлен в дальний этап, и мне кажется, не без участия моего шефа. Вероятнее всего, она боялась, что мой конфликт с Рауфом может иметь продолжение.

Я видел его в тот день, когда он с мешком на плече вместе с другими зэками стоял около вахты и должен был прощаться с Шушерами. На этот раз у Рауфа был далеко не гордый вид, грудь он уже не выпячивал и имел вид побитой собаки. В глазах его блестели слезы.

Это был уже другой человек, готовый униженно встать на колени, если бы его оставили в колонии.

Здесь он имел поддержку из дома, регулярно получал передачи, питался хорошо и имел любовницу. Там, в лагерях на Урале или еще дальше, все могло быть иначе — он это знал и боялся.

Я его не жалел. Мне понятна ревность, но я ненавижу, когда в таких случаях спор пытаются решать кулаками, тем более, что у Рауфа не было для этого никаких оснований.

Слипченко вскоре уехала, весьма довольная медицинской службой в колонии, в том числе и моей работой. Меня это радовало.

Минуты слабости

Дружба с Вале́й крепла с каждым днем, и мы старались как можно чаще быть наедине, что было не всегда просто, так как за нами следило много глаз. В местах заключений почти все придурки имели своих лагерных жен, и многим казалось подозрительным, что я еще ни с кем не связан. Многие, однако, были уверены в том, что это не так, и пытались удовлетворить свое любопытство, устраивая за мной постоянную слежку.

Среди тех, кто особенно назойливо следил за каждым моим шагом, была и Манефа. Она рассуждала приблизительно так: если меня отвергли, значит у него (то есть у меня) есть другая. Вопрос лишь — кто она? Вполне естественно, что и Валя обратила на это внимание. Я заметил, что у нее появился страх и боязнь разоблачения. Она находилась в постоянной тревоге, и любой стук заставлял ее вздрагивать.

Кончилось тем, что девушка под разными предлогами начала меня сторониться. Но избегать совсем было довольно сложно, поскольку мы вместе работали, и однажды ей все-таки пришлось объяснить свое поведение.

— Генри,— сказала она, несколько смущенно поправляя волосы,— я тебя очень люблю, но пойми — мы не пара. И не только потому, что ты заключенный, а я вольнонаемная. Ты совсем из другого мира, чем я. Что ты нашел во мне? Я самая обыкновенная русская девушка, каких много.

— Именно поэтому я тебя и люблю,— прервал я ее.

— Это тебе только кажется. Здесь нам жить не дадут. Ты меня тоже должен понять. Я чувствую, что кое-кто уже догадывается о наших отношениях. Мне тоже очень тяжело, но надо быть разумными.

— А что ты предлагаешь?

— Не надо искать встреч со мной. Прости меня, но я должна сейчас уйти.

Я хотел задержать ее и обнять, но она быстро покинула свой кабинет.

Для меня было ясно одно: страх у Вали оказался сильнее любви. А может быть она пришла к выводу, что не имеет смысла надеяться на меня? До конца моего срока все-таки оставалось еще больше двух лет.

Мне стало невыразимо тяжело, и я испытал почти физическую боль. Совсем недавно, всего несколько месяцев тому назад, я был еще официально женат и видел во всех девушках, которых я встречал, чаще всего лишь очередное увлечение. Отношение к Вале носило совершенно иной характер, и сейчас, когда я был свободен, то искренне мечтал навсегда связать свою судьбу с ней.

Когда человек испытывает боль, он кусает губы, стараясь одну боль заглушить другой. Я решил душевную боль заглушить физической, вспоминая снова рассказ Л. Толстого «Отец Сергей». Недолго думая, снял рубашку, взял острый скальпель и полоснул себя несколько раз по груди. От довольно глубоких ран широкими струйками потекла кровь. Я сразу схватил кусок марли и прижал к груди. В этот момент в комнату вошла Маруся.

— Что с вами? — спросила она испуганно.

— Закройте дверь, пожалуйста,— ответил я,— и, если не трудно, сделайте мне перевязку.

Когда она увидела раны, она ужаснулась.

— Зачем вы это сделали?

Я был с Марусей в очень хороших отношениях и всегда делился с ней, когда дело касалось Вали. Она нередко играла роль посредницы между нами, помогала мне довольно часто, особенно когда я искал

встречи с моим шефом. Я рассказал ей о своем последнем разговоре с Валею.

— Напрасно вы так поступили,— упрекала она меня, перевязывая раны.— Не стоило обращать внимание на то, что она сказала. Она вас любит.

Какая же это любовь, когда от нее отказываются?

У каждого бывают минуты слабости. Не забудьте, что Валя, встречаясь с вами, всегда рисковала. Вы должны это понимать. Я уверена, что все останется по-старому. Увидите — никуда она не уйдет от вас. А может быть, она просто хотела проверить ваши чувства.

— Не очень оригинальный способ.

— Так же, как и ваш,— парировала Маруся, улыбаясь.— Придется о вашем поступке доложить Валентине Федоровне. Минут через двадцать в комнату ворвалась Валя.

— Ты что наделал? — Глаза у нее были испуганные. — Неужели надо было так поступать? — Она обняла меня и начала целовать.— Прости меня, милый, я очень нехорошая девушка.

Примирение было полное.

Я мечтал о том, чтобы Валя стала моей женой, и мы на эту тему часто беседовали. Девушка колебалась, не знала, как ответить на этот вопрос, но слово «нет» она не произносила. Я ее прекрасно понимал. До конца моего срока оставалось больше двух лет, а это большой срок. За это время многое могло измениться.

— Что гадать сейчас об этом,— говорила она,— будем терпеливы. Мало ли что будет еще впереди.

Валя очень любила Есенина, которого я почти не знал, и часто писала мне строки из его поэм.

— Не жалею, не зову, не плачу.

Все пройдет, как с белых яблонь - дым.

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым.

Ты не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком.

Валя меня уже не избегала и сама искала встреч. Нередко в таких случаях Маруся охраняла нас, чтобы наши отношения оставались тайной для других. К тому времени мы уже научились лучше скрывать свои чувства и достигли в этом больших успехов. Даже у меня выявились кое-какие артистические способности, и я уже не без удовольствия строил равнодушное лицо и говорил подчеркнуто официальным тоном с Валентиной Федоровной, когда мы были не одни. И действительно, никто не подозревал о нашей дружбе. Мы не давали своим чувствам полную волю и берегли главное для будущего, хотя это было далеко не просто и требовало иногда больших усилий с обеих сторон.

Когда Валя, после бани вся розовая, в одном тонком легком платье прибежала ко мне, искушение было превеликим, и очень не хотелось ограничиваться лишь созерцанием тех прелестей, которые весьма отчетливо вырисовывались, но я не стремился форсировать события. Кроме того, я не знал, как она на это будет реагировать и не хотел быть в ее глазах обычным похотливым мужчиной.

Можно и без усердной работы рук получить истинное наслаждение. Даже один взгляд, одна улыбка и один нежный поцелуй могут иногда дать больше, чем обычная интимная связь. Можно не любя лечь в постель с женщиной, но неприятно целовать ее без любви.

Снова о Манефе, плохие новости

Манефа следила по-прежнему за мной, а также за Марусей, к которой относилась крайне враждебно. Это была своеобразная зависть, и объяснялась она тем, что Валентина Федоровна весьма холодно относилась к Манефе, а Марусю считала чуть ли не своим доверенным лицом. Можно было просто отделаться от этой санитарки, которая, видимо, имела своего покровителя, возможно даже в лице самого «опера», иначе она не вела бы себя так вызывающе. Лучше всего в таких случаях было бы включить ее в первый подходящий этап. Так обычно действуют в лагерях, чтобы избавиться от нежелательных элементов. Правда, и здесь требовалась определенная осторожность. Обычно этапы формируются за несколько дней до отправки, и зэки знают об этом, потому что в это время проводится медосмотр, санобработка и тому подобное.

Далеко не все зэки мечтали покинуть насиженные места, и если они подозревали, что их отправляют в этап, чтобы свести счеты, нередко успевали отомстить. Для этого требовались лишь клочок бумаги, карандаш и немного фантазии. Опера были рады получить любой донос, даже самый абсурдный, так как все остальное было делом техники. В итоге доносчик нередко вычеркивался из списка этапников, так как он требовался в качестве свидетеля.

Поэтому такие лица включались в списки этапников буквально в последние минуты перед отправкой, чтобы они не могли напасть.

Я не собирался мстить Манефе. У меня были свои взгляды. Я придерживался того, что сказано в Евангелии: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такую и вас будут мерить».

Правда, Маруся имела короткий разговор с Манефой, в котором она намекала, что имеет очень хорошие отношения с нарядчиком.

— Ну и что дальше? — спросила с вызовом Манефа, — я этапа не боюсь. Меня никуда не пошлют. Через пять месяцев меня освободят.

— А тебя никто и не собирается посылать в этап,— парировала Маруся,— просто советую тебе прекратить слежку за мной и доктором, если не хочешь, чтобы урки помяли тебе бока.

Эта угроза подействовала на Манефу. Она прекрасно знала, что урки находятся в полной зависимости от санчасти и готовы сделать все, чтобы не портить с ней отношения. А что уголовники способны безжалостно избить любого, было всем хорошо известно.

Позади остались весна и лето, кончилась осень. Кажется, ничто не предвещало беды, но она явилась. В один из октябрьских дней Валя пришла очень грустная в свой кабинет.

— В чем дело? — спросил я.

— Плохие новости. Поступило распоряжение направить тебя в Кузьмине, в первую колонию. На замену.

— На замену? Почему?

— Этого я не знаю. По-моему, там кто-то из медработников проштрафился или не справился с работой. Там, кажется, вместо врача работает фельдшер или медсестра.

— И когда меня хотят отправить туда?

— В конце месяца, вероятно, дня через три-четыре.

Такого удара я не ожидал. Кажется, я только что был почти счастлив, если вообще можно быть счастливым в местах заключения, и вдруг все рухнуло. Воздушный замок, который я себе построил, лопнул, как мыльный пузырь.

— Не везет нам, Валюша,— это все, что я мог сказать.

— Да, Генри, судьба против нас. Я обнял ее.

— Что же мы будем делать?

— А что остается,— девушка погладила мое лицо,— только ждать.

— А ты меня будешь ждать?

— Конечно. Я же тебя люблю.

Оставшиеся дни мы строили планы, и одним из сложных вопросов было осуществление связи. На ее имя я не мог писать, потому что все письма проверялись. Она также не имела права писать от своего имени. Было решено, что писать будем под чужими, женскими именами.

— Сам знаешь, Генри, очень часто писать будет невозможно. Мне самой писать нельзя, могут узнать мой почерк. Поэтому придется действовать Марусе или моей хозяйке. Она очень хороший и порядочный человек. Подписываться буду вымышленным именем. Ты должен меня понять.

Мы даже обсудили возможность поездки Вали к моей матери во время отпуска, чтобы рассказать о наших намерениях.

Последние дни перед отъездом были для нас самыми тяжелыми. С великим трудом я осматривал больных, записывал истории болезни и эпикризы, проводил амбулаторный прием. Все остальное время мы старались быть наедине.

Прощание

И вот настал день прощания. Я сбегал в мастерскую, чтобы попрощаться с Ксаной и Ниной, а затем направился в санчасть. Валя, как всегда немного пугливо озиралась по сторонам, боясь, что кто-то может войти в помещение, но я успокоил ее:

— Маруся караулит. Я попросил ее постоять около двери. Она предупредит нас в случае опасности.

Когда прощаются, да еще надолго, чаще всего не знают, о чем говорить. Слишком много у нас было невыясненных вопросов, а времени, чтобы обсудить их, не хватало. И тогда в минуты прощания до боли думаешь, что же все-таки самое главное о чем следовало бы говорить.

Но на этот раз я знал главный вопрос, который меня волновал и, вероятно, волновал и Валю.

— Мы будем всегда вместе, не так ли? — я притянул ее к себе. Она не сопротивлялась, и я чувствовал, как сильно билось ее сердце.

— Зачем ты меня спрашиваешь? Ты же знаешь, что я люблю только тебя.— Девушка посмотрела на меня печальными глазами, в которых блеснули слезы.

— Быстрее! — это был голос Маруси, которая слегка приоткрыла дверь,— идут! Я прижал Валю к себе и крепко поцеловал в губы.

— Не забудь меня,— были ее последние слова.

— Никогда не забуду.

На вахте бегло осмотрели мои вещи, и в сопровождении конвоира я направился в сторону реки. Осень оказалась довольно холодной, и кое-где лужицы были покрыты тонким слоем прозрачного льда. Землю покрывали разноцветные опавшие листья.

У берега Большой Кокшаги стояла весельная лодка и около нее полногрудая, крепко сложенная светловолосая девушка в телогрейке, темно-синей короткой юбке и подшитых валенках. Она должна была отвезти нас до Старожильска, где находился подучасток второй колонии. Девушку я хорошо знал по амбулаторному приему. Она носила довольно редкое имя Аграфена. Мы ее обычно звали Феней.

Я очень люблю грести и хотел сесть за весла, но девушка запротестовала.

— Ой, не надо, доктор Генри, я сама.

Конвоир — уже немолодой деревенский мужик пенсионного возраста, расположился поудобнее на корме и вынул в первую очередь из кармана вышитый кисет. Свернул себе козью ножку и закурил.

Мы отчалили от берега, и девушка начала грести. По внешнему виду нельзя было сказать, что она заключенная. Краснощекая, с сильными руками и не менее крепкими ногами, она напоминала обычную, здоровую деревенскую девушку.

Берега Большой Кокшаги очень живописные, особенно в этих местах, где река с обеих сторон зажата дубравами. Постоянно встречались перекааты и отмели, заросшие старицы и тихие заводи, которые меня не могли оставить равнодушным. Места, созданные для рыболовов и охотников.

Конвоир молчал и курил свою козью ножку. Видимо, был занят своими мыслями, далекими от службы.

Феня гребла не спеша, осторожно опуская весла в воду, чтобы не брызгать, и бросала то и дело кокетливый взгляд в мою сторону.

Пожалуй, нигде не выражают свои мысли и желания так недвусмысленно, как в местах заключений. Здесь нет времени для жеманства и недотроги — редкость.

Обстановка требует быстрых решений: или да, или нет.

Игра глаз — древнейший способ высказывать свои тайные мысли без слов, и мне не трудно было разгадать желания молодой девушки.

При других обстоятельствах я бы принял участие в этой игре глаз, но мои мысли были целиком заняты Валею. Я всерьез задумал жениться на ней после своего освобождения. Расставание далось мне очень нелегко, и я остро переживал разлуку.

Пока я думал о своей дальнейшей судьбе, лодка пристала к берегу. Я увидел песчаную отмель и немного подальше высокий деревянный забор с вышками и колючей проволокой, за которым скрывались серые низкие бараки. Мы прибыли в Старожильск. Дежурный бегло пролистал мое личное дело и велел идти в санчасть.

В приемной меня встретила смазливая, аккуратно одетая вольнонаемная медсестра Женя Горинова. Под безрукавкой, сшитой из телогрейки, был надет белый халат. Темные, коротко стриженные волосы покрывала цветастая косынка, ноги были обуты в щегольские белые бурки.

Девушка, по-видимому, имела хороший контакт с заведующими производств, которые снабжали ее (конечно, не только из-за красивых глаз) этой характерной для лагерных придурков зимней одеждой.

Она сразу засуетилась, не знала, какой мне стул подать, спросила, не хочу ли я кушать, а затем взяла мои вещи и отнесла в процедурную.

— Я вас там устрою,— объяснила она.

Минут через десять санитарка принесла тарелку супа, кашу, кусочек хлеба, эмалированную кружку с чаем и расписную деревянную ложку.

Я уже проголодался и без лишних слов быстро расправился с едой.

Амбулатория была скромно обставлена: стол, кушетка, несколько табуреток и аптечный шкафчик. В

процедурной, кроме того, стояло еще самодельное деревянное гинекологическое кресло.

— Не могли бы вы проконсультировать нескольких больных? — медсестра с надеждой посмотрела на меня.

— Конечно.

На этот раз пациенты оказались несколько иными, чем раньше — молодые матери с грудными детьми.

Странными и непривычными показались мне маленькие дети в колонии для заключенных. У некоторых из них был понос, у других эксудативный диатез, многие страдали потницей, а в общем дети выглядели вполне удовлетворительными. Видимо, и здесь следили Ремизов и Валентина Федоровна за порядком.

Вечером санитарка принесла мне матрац, простыню, подушку и байковое одеяло и устроила меня в процедурном кабинете, рядом с гинекологическим креслом.

Перед сном я мысленно обрисовал себе, что меня могло ожидать. О первой колонии я знал лишь то, что основная работа там — лесоповал, и немного побаивался. А вдруг меня снова сначала пошлют на «общие»?

На следующее утро Ирина, так звали заключенную медсестру, сообщила мне, что после обеда будет машина, на которой меня отправят в Козьмодемьянск.

Делать было нечего, и я начал писать письмо матери в Темир-Тау. Когда закончил первую страницу, дверь в приемную неожиданно открылась, и на пороге я увидел Ваю.

Велика была моя радость, и я готов был задушить ее в объятиях и расцеловать при всех, но сдержался, поскольку в кабинете сидела медсестра.

Валя сделала, как всегда в подобных случаях, очень серьезное лицо и обратилась ко мне официальным тоном:

— Ну как, доктор, хорошо добрались до Старожильска? Проконсультировали больных?

— Да, хорошо. Поездка по реке была интересная. Природа здесь очень живописная. Слишком красива для колоний. А что касается больных — я их осмотрел.

— Ну, а у вас как дела,— обратилась она к Ирине,— нет ли инфицированных больных? Нет ли завшивленных? Как детишки?

— Пока все хорошо. Конечно, больные всегда есть, но тяжелых пока нет. У некоторых заключенных бывают вши, но в основном головные.

Я ждал с нетерпением конца этого разговора и главное — хотелось, чтобы Ирина исчезла.

Видимо, и Валя задумалась над проблемой, как избавиться от медсестры. После небольшой паузы, сделав еще более серьезное лицо, она предложила девушке проверить санитарное состояние зоны, после чего она сама пойдет осматривать объекты.

— Скоро должна приехать комиссия, вот поэтому я и приехала сюда,— объяснила она.

Когда за Ириной закрылась дверь, я бросился к Вале и обнял ее.

— Подожди, милый,— предупредила она,— могут зайти сюда. Пойдем лучше в процедурную. Оттуда нет двери в коридор.

Из процедурной вела лишь одна дверь — в приемную, и там было безопаснее. Я снова обнял девушку, но она меня слегка отстранила.

— Генри, у меня к тебе просьба. Послушай меня, пожалуйста. Иногда ощущаю легкую боль в области сердца.

— Конечно, Валюша.

Чего я мог больше желать, чем это — увидеть ее обнаженной, правда, не совсем.

Валя быстро скинула кофточку, а затем и бюстгальтер. Когда я увидел ее высокую и белую грудь,

у меня даже слегка закружилась голова. Что может быть красивее на свете, чем молодая женская грудь. У Вали она оказалась крупной, но была упругой и не висела.

Кто-то сказал, что природа создала два чуда: женщину и лошадь. Что касается лошадей, я в них не очень разбираюсь, но то, что женщина (молодая) — чудо, с этим я согласен. В этом я снова мог убедиться, когда взглянул на Валу.

С трудом я взял себя в руки, чтобы добросовестно выслушать сердце и легкие.

Сердце работало, как слаженный механизм, звуки были чистые, дыхание везикулярное.

Я подозревал, что Валя не без умысла решила показать мне свои прелести, которыми можно было гордиться, и поэтому применила эту маленькую хитрость. Жаль, что не было времени для долгих созерцаний... На прощание она подарила мне маленькую фотографию, на обратной стороне которой было написано: «Люблю только тебя».

После обеда к вахте подъехал грузовик, и вместе с конвоиром я сел в кузов. Валя провожала меня, попыталась сделать суровое лицо, но едва не заплакала.

— Я буду тебя ждать,— сказала она тихо и крепко сжала мне руку. От Старожильска до Козьмодемьянска километров 65—70, которые мы преодолели лишь часа через три-четыре. Дорога была отвратительная, и машина то и дело буксовала. Приходилось вылезать из кузова, класть под колеса бревна и ветки, работать лопатой и толкать грузовик. Хорошо, что в кузове кроме меня и конвоира были еще несколько женщин — вольнонаемных из колонии, иначе пришлось бы ночевать где-нибудь на дороге в ожидании трактора или мощного грузовика, который помог бы нашей беде.

Холод дал о себе знать, и женщины, чтобы согреться, прижались ко мне без всякого стеснения, что меня особенно не смущало. Они были молодые и, видимо, не без удовольствия дали себя обнять. На дно кузова было положено сено и имелись одеяла, которыми мы покрывались.

На Волге нас встретил пронизывающий, ледяной ветер. Все-таки было уже начало ноября, и у берегов реки кое-где уже виднелись небольшие закраины.

Конвоир приказал мне вылезти из кузова и сказал:

— Сейчас переправимся на другую сторону, а дальше пойдём пешком.

Вскоре причалил паром, конвоир пропустил меня вперед и дальше шел за мной как тень. На пароме было много людей, и он, видимо, боялся, что я могу исчезнуть. Правда, с чемоданом и вещевым мешком в руках далеко не убежишь.

От Козьмодемьянской пристани шла очень узкая и крутая лестница вверх, в сторону тюрьмы. Грязь была непролазная, особенно у берега, где вязли лошади с телегами и автомашины.

Немного подальше женщины полоскали белье в ледяной воде... Тюрьма оказалась низким, серым и мрачным зданием, больше напоминающим средневековое узилище. Приняли меня здесь не очень ласково. Видимо, моя статья (социально вредный элемент), которую часто давали неисправимым уголовникам, внушила им подозрение, что я отъявленный блатной.

— Раздевайся! — прозвучала очень привычная для меня команда. Начался шмон. Когда я снял рубашку, то вертухаи сразу увидели свежие, еще розовые рубцы на груди, которые остались после того, как я себя ранил в Шушерах.

— Посмотри, как он расписался,— воскликнул один из надзирателей, который меня сейчас безусловно

принял за рецидивиста. Обыск шел поэтому с пристрастием. Выворачивали карманы, прощупывали всю одежду, смотрели мне в рот, заставляли сделать приседания и, конечно, нашли фотокарточку, которую мне подарила Валя.

— Пожалуйста, оставьте мне фото,— умолял я надзирателей.

— Еще чего захотел,— прозвучало в ответ.

Я очень боялся, что кто-нибудь из сотрудников тюрьмы знает Валю — это могло для нее иметь очень серьезные последствия, вплоть до снятия с работы и суда. Связь с заключенным не поощрялась.

Камера, в которую меня поместили, напоминала мне ту монашескую келью в Загорске, где я проходил практику летом 1941 года. Правда, инвентарь здесь был скромнее и состоял лишь из нар и деревянной параши.

В камере сидел один спекулянт, один растратчик и двое воришек. Я на них не обращал особого внимания, так как мои мысли были целиком заняты разлукой с Валею и историей с фотокарточкой.

Однако, как это принято, я должен был представиться и коротко рассказать о себе.

Моя статья вызывала удивление, а то, что я уже отсидел пять лет, возвышало меня в глазах этих вновь испеченных зэков, которые впервые оказались в тюрьме.

Они не напоминали закоренелых уголовников, в том числе и те двое воришек, которые попали за то, что кого-то обокрали на базаре.

Вскоре принесли ужин — стандартную тюремную баланду — жидкие щи без мяса и сыроватый черный хлеб. После утомительной дороги я проголодался и быстро справился с далеко не вкусной едой.

О том, чтобы зэкам предоставить элементарные спальные принадлежности, здесь никто не думал. Мы ложились на голые нары, положив под голову вещевой

мешок или обувь и накрывались тем, что имели — мои сокамерники бушлатами и телогрейками, а я своей американской кожанкой.

Утро началось тем, что велели выносить парашу. Я взялся за это дело вместе с растратчиком — мужчиной лет тридцати пяти с простым курносым лицом, не лишенным привлекательности.

Уборная находилась около тюремной стены и представляла собой довольно длинное строение, в котором одновременно могли справлять свою нужду восемь человек.

В этой тюрьме были менее строгие порядки, и нередко экам разрешали вместо параши пользоваться этим общественным туалетом.

— Представьте себе,— обратился ко мне растратчик,— что не так давно из этой тюрьмы двое эков совершили побег и довольно оригинальным способом. Знаете, чем они воспользовались?

— Понятия не имею.

— С помощью этого сортира.

— Интересно.

— Между прочим, я знал даже одного из этих беглецов. Если хотите, могу вам вечером рассказать об этом побеге и о его предыстории. Это будет увлекательный рассказ. Да, чтобы вы знали — я раньше работал учителем, на селе, преподавал литературу и историю, и с тех времен у меня осталась любовь к пересказам.

— А почему вы бросили свою профессию? — полюбопытствовал я.

— Чтобы прокормить семью. Мне предложили работать завмагом, и я согласился. К сожалению, это оказалось большой ошибкой. Правда, жили мы сначала очень неплохо, но затем пришлось расплачиваться...

Вечером, после ужина, бывший учитель устроился поудобнее на нарах и обратился ко мне:

— Может быть, сначала вы расскажете нам что-нибудь интересное, а то скучно сидеть здесь молча.

У уголовников было два проверенных способа убить время: играть в карты или слушать «романы», то есть пересказы прочитанных когда-то повестей или романов, чаще всего мелодраматического характера. Они должны были изобиловать любовными интригами, изменами, убийствами, дерзкими грабежами и тому подобное. Детально рассказывались интимные стороны повествования, вплоть до перечня нижнего белья, его цвета и наличия кружева, на сколько пуговиц был застегнут бюстгальтер и какие носила дама панталоны. После этого следовало не менее подробное описание любовных игр, чтобы больше возбуждать слушателей. Это был своеобразный онанизм. Конечно, в романах и повестях, которые передавались, ничего подобного не было, все эти пикантные стороны придумывали рассказчики.

Чаще всего вспоминали романы В. Гюго, Дюма, Конан Доила и других авторов, которые по своему усмотрению переделывали, оставляя главный сюжет и прибавляя нередко новых героев.

Среди блатных находились прекрасные рассказчики, которые могли в течение нескольких дней держать в напряжении слушателей. Они ценились весьма высоко, получали лучшие места на нарах, а когда кто-то из сокамерников получал передачу, его никогда не забывали. В крайнем случае собирали кусочки хлеба у остальных зэков.

Впрочем, стало традицией в тюрьмах рассказывать «романы», которые с одинаковым интересом слушали не только блатные, но и другие заключенные.

Я тоже нередко вспоминал прочитанные книги и чаще всего повести Стефана Цвейга (например «Амок») или Джэка Лондона. Иногда и «Отца Сергия» Льва Толстого.

На этот раз у меня не было настроения к подобному времяпрепровождению. Мои мысли были целиком заняты историей со злополучной фотокарточкой. К счастью, Валю, видимо, не знали в Козьмодемьянской тюрьме, а вот в Кузьмине обязательно найдутся сотрудники, с которыми она вместе работала в военные годы, тем более, что ее часто перебрасывали из одной колонии в другую.

— Откровенно говоря, не хочется,— ответил я на предложение растратчика,— может быть, несколько позже. Никак еще не могу привыкнуть к этой камере с парашей и вертухаем в коридоре. Я думал, что больше этого не увижу.

— Хорошо, тогда я вам расскажу, как обещал, историю о побеге из этой тюрьмы. Правда, это не роман, а быль, но не менее интересная. Человек, о котором пойдет разговор, мне хорошо знаком, и я говорю с его слов. Возможно, он кое-что приврал, но это пусть будет на его совести.

Звали его Саша, и жил он на Ветлуге. Парень был здоровенный, на голову выше своих сверстников, и все его боялись в деревне. Он отличался редкой наглостью и прекрасно умел пользоваться своими физическими данными.

Там, где устраивались пьянки, всегда присутствовал Саша, а где он выпивал — неизменно возникали драки.

При тренировке своих упругих бицепсов он обычно калечил кого-нибудь из деревенских парней, но были случаи, когда и его коллективно отделявали. Чаще тогда, когда вместе собиралась компания его недругов.

Саша недолго переживал свои поражения, раны быстро заживали, а злости прибавлялось еще больше.

Когда ему исполнилось семнадцать лет, он примкнул к группе подростков, которые терроризировали окрестность. Они его многому научили. Саша стал курить. Сначала с отвращением,

затем с явным удовольствием. Пристрастился к водке и начал приставать к девушкам.

Собственно говоря, девушки его не очень интересовали, но было стыдно отставать от товарищей. Вот он и завел себе солдатку, которая хотя и была далеко не красавицей, но зато имела дом и корову. Она его поила старательно водкой и брагой, кормила на убой и знакомила досконально со всеми сторонами интимной жизни, показывая в этом деле удивительную осведомленность, большое усердие и великолепную тренировку.

Саша пользовался ее услугами месяца три, а затем она ему опротивела. Не долго думая он бросил солдатку, захватил на память бостоновый костюм погибшего мужа и наручные часы «Омега».

Яблоко от яблони не далеко падает,— гласит мудрая пословица. Отец Саши был горьким пьяницей, и мать не отставала от него. Они смотрели сквозь пальцы на похождения своего сына и были не прочь избавиться от него. Он приносил им только неприятности и огорчения.

Саша, как и его собутыльники, считался колхозником, но на работе их почти не видели. Лишь изредка они показывались, когда могли заработать пол-литру или незаметно стащить то, что плохо лежало.

Так и рос Саша, закаляясь в бесчисленных пьянках и драках, на страх деревенским жителям.

В деревнях пропадал скот, были ограблены несколько домов, а виновники ходили безнаказанно, руки в брюки, и чувствовали свое превосходство.

Есть еще пословица: вор не тот, кто ворует, а тот, кого поймают. А поймать Сашу и его компанию на месте преступления было не так-то просто — они работали профессионально.

Им грозили, обещали самосуд, но Саша лишь смеялся. Угрозы на него не действовали.

К этому времени перед глазами Саши все чаще и чаще стали возникать образы молодых девчат, и постепенно охота за ними стала его основным и любимым занятием. От ребят он понемногу отошел и лишь изредка принимал участие в их деятельности, когда у него иссякали деньги, которые ему нужны были для подарков девушкам и на водку.

Саша пользовался успехом у девушек. Он был высок ростом и хорошо сложен. Серые холодные и наглые глаза гармонировали с правильным и красивым лицом развратника. Темно-русые гладкие волосы были зачесаны назад. От левого уха до угла рта тянулся рубец, который придавал ему мужественный, жесткий вид.

Саша был музыкален, прекрасно отбивал чечетку, обладал приятным голосом и неплохо играл на гармошке. Этим он покорял сердца девчат, которые были готовы простить ему все грехи.

Девушки— глупый и доверчивый народ. Они не учатся на ошибках своих товарок, и видя как они попадают в хитро расставленные сети таких негодяев, как Саша, все равно идут этим же путем, надеясь, что они предназначены не для них.

Галя была одна из первых жертв, которой пришлось испить горькую чашу разочарований, после короткого периода радости и надежд.

Это была очаровательная деревенская красавица, румяная и пышная, со светло-русыми волосами и добрыми голубыми глазами. Ей нравился Саша, и она его любила всем сердцем своей простой и искренней натуры.

Она была огорчена его поведением, плакала, но не могла перебороть свои чувства, когда он ухаживал за ней, надеясь в душе, что он изменится.

Саша действительно изменился, бросил драки и воровство и стал более сдержанным.

В деревне, видя такие перемены, многие вздохнули облегченно: Наконец-то парень взялся за ум.

Не обрадовались лишь родители Гали. Они не ждали хорошего от этой дружбы, но не могли уговорить свою дочь, которая была влюблена по уши в Сашу.

Саша не спешил. Он ухаживал за девушкой очень деликатно и не позволял себе лишнего. Так продолжалось около месяца, спокойно, без недоразумений. Галя расцвела, и счастье ее не знало границ, пока не наступила грозная расплата, которую многие предвидели.

Был престольный праздник. Молодежь, разодетая и слегка выпившая, шла под звуки гармошки по деревне. Девушки отдельно от парней. Плясали, пели песни, грызли семечки, ходили по домам и пили брагу и самогон. Погода была теплая, летняя, как раз для гулянья. Когда стало темнеть, все постепенно разошлись, чаще всего парами. Кто в лесочек, кто в луга, а кто и на берег речушки.

Саша и Галя тоже отделились от общей массы и, обнявшись, направились к речке. Они молчали. Каждый думал о своем, но не хотел высказывать свои сокровенные мысли.

У Саши от выпитого вина было приподнятое настроение, и он крепче обнимал Галю в своих объятиях, у которой также немного закружилась голова. Она лишь слабо сопротивлялась и разрешила ему на этот раз сколько угодно целовать свои пухлые, алые губы и румяные, как персики, щеки. Лишь изредка, для приличия, говорила тихо: не надо, не надо.

У берега реки они остановились и сели в сочную душистую траву. Кругом было тихо, лишь где-то вдали квакали лягушки, а еще дальше в сопровождении пьяных голосов надрывалась одинокая гармонь, которая беспрерывно повторяла один и тот же

надоедливый мотив. Вскоре, однако, и их не стало слышно.

Стало холоднее, и Галя еще теснее прижалась к Саше.

— Какая красивая ночь,— сказала она тихо и поправила свою кофточку, которую Саша изрядно помял.— Я бы хотела всю жизнь так с тобой сидеть и наслаждаться природой.

— Да, неплохо здесь,— ответил Саша и вынул из кармана папиросы и спички, чтобы закурить.

— Не кури, милый,— Галя умоляюще посмотрела на него.

— Ладно,— буркнул он и бросил вызывающим жестом папиросы и спички в речку,— пусть плавают.

Настроение у него испортилось, голова болела и хотелось чего-то другого, большего, чтобы захватывало дух, чтобы забыть все на свете, все, все...

Он поцеловал Галю и ничего не почувствовал, и еще больше рассердился. Тогда он начал растегивать кофточку у девушки и лифчик... Галя слабо сопротивлялась, но потом опустила руки.

Когда Саша почувствовал в своих руках нежную кожу плотных грудей, ему словно ударило в голову током. Он пристально взглянул на девушку, обвел взором речку, лесочек, дальнюю деревню и порывисто опрокинул Галю на траву.

— Саша, что ты,— испуганно вскрикнула Галя и попыталась сесть, но Саша молчаливо прижал ее к земле. Дрожащими руками, стиснув зубы, он пытался раздеть ее, но это ему не удалось. Девушка отчаянно сопротивлялась.

— Я буду кричать,— предупредила она, но он молча продолжал свое. Его лицо стало вдруг злым, жестоким, и одним резким движением он стал задираť ее ситцевое платье. Девушка закричала. Тогда он со злобой стиснул ей горло левой рукой.

Она сразу замолчала, побледнела и задрожала. Саша отнял руку, но девушка продолжала дрожать и молвила лишь: «Зачем ты так делаешь?» — Больше она не сказала ни слова.

Саша грубо раздел ее. Еще раз девушка попыталась крикнуть, но горло ее снова было зажато твердой и безжалостной рукой. Больше она не сопротивлялась и молчаливо покорилась неизбежному. Она продолжала дрожать, а из милых, доверчивых глаз цвета фиалок крупными каплями катились слезы...

Было тихо, бледная луна осветила маленькую речку и ее берег. В благоухающей сочной траве сидела славная деревенская девушка и, плача, одевалась, а недалеко от нее пьяной походкой уходил прочь наглый молодец.

Галя была забыта. После нее вереницей шли другие девушки и чаще всего самые привлекательные. У Саши был недурной вкус. Девушки сдавались слепо, не учитывая горький опыт своих предшественниц и надеялись на счастливый исход, но так же были вскоре брошены, осмеяны и забыты. Саша умел обманывать и не гнушался обещаниями о верной любви и скорой свадьбе.

Его отношение к девушкам постепенно изменилось, и он стал еще увереннее и наглее. Раньше Саша еще пытался ухаживать, относился сначала заботливо к своей избраннице и лишь затем, не спеша, продвигался к намеченной цели. Сейчас он уже потерял терпение и действовал по-военному — брал «крепости» без предварительной подготовки.

Он избегал длинных разговоров и уже с начала знакомства полагался, в основном, на свои руки, которые работали виртуозно.

Однако не всегда ему удавались легкие победы, ему нередко показывали зубы и случались даже жестокие поражения.

Тамара была рослая и стройная брюнетка, о которой Саша давно уже мечтал. Но существовало немаловажное препятствие — она уже полгода дружила с трактористом Андреем, крепким и смелым парнем, что, однако, не смутило Сашу.

В один из летних праздников он выпил больше положенного и во время танцев, шатаясь, подошел к Тамаре и взял ее грубо за рукав.

— Пойдем,— сказал он приказным тоном.

— Куда? — девушка резко оттолкнула его.

— Мне надо с тобой поговорить наедине.

— А у меня такого желания нет,— Тамара вырвалась и направилась к своему другу, который хмуρο наблюдал за этой сценой.

Саша, матерно ругаясь, пошел за ней, но Андрей преградил ему путь.

— Куда идешь? — спросил он.— Чего тебе надо от Тамары?

— Не твое дело.— Саша попытался оттолкнуть его.

Андрей спокойно снял пиджак, передал его Тамаре, молча размахнулся и со всей силой ударил своего соперника в зубы. Саша свалился на землю и с трудом, выплевывая кровь, поднялся.

Андрей взял свой пиджак, надел его и отошел в сторону. Все с любопытством наблюдали за Сашей. Тот неожиданно нагнулся, вытащил из-за голенища правого сапога острую финку и ударил ею сзади Андрея в спину.

Андрей зашатался, схватился за раненое место и упал. Девушки вскрикнули, а парни бросились на Сашу. Его связали и отвезли в милицию, а Андрея направили в больницу с проникающим ранением грудной клетки.

Песенка Саши была спета, и по статьям уголовного кодекса РСФСР 74 и 142 он был приговорен к пяти годам лишения свободы.

Для него началась новая, незнакомая и суровая жизнь. Познакомился он с этапными камерами,

столыпинскими вагонами, колониями, пересылками и лагерями. Приходилось рано вставать и зарабатывать свою кровную пайку в поте лица на лесоповале.

Вскоре, однако, он убедился, что люди с характером и в лагерях могут жить припеваючи, не работая. Он присоединился к компании блатарей, для которых лагеря — место, «где вечно пляшут и поют».

Для него началась развеселая жизнь. Девчат было много, и за небольшую плату они приходили к нему сами в барак. Саша быстро выучился играть в «очко», «буру» и «рамс», сначала, правда, все спустил до нитки, в том числе и казенные вещи, но затем отыгрался. Деньги он расходовал на водку и девок. Девки были не плохие, но они ему оставили на память плохой подарок, и он тайно стал посещать врачей, которым пришлось платить не одну сотню.

Короче говоря, Саша прошел огонь, воду, медные трубы и ртутные втирания.

Но в лагерях тоже не любят лодырей, и в один прекрасный день всю гоп-компанию разогнали и послали кого куда. Саша попал на участок, где не было девок и плясок, где «кирка и лопата — это мой товарищ, а тачка, тачка — верная жена».

Пришлось вкалывать довольно основательно и зарабатывать пайку собственными руками. Но больше всего страдал Саша из-за отсутствия девок. Правда, работала в прачечной кривая баба, но спрос на нее был большой, и приходилось долго ждать своей очереди. Один раз он все-таки воспользовался ее услугами, но остался недовольным. Всю эту процедуру приходилось выполнять в спешке, да еще стоя, и при этом еще заплатить червонец.

Во время войны, почти отбыв положенный срок, он был мобилизован. Получил довольно легкое ранение и умело обрабатывая рану, чтобы она не заживала (этому его обучили еще в лагерях), он в основном

околачивался в прифронтной полосе, где успешно сражался с солдатами.

После окончания войны Саша вернулся в один из провинциальных волжских городов, где решил немного отдохнуть после фронтной жизни. В ресторане, за бутылкой красного вина, он однажды обратил внимание на пышную девицу, которая ему немного напоминала Галю, и быстро завязал с ней знакомство.

После щедрого угощения, в том числе и американской тушенкой, Саша проводил свою новую знакомую к ее дому. Была уже поздняя ночь. Они сели на скамейку около дома и стали вспоминать о прошлом. Он рассказывал о своих военных «подвигах», она — о своей работе в больнице. Во время беседы он обнял ее и не встретил сопротивления. Девушки в то время были не очень избалованы вниманием кавалеров, так как почти все здоровые мужчины находились на фронте, и поэтому охотно знакомились.

Саша осмелел и перешел к штурму крепости, но встретил, однако, упорное сопротивление и был крайне удивлен. Он искренне возмутился — ему, фронтовику, который пролил кровь за родину — оказывали сопротивление. Он рассвирепел и, когда получил увесистый удар кулаком в глаз и удар ногой в весьма чувствительное место, вынул из кармана нож и приставил его к горлу своей жертвы. Пронзительный крик девушки, однако, услышали соседи, и Саша вновь очутился за решеткой.

Учитывая пребывание на фронте и «искреннее» раскаяние, ему дали только два года по статье 74, за хулиганство.

Снова началась уже знакомая жизнь: подъем, завтрак, развод, работа, обед, работа, ужин и отбой. Снова он встретился с жарилками и санобработкой, банями с двумя шайками воды и микроскопическим

куском мыла, бараками и нарами, карцером и тремястами граммами хлеба за невыход на работу.

В зоне он чувствовал себя хозяином, а в женском бараке был постоянным гостем. Ночью он приходил сюда самоуверенно и опытным глазом выбирал себе приглянувшуюся девицу, стараясь, чтобы она была из блатных. Те редко оказывали ему сопротивление, считая его своим.

Саша никогда не любил работать, а таких в лагере не поощряют. Пайку он получал поэтому самую мизерную. Он попытался играть в карты, но проигрывал — в этом лагере сидели большие спецы. Несколько раз воровал, но был жестоко избит и попадал в карцер. Жизнь началась прескверная.

Но однажды он нашел себе друга — Васю, такого же бесшабашного бездельника, как и он, и вместе они стали делить горе и радость и то, что сумели уворовать.

Как-то они были на сельскохозяйственных работах и увидели поблизости гусей, при виде которых у друзей потекли слюни. Бригада была небольшая и состояла сплошь из уголовников, которые также были не прочь отведать гусятины.

Единственным препятствием оказались конвоиры — двое мужчин пенсионного возраста, ведущих по внешнему виду далеко не сытый образ жизни.

Долго уговаривать их не пришлось, и вскоре один из гусей угодил в котел. Ели не спеша и с большим аппетитом, и довольные вернулись в зону.

Шило, однако, в мешке не утаишь, и везде есть люди, которые желают другим лишь зла. Саша и Вася, главные виновники пиршества, попали вновь под следствие, а вместе с ними и конвоиры. Все они были этапированы в Козьмодемьянск.

Жизнь в тюрьме — не сахар и особенно для подследственных эков. Саша и Вася с грустью

вспоминали лагерную жизнь, карты и женские бараки с их бойкими девчатами.

Однообразно и серо текла их жизнь. Утром подъем, оправка, милая птюха и кипяток, прогулка — руки назад по тюремному двору, обед, оправка, ужин, отбой.

Спали много, играли в карты, рассказывали романы, вспоминали воровскую жизнь-малину и скачки.

Хотелось на волю, на свободу, где нет решеток и колючей проволоки. А впереди еще так много лет заключения... Кто знает сколько?

На прогулке они обратили внимание, что тюремные стены хотя и толстые, но не очень высокие, и что нет предупредительной зоны. Они заметили также, что на вышках стояли сопливые стрелки, которые чаще дремали.

По вечерам Саша и Вася начали сидеть в углу камеры и долго о чем-то шептаться. Так проходили дни в ожидании следствия и суда.

Однажды, после ужина, как обычно, открылась дверь и грубый голос коридорного приказал: выносите парашу!

Параша была деревянная, грязная и вонючая, и выносить ее в уборную не считалось престижным занятием.

На этот раз, однако, Саша и Вася сразу вскочили с нар и взяли парашу за ручки. Коридорный остался стоять около дверей. Ему было лень следовать за ними. Парашу поставили около уборной, а сами «носильщики» зашли туда и, недолго думая, оторвали длинную доску стульчика, в котором насчитывалось восемь очков. Она могла служить прекрасной лестницей, в которой перекладыны заменяли очки.

Доску поставили к тюремной стене и быстро перебрались через нее. Темнота помогла им, как и стрелки, которые, видимо, сладко дремали.

Заметил побег один из заключенных — кузнец, который решил выслужиться. Он и поднял тревогу.

Беглецы устремились к лесу, где можно было переждать ночь и спокойно отдохнуть до утра. Как-никак, а пробежали они в хорошем темпе почти два часа. Проснулись рано утром и услышали вдали подозрительный лай собак. Быстро вскочили и снова побежали, но лай собак слышался все ближе и ближе, пока они их не увидели. За собаками показались два стрелка с автоматами.

Первая мысль была поднять руки, но они решили испытать судьбу и продолжали бежать навстречу свободе, подальше от решеток и лагерей.

Раздалось два выстрела, видимо, предупредительных, а затем уже целая очередь. Вася почувствовал вдруг боль в ноге, повернулся и увидел злые глаза собаки, которая рвала штанину. Он попытался оторваться от собаки, ударил ее ногой, но жгучая боль немного выше правого соска заставила его остановиться. На рубашке появилось мокрое красное пятно, и он почувствовал, как струйки крови потекли по груди. Перед глазами стало темно, и во рту появилась кровь. Он пошатнулся и снова почувствовал удары в нескольких местах сразу. Вася присел, пальцы судорожно схватили веточки кустарника, а затем разжалась. Он еще раз сделал глубокий вдох, и на этом наступил конец. Он приобрел «полную свободу».

Саша бежал сверх сил, но острая боль в правом боку свалила его. Одновременно в него вцепилась собака. Перед глазами он увидел снова решетки и вдруг Галю — и потерял сознание.

— Вот и вся история,— закончил свой рассказ бывший учитель,— можете верить или не верить, но в ней ничего не выдуманно.

— А откуда вам известны такие детали, как история с Галей и Тамарой или последние минуты жизни Саши и

Васи,— поинтересовался я.

— Отвечу сначала на последний вопрос. Убит был только Вася, а Саша остался жив. Как их преследовали, об этом подробно рассказывали наши стрелки, и знают об этом многие. То, что Саша вспомнил Галю перед тем как потерять сознание, это, конечно, лишь мое предположение. Дело в том, что он ее действительно любил и даже хотел на ней жениться. Он объяснил свой поступок тем, что был сильно пьян, а Галя отказала ему, и родители были против. Я вам уже говорил, что был с Сашей хорошо знаком и однажды, когда мы с ним выпивали довольно основательно, он разоткровенничался и рассказал подробно о своей жизни. Не знаю, может быть, он что-то и прибавил, но в основном все было так, как я вам рассказывал.

Этап. Кузьмино

Мне было не совсем понятно, почему меня вообще привезли в Козьмодемьянск, так как деревня Кузьмине, где находилась ИТК № 1, расположена на другой стороне Волги, точнее, на левом берегу Ветлуги.

Сокамерники объяснили мне, что формируется этап, и когда он будет готов, тогда меня с ним отправят в колонию. Из-за меня одного конвоиров беспокоить не будут.

Ждать пришлось всего три дня. В первую декаду ноября небольшая колонна примерно из тридцати плохо одетых людей, нагруженных мешками, торбами и сундучками, в сопровождении конвоиров спустились вниз по улице в сторону реки. Стало еще холодней, и по Волге уже плавали льдины. Вместе с нами на паром погрузили еще телегу, предназначенную для конвоиров, в которую была запряжена лошадь-доходяга.

Начальник конвоя, пожилой мариец с простоватым, морщинистым и, как мне показалось, почти добродушным лицом, остановил колонну около коротнинской церкви и прочитал нам «молитву»: — Заключенные! Не растягиваться, не выходить из строя! Шаг влево, шаг вправо считается за побег! Не отставать! Конвой применит оружие без предупреждения! Ясно?

— Ясно,— ответили ээки нестройным хором.

До Кузьмине километров 80—85, которые мы должны были преодолеть за три дня. Идти было нелегко. В одной руке я нес довольно тяжелый фанерный чемодан с медицинскими книгами, в другой вещевой мешок. Несмотря на холод я вскоре довольно

основательно взмок и лишь с трудом успевал за остальными, которые, в основном, шли почти налегке.

Часа через три, видя мои мучения, один из конвоиров разрешил мне положить чемодан на телегу. Сразу стало легче.

Миновав несколько марийских деревень, дорога дальше шла через глухой сосновый лес. Каждые полтора часа делали короткий привал, чтобы отдохнуть и закусить. Всем дали стандартный сухой паек — хлеб и воблу.

В темноте, пройдя около семи часов, мы добрались до первой нашей цели — деревни Юркино. Я увидел в темноте широкую неровную улицу, слева и справа от которой стояли добротные избы. Кое-где еще горели керосиновые лампы и дымились трубы.

Изба, в которой мы остановились, принадлежала пожилому начальнику конвоя Петру Самогтаеву. Изба состояла из жилой части, сеней и клетки. Жилая часть представляла собой большую, просторную комнату, около стен которой стояли скамейки, а в середине — небольшой стол. Хозяин велел жене поставить самовар, чтобы мы немного согрелись после долгого пути, а сам в это время свернул себе козью ножку.

Все мы были очень уставшие и, выпив по стакану горячей воды, заваренной шиповником, улеглись спать на полу. Мне досталось место под столом.

Добрый конвоир

Утром я решил подойти к начальнику конвоя, у которого хранились наши личные дела.

— Гражданин начальник,— обратился я к нему как можно вежливее и не без умысла подчеркивая свою профессию,— я в качестве врача направлен в Первую колонию, и в связи с этим у меня к вам небольшая просьба.

— Просьба? Какая? — конвоир сделал удивленное лицо.

— Дело вот в чем, когда я приехал в Козьмодемьянскую тюрьму, у меня во время обыска отобрали небольшую фотокарточку жены. Эту фотографию она мне прислала в колонию, и никто не считал это противозаконным. Очень прошу вас, верните мне, пожалуйста, эту фотографию.

К моему великому удивлению, конвоир взял мое личное дело, раскрыл его и сразу нашел фотокарточку. Посмотрел ее со всех сторон, прочитал надпись и сказал: Красивая жена. Ладно, возьми фотокарточку.

— Я вам очень благодарен, гражданин начальник,— ответил я.

Два года спустя, когда я стал работать заведующим Юркинским сельским врачебным участком, я постоянно встречался с Петром Самотаевым, который к тому времени демобилизовался. Он часто болел, и я старался как можно лучше оказывать ему необходимую медицинскую помощь.

Всю ночь шел снег, и когда мы проснулись, на улице была уже настоящая зима. Крыши домов были покрыты снежными шапками, а дым из труб шел вертикально. Было не менее пятнадцати градусов, и после теплой избы мы невольно съежились, но вскоре отогрелись.

Песчаная почва, покрытая толстым слоем снега, затрудняла путь.

В этот день путь был несколько короче, и еще до наступления темноты мы остановились около небольшой избушки, которая, видимо, специально служила для размещения этапников.

На третий день, пройдя остаток пути, мы вскоре после полудня достигли конечной цели — ИТК № 1.

Снова на «общих»

В сравнении с Ошлой и Шушерами Первая колония оказалась значительно больше. (Она имела восемь участков, на которых работали около тысячи заключенных). В остальном она, однако, ничем не отличалась от других — те же мрачные бараки, такая же баня, такие же подсобные здания...

У вахты нас встретил нарядчик Чаузский, крупный мужчина в аккуратно сшитой телогрейке, галифе, сапогах и шапке-ушанке. Большой крючковатый нос и толстые губы красноречиво подчеркивали его национальность.

— Вот что, мужики,— обратился он к нам,— сейчас пойдете в баню со всеми вашими шмотками, а затем в свой барак. Завтра будет медосмотр. Ясно?

— Ясно,— прозвучал ответ.

Перед баней мы должны были пройти полную санобработку. Давно я не подвергался этой унижительной процедуре. Парикмахер Алиев, высокий тощий азербайджанец лет шестидесяти, мастерски владел бритвой и в считанные секунды освободил нас от растительности, нигде не оставляя ни волоска.

Наши вещи сдали для «прожарки» в дезкамеру, нанизывая их на большие незамкнутые кольца из толстой проволоки. В моечной, как и везде в местах заключений, дали две шайки горячей воды и кусочек мыла.

После того как помылись, перешли в одевальную. Помещение оказалось довольно прохладным, и всем пришлось плясать минут десять, прежде чем получили свою одежду.

Когда начали одеваться, к нам подошел дезинфектор Городилов, парень лет двадцати пяти с

изуродованной левой кистью. Он внимательно оглядел нас, а затем тихо спросил:

— Кому надо махорки или хлеба?

— А на что? — спросил кто-то.

— На ботинки, брюки или рубашки.

— А на деньги?

— Деньги мне не нужны. Я ищу шмотки.

Наш этап был бедный, и лишней одежды ни у кого не оказалось. Все, что имели, носили на себе. Торг не состоялся.

Городилов обратил внимание на мою кожанку, которую не подвергали дезинфекции, и даже прощупал ее.

— Не продашь?

— Нет. Мне она самому нужна.

— Напрасно.

— Почему напрасно?

— А все равно урки отберут.

— Не думаю.

— Откуда такой уверенный?

— Я же не первый год сижу и знаю порядки.

— А сколько сидишь?

— Пять лет.

— А кем работаешь?

— Врачом.

— Вы что, врач? — Дезинфектор сделал удивленное лицо и сразу перешел на «вы».

— Да, и направлен сюда по спецнаряду.

— Это, конечно, другое дело. Простите, пожалуйста.

Барак оказался просторным и был рассчитан, вероятно, человек на сто. Как и в Шушерах нары строились по типу «вагонки» (двухъярусные на четырех человек) и напоминали места плацкартного вагона. Помещение освещалось коптилкой — консервной банкой с фитилем из тряпки.

Пока постельные принадлежности не дали, и мы легли после ужина на голые нары. Ужин нас не обрадовал: жидкий гороховый суп и кусок хлеба. Утром, еще до завтрака, в барак явился нарядчик Чаузский.

— Вот что,— сказал он,— сразу после завтрака пойдете в санчасть на медосмотр. Вечером узнаете, где будете работать. Я подошел к нему.

— Можно к вам обратиться с вопросом?

— А в чем дело? — Он окинул меня оценивающим взглядом и, видимо, понял, что я не простой работяга.

— Дело вот в чем: я врач по специальности и прибыл сюда для работы в этом качестве. К кому я должен обратиться с этим вопросом?

— Значит, вы новый врач?

— Видимо.

— Что я могу вам ответить? Обстановка сейчас такая: начальник санчасти Кордэ сейчас в отпуске, а кроме нее ваш вопрос никто не может решить.

— Как это понять?

— Так, что вам пока придется работать не по специальности.

— А где я тогда должен работать?

— Этого я не могу сказать. Это целиком зависит от нашего врача Торбеевой. Если она скажет: работа в зоне, тогда я вам найду здесь что-нибудь. Но если она напишет ТФТ (тяжелый физический труд) — я бессилён, вы меня поняли?

— Конечно. Но я все-таки думаю, что ваш врач поймет мое положение. Она заключенная?

— Да.

— Тем более.

— А я сомневаюсь.

— Вы хотите сказать, что она может меня направить на «общие»?

— Да. Когда увидите Торбееву, вы меня поймете.

Откровенно говоря, я был несколько удивлен. Медики обычно помогали друг другу в лагерях. На «общие» угодить в ноябре меня не очень устраивало. На лесоповале можно в это время «дойти» за месяц.

Садистка

После завтрака строем пошли в санчасть. О враче Торбеевой, которая должна была нас проверять, шла дурная слава. Говорили, что она садистка, издевается над зэками и имеет любовника, с которым у нее весьма странные отношения.

Когда я вошел в приемную, то увидел за столом черноволосую женщину лет тридцати пяти, которая меня фиксировала холодными, как лед, змеиными глазами. Ее нельзя было назвать безобразной. Она была пропорционально сложена, с правильными чертами лица, но взгляд ее отталкивал, вызывал отвращение и чувство беспокойства,— такой человек был способен на любую гадость.

— Ваша фамилия? — спросила она шипящим голосом. Я назвал себя.

— Статья, срок, специальность?

Когда я сказал «врач», ее взгляд словно пронзил меня.

— Раздевайтесь!

Я снял рубашку и майку. Торбеева бегло выслушала меня, а затем, к моему удивлению, приказала:

— Снимите брюки!

Когда я остался в одних трусах, последовала новая команда:

— Покажите член!

Сколько я ни проходил медосмотров, но подобное требование я услышал впервые. Так проверялись только работники пищеблока или если есть подозрение на венерическое заболевание.

Ясно было, что Торбеева хотела меня унижить. Я колебался, выполнить ее приказание или нет. В случае

отказа это можно было истолковать, как боязнь разоблачения. Пришлось покориться.

— Оттяните кожу! Нажмите на головку!

Это было совсем подлое приказание. Таким приемом обследуют больных гонореей.

Краснея, со скрежетом в зубах, я выполнил и это требование.

Здесь у меня еще не было никаких прав.

Позже я узнал, что кроме меня из козьмодемьянского этапа никого не обследовали подобным образом.

Написав в амбулаторную карточку три буквы «ТФТ», Торбеева отпустила меня, не сказав больше ни слова.

Да, нарядчик Чаузский оказался правю Такиз врачей в лагерях я еще не встречал.

После медосмотра я направился к КВЧ (культурно-воспитательная часть) и был весьма обрадован, увидев здесь Арнольда Соломоновича Цуккера. Он, оказывается, устроился здесь заведующим библиотекой и читальней. Кроме того, он еще являлся руководителем художественной самодеятельности.

Ему здорово повезло. Единственное, чем он не был доволен, это своим начальником.

— Круглый дурак,— жаловался Арнольд Соломонович,— всюду вмешивается, а ничего не понимает. Зато считает себя большим знатоком литературы и искусства, хотя не может отличить Пушкина от Маяковского и Репина от Рембрандта.

Я рассказал ему историю с медосмотром.

— Этим вы меня не удивите,— ответил он,— Лидия Васильевна или, как ее называют здесь насмешливо «Лидочка» — стерва особая. Вторую такую трудно найти. Между прочим, она вовсе не врач, а обыкновенная лаборантка, которая на воле исследовала мочу и кал на яйца глист. Здесь она вдруг стала врачом

и взяла всех в руки, пока начальник санчасти отсутствует.

— А кто начальник санчасти?

— Тамара Владимировна Кордэ. Это замечательнейший человек и удивительнее всего, что такой человек работает в колонии. И если бы не она, то я был бы на лесоповале или, вернее, уже на том свете. К Торбеевой она относилась сначала хорошо и считала дельным человеком, но потом раскусила ее и поняла, что это за птица. В КВЧ меня поставила Тамара Владимировна и этим спасла мне жизнь.

— А где она сейчас?

— Не знаю, но говорят, что ей сделали операцию.

— А кто начальник колонии? — поинтересовался я.— Он, наверно, в курсе, что меня прислали сюда по специальности?

— Хачинский? Безусловно, но в эти дела он обычно не вмешивается. Это входит в компетенцию начальника санчасти. А вообще, это человек малопрятный, который ненавидит заключенных. Сами убедитесь.

— Это его дочь путалась с одним из зэков? — Я вспомнил рассказ Миши Мельникова.

— Да, было такое дело, но его быстро убрали.

Вечером явился нарядчик со списком в руках. Я был среди тех, кого направили на лесоповал.

— Ничем помочь вам не могу,— оправдывался он.— Все зависит от Торбеевой, а с ней трудно договориться. Придется вам дожидаться прихода Тамары Владимировны. Лишь она может решить ваш вопрос положительно.

На лесоповале

Для лесоповала я был не очень хорошо экипирован. Правда, моя утепленная американская кожанка спасала меня от ветра и холода, но полуботинки (другой обуви больше не осталось) не годились для глубокого снега, что, однако, никого не беспокоило. Некоторые зэки были еще хуже одеты и были обуты в ЧТЗ (Челябинский тракторный завод) — кусок автопокрышки, схваченный проволочками, или лапти.

До леса шли километра три. Перед тем, как приступить к работе, конвой указывал нам границы участка, дальше которого мы не имели права идти.

— Предупреждаем, если кто-то из вас сделает шаг дальше, будем стрелять без предупреждения, — разъяснил начальник конвоя.

Среди охраны были и заключенные, чаще всего бывшие военнослужащие, которые нередко оказывались безжалостнее вольнонаемных.

Двоих зэков заставили сначала разжечь большой костер, около которого устроились наши охранники. Там они отлеживались, курили и балагурили.

Нашей бригадой руководил Саша Андриянов, уголовник, осужденный за квартирную кражу. Высокий худой парень лет двадцати семи с длинной шеей, оттопыренными ушами и всегда полураскрытым ртом с лошадиными зубами, он не вызывал большой симпатии. Он правил бригадой с помощью дубинки, которую опускал на спины зэков, если они были чем-то недовольны или работали без должного энтузиазма. Он же расставлял нас на свои рабочие места и указывал, кому и что пилить.

Среди зэков были профессиональные лесорубы, которые ловко работали «канадкой» (лучковой пилой

или «стахановкой»), но большинство, в том числе и я, пользовались двуручной пилой.

Перед тем, как пилить, приходилось сначала расчищать рабочее место от снега. Работа внаклонку быстро утомляла, но бригадир не давал расслабиться.

Андрянов, видимо, узнал, что я врач и, возможно, вскоре займу свое место в санчасти, и поэтому смотрел сквозь пальцы на частые передышки, которые я делал со своим напарником.

А вообще, бригадир наш вылезал из кожи, чтобы выполнить и перевыполнить план, используя при этом трехэтажный мат, крепкие кулаки и дубину. Чувства жалости он не знал. В общем, он напоминал мне одного из надсмотрщиков, которых так точно описала Г. В. Стоу в «Хижине дяди Тома».

Очень скоро у меня промокли ноги, но холода я особенно не почувствовал. Тяжелая работа согревала. Правда, стоило только поставить пилу в сторону, как гусиная кожа пробегала по телу, и я начинал зябнуть.

В обеденный перерыв мы могли подойти к костру и согреться. Принесли жидкие щи и могоар. Для такой тяжелой работы эта еда была, как слону дробинка.

Охранники держались подальше от нас и не вступали в разговоры. Мне рассказывали, что среди них в колонии есть такие, которые гордятся тем, что пристрелили зэков при попытке к бегству. Это считалось у них своеобразным геройством. И странно, что некоторые из них были заключенные.

Когда настал конец работы, я вздохнул с облегчением. Тяжелая работа оказалась непривычной.

Путь до колонии дался мне нелегко, ноги еле шли, и даже ужин после возвращения не радовал.

Накануне всем выдали матрацы и подушки, набитые соломой, и весьма ветхие байковые одеяла. Но это был уже прогресс.

Когда мы вернулись в свой барак, дневальный начал топить печку, и к влажному от мокрой одежды и потных тел воздуху прибавился еще едкий дым.

Многие спали не раздеваясь. В лучшем случае снимали мокрые штаны и портянки, которые вешали на веревку около печки.

До отбоя еще оставалось немного времени, и каждый занимался своим делом. Одни отдыхали, другие беседовали между собой или играли в домино и даже карты.

В карты играли в основном блатные, что было для них чуть ли не законом, святым долгом. Карты нередко метились и настолько искусно, что обнаружить это неспециалисту было почти невозможно.

Для этого делались наколки, заточки, затирались углы карт наждачной бумагой. Иногда угол карты расклеивался, а между слоями закладывались мельчайшие крупинки стекла, и вновь заклеивались.

Игра в карты запрещалась, но это никого не смущало. Всегда кто-нибудь из «шестерок» стоял на «стреме» и в случае опасности (появление лагерного начальства или дежурного) предупреждал играющих.

На следующее утро все тело болело, но я на это не обращал внимания. Подобные боли привычны для спортсменов после отсутствия тренировки.

Дни тянулись медленно, один, как другой. Несколько раз я уже обращался к нарядчику с вопросом, когда приедет начальник санчасти, но ответ был один и тот же:

— Пока неизвестно.

Работа на лесоповале была далеко не безопасной уже потому, что многие из нас впервые взяли пилу в руки. Правда, бригадир объяснял нам минут за пять правила техники безопасности, но этого было явно недостаточно.

Еще затрудняли работу очень глубокий снег и то обстоятельство, что мы не имели права свободного передвижения. Были случаи, когда заключенный выбегал за отведенную зону, чтобы не угодить под падающее дерево, и за это получал пулю в затылок.

Мы валили, в основном, сосны, среди которых попадались очень толстые, а нередко и кривые. Они далеко не всегда падали туда, куда мы хотели, и требовалась большая осторожность.

Я наблюдал не без страха, как толстое дерево, словно задумываясь, на несколько мгновений оставалось на своем месте, чтобы затем, сделав небольшой поворот, свалиться с грохотом на землю, поднимая снежную пыль.

Не знаю почему, но дней через десять бригадир перевел меня на более легкую работу. Я стал сучкорубом. Возможно, это был своеобразный подхалимаж — а вдруг я стану действительно работать врачом.

Бригадиры всегда нуждались во врачах и меньше всего из-за боязни заболеть. Очень важно было, например, для них устроить нужного человека: портного, сапожника, ювелира... в зону и не без умысла. В знак благодарности они могли рассчитывать на почти безвозмездные услуги.

А категорию труда определял врач. Напишет он ЛФТ (легкий физический труд), и зэка можно оставить в зоне.

И еще одна причина: почти все бригадиры имели лагерных жен, а как известно, после лесоповала не до любви. Поэтому возникала необходимость поставить их на бластную работу, то есть легкую. Это опять-таки зависело от врача.

Андрянов действовал в данном случае, как опытный шахматист, который рассчитывает на несколько ходов вперед.

Рубить сучки, конечно, значительно легче, чем валить деревья, и эту работу чаще всего выполняли женщины. Сучкорубом я был, однако, недолго, может быть дня четыре или пять, не больше. Меня перевели вновь на другую работу, на этот раз по приказу нарядчика.

Мы работали на увале — небольшой возвышенности, и там складировали срубленный лес. Перед нами поставили задачу вывезти его в срочном порядке поближе к дороге. Лошадей для этой цели почему-то не выделили и решили заменить их зэками.

Сначала мы устроили так называемую «ледянку» и поливали водой узкую дорожку, которая змейкой петляла между деревьями и заканчивалась внизу у проселочной дороги.

Толстые длинные хлысты мы клали на два коротких поперечных бруска, которые не были соединены между собой и должны были заменить сани. Кое-как закрепили хлысты, а затем одни тащили спереди, другие толкали сзади. Это был рабский труд, который требовал большого физического напряжения, особенно на подъемах, и оказался далеко небезопасным.

Когда «сани» катились под уклон, они развивали солидную скорость, были практически неуправляемы и на поворотах нередко опрокидывались. А так как мы бежали рядом с ними, то легко могли быть ушибленными.

Мы были постоянно мокрыми с головы до ног, и если не простудились, то лишь потому, что тяжелая работа нас согревала.

Я начал снова худеть и довольно заметно. Сначала исчезла небольшая прослойка жира на животе, а затем уменьшились грудные мышцы. Не раз и не два пришлось сделать новые дырочки в ремне, чтобы брюки не спадали.

На лесоповале человек может «доплыть» за считанные недели. Хотя условия в лагерях стали лучше, люди на этой работе быстро ослабевали. От истощения в Первой колонии уже не умирали, а если умирали, то лишь единицы. В этой колонии, так же как и в Ошле, ээки долго не задерживались, чаще всего лишь несколько месяцев, а то и недель, и поэтому не успевали превратиться в «доходяг». А если кто-то начинал доходить — его направляли в стационар.

На лесоповале я познакомился не только с валкой леса, рубкой сучьев и «ледяной», но также и трелевкой — ручной подтаской к штабелям хлыстов. Эта работа была также очень тяжелой, так как приходилось трелевать по кочкам, узким тропкам, через валежник.

Для такой работы наше питание было недостаточным. Как и везде в лагерях, наша баланда разбавлялась основательно, чтобы придуркам жилось сытнее. Основное питание составлял хлеб, от которого трудно что-то оторвать. Правда, и пекари «колдовали».

От Вали пока еще не было известий, что меня тревожило. Я ходил каждый день в КВЧ за письмами, но, увы, меня, видимо, забыли. А вообще, клуб и библиотеку я не посещал. Просто не было сил ходить туда после лесоповала.

В нашем бараке размещалось не менее 80—100 человек, и в первое время я спал очень плохо. Люди ворочались на нарах, бормотали во сне, храпели, к тому же без стеснения, громко портили воздух. Правда, вскоре, измотавшись после работы в лесу, я уже ни на что не обращал внимания и спал, как убитый.

Каждый барак имел своего дневального, который являлся не только уборщиком и следил за чистотой и порядком, но одновременно исполнял обязанности сторожа. Он должен был охранять наше имущество и

отвечал за него. Поэтому в наше отсутствие дневальный не пускал посторонних в барак.

Шакаля было достаточно в колонии, оно только и ждало случая, чтобы совершить кражу вещей.

Для этого они пользовались моментом, когда дневальный ходил за водой, колол дрова или отправлялся в туалет.

К счастью, всегда кто-нибудь из зэков находился на больничном и следил в отсутствие дневального за порядком.

Воровство каралось жестоко, и застигнутого на месте преступления били безжалостно, не ограничиваясь кулаками и ногами. Применяли палки, провода, веревки, все, что попадалось под руку. Часто после такого самосуда жертва надолго попадала в стационар.

Однажды вечером ко мне явился нарядчик Чаузский и шепнул заговорщически: могу вам сказать приятную новость — на днях должен приехать начальник санчасти.

Начальник санчасти

Два дня спустя, когда я после завтрака направился с другими зэками на вахту, увидел незнакомую стройную женщину лет тридцати-тридцати пяти, в строгом костюме защитного цвета. Она проверяла, как одеты рабочие, есть ли у них телогрейки, подходящая обувь, рукавицы...

Когда ее взгляд упал на меня, она задержала его ненадолго, а затем подошла ко мне.

— Не вы будете Генри Левенштейн? — женщина испытующе смотрела на меня, и казалось, что она видит меня насквозь.

— Да, это я.

— Я так и думала. Я это заметила по вашему лицу. Оно отличается от других. Да, я забыла сказать: меня зовут Кордэ Тамара Владимировна. Я начальник санчасти.

— Очень приятно.

— Вот что: за зону вам больше не надо ходить. С сегодняшнего дня вы работаете в санчасти. Я уже об этом говорила с начальником колонии Хачинским. Через полчаса я вас попрошу придти в мой кабинет. Хорошо?

— Да.

Перед этим я впервые увидел Хачинского. Он шествовал по зоне в окружении своей свиты, которая подобострастно пустила его вперед. Толстые губы, крючковатый нос и глаза навывкате говорили о его происхождении. Начальник колонии был хорошо упитан и двигался очень важно, не спеша, уверенный в своей значимости, и смотрел на зэков с выражением презрения и брезгливости. От такого человека жалости не жди. Он видел, вероятно, во всех нас только заключенных, неисправимых преступников, а в таких,

как я — злейших врагов народа, которых напрасно держат в местах заключений, вместо того, чтобы поставить к стенке.

Когда я зашел в стационар, меня встретила в коридоре Тамара Владимировна Кордэ.

— Пойдемте в аптеку,— предложила она,— там мой рабочий кабинет.

Аптека оказалась маленькой, узкой комнатухой со шкафами, кушеткой, столом и несколькими стульями.

— Садитесь,— мой шеф указала на кушетку, а сама устроилась на стуле, напротив меня.

— Я слышала, что вас направили на лесоповал.

— Да, это так.

— И что вы там делали?

— Работал лесорубом, а потом на «ледянке».

— В этом виновата моя болезнь. Я бы этого не допустила, но сейчас поздно об этом говорить.— Она сделала короткую паузу, вынула пачку папирос, закурила и посмотрела на меня испытующе.

Теперь я получил возможность спокойно разглядеть ее. Лицо у нее было узкое, волосы коротко пострижены, нос слегка изогнут, глаза большие и очень выразительные. Кожа имела несколько желтоватый, не совсем здоровый оттенок, возможно вследствие болезни. Правда, такой цвет лица имеют также заядлые курильщики. По внешнему облику ее можно было посчитать за южанку.

Больше всего меня поразил в этой по своему интересной женщине взгляд. Он словно просвечивал человека, как рентгеновский луч, угадывал, как мне показалось, все его тайные мысли.

— Перейдем к делу,— предложила она.— Я изучала ваше личное дело. Вы учились на пятом курсе Первого Московского медицинского института?

— Да.

— Вы успели его закончить?

— Даже не знаю. В сентябре 1941 года мы должны были закончить институт ускоренным выпуском и получить дипломы, но меня арестовали 11 сентября.

— Это сейчас не имеет существенного значения,— Кордэ стряхнула пепел в пустую консервную банку, которая служила пепельницей,— как вы, вероятно, уже знаете, во время моего отсутствия меня заменяла Лидия Васильевна Торбеева. Не хочу много говорить о ней. Во-первых, она не врач, а лишь медицинский работник, а во-вторых, на нее поступило очень много жалоб. Коротко говоря, Лидия Васильевна будет переведена в ближайшее время в другую колонию. Вы займете ее место.

— Какие будут у меня обязанности?

— Будете со мной вместе работать в стационаре, вести амбулаторный прием, а также следить за санитарным состоянием зоны. И еще одно: когда меня не будет, вы должны обязательно утром присутствовать на разводе. Питаться будете в стационаре, а жить здесь, в аптеке. Вас это устраивает?

— Конечно.

Тамара Владимировна рывком встала и открыла дверь.

— Вызовите Феклу,— приказала она кому-то.

В комнату вошла крепкая, полная женщина лет сорока с простым деревенским лицом. Вся ее внешность — мускулистые руки и ноги и широкие бедра говорили о том, что она всю жизнь занималась физическим трудом.

— Вот, Фекла,— это наш новый врач Генри Левенштейн. Он будет питаться здесь и жить в аптеке. Приготовь ему все необходимое — матрац, постельные принадлежности и халат.

— Хорошо, Тамара Владимировна.

Когда женщина ушла, мой новый шеф сказала:

— Золотой работник. Таких бы побольше. Настоящая рабочая лошадь. А вы знаете, за что она сидит? Никогда

не поверите — за убийство.

— За убийство? — Не укладывалось в голове, что эта славная на вид женщина способна кого-то убить.

— История довольно банальная. Она сама из деревни Княжна, недалеко от Йошкар-Олы. У нее двое дочерей, а муж был горький пьяница, который постоянно издевался над ними. Однажды, придя домой в состоянии сильного опьянения, он сначала жестоко избил жену, а затем детей и лег спать. Фекла больше не могла терпеть такую жизнь, взяла топор и ударила им мужа по голове. Женщина, как вы, наверно, заметили, очень сильная, и муж скончался на месте. Дали ей за это шесть лет.

— Да, что я вам хотела сказать? — Тамара Владимировна задумалась, положила ногу на ногу и снова закурила.— Вспомнила. Завтра, во время обхода в стационаре тщательно проверяйте больных. Как меня информировали, среди них есть такие, которым здесь делать нечего. Вы меня поняли?

— Да.

— Тогда займитесь сегодня своими делами, перенесите свои вещи сюда и отдохните. Не забудьте — в час дня обед.

Кажется, в моей жизни начиналась новая, светлая полоса и не верилось, что позади лесоповал, «ледянка» и мрачный, душный барак.

Не без волнения ожидал обед. После Шушер рацион мой был весьма скудным, и голод снова преследовал меня. Фекла принесла полную тарелку наваристого супа, миску, доверху наполненную кашей, кружку чая и солидный кусок хлеба. Наконец-то я снова испытал блаженное чувство сытости.

На новом месте я спал прекрасно. Никто не храпел и не портил воздух, а легкий запах медикаментов казался мне на удивление ароматным и успокаивал.

Утром после подъема я помылся, привел себя в порядок и пошел на развод, где меня уже ожидала Тамара Владимировна. Когда зэки прошли через вахту, она проверила каждого из них зорким глазом, как он одет. Двоих, у которых пальцы ног выглядывали из обуви, она вернула обратно.

— Здесь надо быть строгим,— объяснила она мне,— иначе нам не хватит мест в стационаре. А сейчас, Генри, идите, позавтракайте и займитесь обходом больных. На Торбееву не обращайтесь внимания. Я оставила ей еще несколько больных, и пусть она ими занимается.

Фекла дала мне чистый халат и шапочку, и я прошел по палатам. В основном лежали больные с простудными заболеваниями и мелкими травмами. Были также несколько стариков и хроников. Дистрофиков оказалось только трое, которые «дошли» на лесоповале.

В одной из палат я заметил Торбееву. Увидев меня, она бросила мрачный взгляд в мою сторону, но не поздоровалась. Она намеревалась вскрыть абсцесс на руке у довольно крепкого паренька. Я остановился, чтобы понаблюдать за ходом операции. «Лидочка» смазала нарыв настойкой йода, взялась за скальпель и со странным скрежетом зубов сделала сначала один, а затем почему-то еще второй разрез. Мне даже показалось, что ее схватила сладострастная дрожь. Больной взвыл от боли и, кажется, был готов ударить самозванного хирурга в зубы.

Меня удивило, что Торбеева не применяла анестезию. В аптеке оказалось много хороших медикаментозных средств, в том числе и хлорэтил американского производства. Обычно это обезболивающее средство продавалось у нас в разовых ампулах. Здесь же хлорэтил содержался в специальных флаконах с особым устройством вместо пробки.

Нажимая на него, хлорэтил вытекал из флакона тонкой струей.

Для вскрытия подобных абсцессов, как у этого больного, хлорэтил — незаменимое средство. Медсестра Тося Сабанцева, которая помогала в этой «вывисекции», рассказала мне позже, что Торбеева в таких случаях никогда не применяла обезболивающих средств и, видимо, получала удовольствие от подобных процедур. Без сомнения «Лидочка» была садисткой в буквальном смысле этого слова.

Больше я с ней не встречался. Через день после «операции» ее направили в Шушеры, где она, однако, также долго не задержалась.

Еще до того, как я стал работать в стационаре, я слышал разговор о том, что у Торбеевой любовник — бывший полковник, которого она оберегала от общих работ и держала уже долгое время в стационаре, придумывая ему все новые болезни.

Полковник Лебедев

Когда я начал обход, мое внимание привлек среднего роста мужчина лет сорока — сорока пяти, довольно хорошо упитанный, с интеллигентным, добродушным лицом. Своим внешним видом он мне напоминал Пьера Безухова из «Войны и мира» Льва Толстого. Он посмотрел на меня с каким-то виноватым и несколько испуганным выражением. Его правое ухо было забинтовано, и толстая повязка охватила почти всю голову.

— У вас травма? — спросил я его.

— Нет, воспаление среднего уха,— ответил больной не очень уверенно.

— Как вас зовут?

— Лебедев Михаил Петрович.

Это, оказывается, и был любовник «Лидочки».

— Хорошо, немного погодя я вас посмотрю,— я решил сначала познакомиться с историей болезни Лебедева. Я нашел красочное описание воспаления среднего уха, и создалось впечатление, что оно было списано с врачебного справочника. Здесь я нашел все: и боль разной интенсивности, закладывание, понижение слуха, ушные шумы, повышение температуры, доходящей иногда до 40°, и плохое самочувствие. И конечно, выделение гноя.

Торбеева потрудилась на славу. Остальные истории болезни были написаны весьма небрежно и поверхностно.

Я позвал «больного» в приемную и снова обратил внимание на его виноватое и боязливое выражение лица. Оно никак не соответствовало его высокому в прошлом званию полковника. Правда, он был не танкистом и не летчиком, но зато доктором военных

наук Академии им. Фрунзе. (Занимался историей войн). Вместе с другими военными академии, полковниками и генералами (всего 14 человек) он был приговорен к десяти годам лишения свободы за то, что высказал теорию Кутузова: «Со сдачей Москвы не погибнет Россия».

— Давайте сначала снимем повязку,— сказал я и начал разматывать бинт. Бинта Торбеева не жалела, так же как и ваты, которая толстым слоем закрывала правое ухо. Я ничего особенного не обнаружил, так же как и при отоскопии (метод осмотра наружного слухового прохода и барабанной перепонки). Не было покраснения барабанной перепонки, выпячивания ее экссудатом... чувствительности при надавливании на сосцевидный отросток, не было и гноя.

— Странно,— выразил я свое удивление,— но ухо у вас в порядке, и мне непонятно, зачем вы ходили с этой повязкой?

— Оно еще немного болит,— не очень уверенно прозвучал ответ.

— А гноетечение давно прекратилось?

— Дня четыре тому назад.

— Непонятно. В истории болезни написано, что оно отмечалось еще вчера.

— Это, видимо, ошибка.

Мне стало его жалко. У него было очень доброе лицо, и вероятнее всего, оно принадлежало весьма порядочному, но не очень волевому человеку.

— Вот что,— сказал я ему,— у меня создалось впечатление, что у вас ничего не было, и вся ваша болезнь выдумана. Но, как говорится, после драки кулаками не машут. Что было, то прошло, и будем считать, что у вас что-то было. Но в больнице, вполне естественно, я вас больше держать не могу. Вы меня поняли?

— Да.— Лебедев опустил голову.

В этот же день я выписал его из стационара.

Когда я рассказал об этом Тамаре Владимировне, она задумалась.

— А знаете, доктор, я его жалею. Это очень славный и порядочный человек, только не понятно, как он мог попасть под влияние Торбеевой. Я хочу его оставить в зоне. Он не приспособлен к жизни. На лесоповале он не выдержит и погибнет.

Лебедева мы устроили в цех ширпотреба не то учетчиком, не то еще кем-то. Что касается моих отношений с ним, то мы стали друзьями.

В сравнении с Ошлой и Шушерами, стационар в Первой колонии был значительно больше и оснащен лучше, особенно медикаментами. Я убедился в этом, когда перебирал аптеку. В шкафах стояли большие двух и трехлитровые банки и бутылки с желудочными каплями, настойкой валерианы и мяты, рыбий жир и многое другое. Мое удивление вызвала двухлитровая банка, доверху наполненная шпанскими мушками (кантаридином), средством от половой слабости.

Непонятно, для кого оно было предназначено.

Нашел я здесь и две баночки с большими кусками опия. Много было трофейных лекарств: ампулы со змеиным и пчелиным ядами, разные мази и тому подобное.

Что касается инструментария, то выбор оказался скудным: несколько скальпелей, иглодержателей, ножниц, шприцев...

В стационаре имелись палаты для мужчин и женщин, и рассчитаны они были на 40—50 больных. Все койки были заполнены и, как мне говорили, никогда не пустовали.

Обход больных не занимал много времени. Почти половина госпитализированных были зэками, которые «дошли» на лесоповале. Сравнительно много больных оказалось с травмами, правда, не очень тяжелыми.

Во время обхода меня сопровождала медсестра Тося Сабанцева, молодая женщина лет двадцати семи с мягкими округлостями и полными, чувственными губами, глаза которой говорили о том, что она постоянно жаждала любви.

Она очень добросовестно выполняла все поручения и считалась хорошим работником. Мне тогда было не до любви — я постоянно думал о Вале.

К тому времени я уже получил первое письмо от нее, за которым последовали еще два. Письма передала мне бесконвойная девушка, и для маскировки вместо моего имени было написано имя «Коля».

Я получаю письма

«Дорогой Коля! Пишу на авось, так как до сих пор не знаю, где «Ваша светлость» обитает. Ты не обижаешься на меня? Нет? Я бы хотела тебе объяснить причину того упаднического настроения, которого никогда до этого, кажется, не испытывала. За дорогу я передумала черт знает что и не могла придти ни к какому основательному выводу. Наше несчастье в том, что судьба нас свела, мы полюбили друг друга, быть может, поняли, а что выйдет из этого? Ничего, кроме мучения. Если посмотреть в будущее, больнее того. Жить же одним днем, не имея никакой надежды, ты и сам знаешь — это не так просто. Тем более мы уже в таком возрасте, что должны более реально смотреть на все. Да что говорить! Ты знаешь, что я хочу сказать. Но пойми, Коля, мне очень и очень трудно перенести все это, все, что складывается в моих глупых мыслях. Именно глупых. Если бы ты был рядом — я знаю, рассеял бы их.

Но ты видишь, я одна, и если рассказать кому-либо, уверяю, тебе скажут это же. Ну, а ты как? Все грустишь еще? Только прошу тебя, не расстраивайся, может быть, все уладится в нашу пользу. Я живу лишь мыслями о тебе. Последние три дня что-то особенно стала грустить и отчаиваться. Любовь к тебе отразилась не только на моральной стороне, но и на физической. Дошло до того, что не узнают меня, кто говорит в лучшую сторону, кто в худшую. То и другое меня несколько не огорчает и не радует. Я знаю, что ты меня любишь, а на остальное мне наплевать. Во всяком случае любить я смогу без всяких причуд и капризов — по-своему, просто и искренно. Часто писать не буду, не обижайся, кончаю. Будь здоров, целую».

Второе письмо начиналось несколько иначе.

«Дорогой мой, любимый Коля! Рассчитываю, что сие послание получил ты ко дню своего рождения. Ведь я же не забыла этот день, хочется поздравить тебя от души всего чего только хочется. Дай Бог, чтоб желания твои были исполнены, чтоб ты был здоров, бодр и главное, счастлив. Я послала тебе три письма, но знаю, что они тебе не понравятся. Ты знаешь, что я могу лишь расстраивать, такова тактика моего характера. Прошу: прости и не вини. Думаю, что ты меня понимаешь. Сейчас так скучно и трудно, что даже представить не можешь.

Бывают минуты, что кажется и жизнь невозможна. Все окружающее, все оставленное говорит о тебе. Безумно хочется увидеть тебя, рассказать тебе, как дорог ты мне, услышать от тебя что-нибудь ласковое, утешающее.

Ты единственный, кто понял меня, кого я полюбила... Потерять тебя будет очень трудно. Но я, как и ты, верю в судьбу. Очень бы хотелось узнать, как ты вообще себя чувствуешь, как настроение, новые условия.

Тебя видели и рассказывали, что ты очень изменился, похудел, что меня тронуло до глубины души. Даже сон видела сегодня, что ты очень здоровый, и обрадовалась во сне. Прошу тебя, не грусти. Займись тем, что может более всего рассеять тебя. Этим хочу сказать, чтобы ты окружил себя только тем, в чем можно забыться.

Мы поступили и рассудили, как дети, которым простительно строить в своей голове терема будущего. Не хочу сказать, что ты был

легкомысленным, но странностей в тебе довольно много. Все же, несмотря ни на что, я люблю тебя, люблю таким, какой ты есть, а не каким хочу. Прости за сумасбродное письмо. На этом кончаю. Целую тебя, твоя Валя».

После этого письма последовали еще два, в которых были и сомнения, и надежды.

«Дорогой Коля! Думаю о тебе очень много, но жду чего-то недоброго. Ты не обижайся на меня, но я ничего не могу придумать для тебя лучшего. Как люблю я тебя, ты уже знаешь, а что касается будущего — ничего не известно. Обрати внимание на письмо твоей матери — будущее никому не известно. И чаще бывает обратное тому, что мы планируем.

Она права. Я очень тебя прошу, не погружайся особенно в мысль о будущем, не фантазируй того, чего не может быть, не скучай.

Окружай себя тем, что могло бы рассеять твое мрачное настроение. Не правда ли, что порою мы были, как дети? И только сейчас стало видно, что это не так-то просто. Прошу тебя еще раз: не грусти... Надеюсь, что ты поймешь меня. Извини и не осуждай меня. Я люблю тебя по-прежнему, целую тебя, бесконечно твоя В.»

Перед Новым годом Валя послала мне еще одно письмо.

«С Новым, счастливым годом, любовь моя! Много счастья, Здоровья и всяких приятностей. Не обижаешься на меня, нет? Не надо, прошу тебя, не скучай, знай, что этим огорчаешь меня.

Я хочу лишь того, чтоб тебе всегда было хорошо. Не думай, что я изменилась. По-прежнему остаюсь собою. Люблю тебя больше, чем тогда (вспомни «Олесю» Куприна). Не думай никогда о глупостях и не обижайся, что редко пишу — знай, что это совсем не от меня зависит. Если ты рассчитываешь на большое терпение, значит, я твоя. Наша моральная поддержка одно самовнушение, иначе нельзя. Не обижайся, прошу тебя, поправляйся и береги себя от всяких невзгод. Будь здоровым и крепким. Целую тебя бесконечно, крепко, крепко...»

Письма меня не очень обрадовали. Слова «люблю» хотя и повторялись очень часто, но не реже высказывались сомнения...

У меня создалось впечатление, что Валя не верит в наше совместное будущее и старается укрепить меня в мысли, что любовь наша обречена.

Когда я читал ее письма, то часто вспоминал Милу, которая выражала свои мысли почти такими же словами, когда она ушла от меня.

Наступил Новый год, который в детстве был одним из самых моих любимых праздников. Когда я еще жил в Берлине и учился в младших классах гимназии, меня накануне укладывали спать пораньше, часов в семь-восемь вечера, а затем будили в одиннадцать. Зато я мог вместе со взрослыми встречать Новый год вплоть до утра. Это был самый веселый и шумный праздник. Шутили друг над другом, пили пунш и пускали ракеты с балкона. Угощали сахаром, который, плавал в стакане и не растворялся, шоколадными конфетами, начиненными перцем и горчицей, клали монеты в торт, заставляли тарелки плясать с помощью особого устройства, предлагали сигареты, которые взрывались...

В заключении этот праздник проходил почти незаметно, и лишь в Казанской «Пересылке» я пил в этот день вместе с инженерами «фирменный» ликер — смесь самогонки с вареньем.

Накануне Нового года, когда я вместе с Тосей Сабанцевой занимался отчетами, Тамара Владимировна пришла в стационар с двумя большими пакетами.

— Вот что, друзья,— сказала она, развертывая пакеты, в которых оказались большой кусок мяса, конфеты и пряники,— нам сегодня выдавали продукты, и вот я решила поделиться с вами в честь праздника. Из мяса можно сделать котлеты или фрикадельки, ну а конфеты и пряники к чаю.

— Большое спасибо,— ответил я, несколько удивленный этой щедростью,— но вам все это пригодится самой.

— Не беспокойтесь. Мне со своими стариками немного требуется.

Новый год отметили у меня в аптеке. Тося сэкономила немного спирта и разбавила его сиропом из шиповника с витамином «С». Закусывали котлетами из мяса, которое нам выделила Тамара Владимировна, и пили чай с конфетами и пряниками.

В этом пиршестве принимали также участие Фекла и фельдшер Иван Федорович Никулин — жирный подхалим лет сорока пяти. Он считал себя врачом и одно время работал в стационаре, но был затем переведен на какой-то подучасток и лишь изредка появлялся в Первой колонии. Затем он исчез совсем.

В колонии нередко встречались бывшие фельдшера, которые выдавали себя за врачей (как, например Торбеева) и одним из них был и Никулин. Он любил делать фальшивые комплименты, здоровался с низким поклоном и постоянно поправлял штаны. Панацеей от всех болезней считал хлористый кальций и широко применял крепкий раствор марганцовокислого калия

(10 % внутрь). Из мазей признавал только деготь. На него поступали бесчисленные жалобы от больных, для которых его способы лечения оказались едва ли не губельными.

Во время осмотров он заставлял молодых девушек раздеваться чуть не догола и усердно пальпировал их. При возможности он этим не ограничивался.

Услышав об этом, Тамара Владимировна избавилась от него, направив на один из подучастков.

Сейчас он сидел на кушетке рядом с Тосей, прижимался к ней и незаметно гладил ее бедра. Тося на это не реагировала. Это была моя последняя встреча с Никулиным. Больше он не показывался в Кузьмине.

Конец надежды

Вскоре после Нового года ко мне подошла бесконвойная девушка, которая приносила до этого письма от Вали.

— Вам привет,— сказала она.

— А писем нет?

— Только мне.

— Если там нет секретов, не дашь почитать?

— А вы очень хотите?

— Конечно.

— Ладно, но письмо невеселое.

— Все равно.

«Встретили Новый год. Не могу сказать, насколько было весело, но зато пьяно, а раз так — значит все хорошо. Я тоже принимала участие во всех направлениях, но на самом деле было не до чего. В душе было скучно, серо и будто «кошки скребли», и надо полагать, что будет так целый год. Мне вообще не везло в жизни, а в последнее время что-то особенно. Надоели до тошноты все дразги и сплетни. Сидеть в этой дыре и без них не великое удовольствие. Хочется уехать куда-нибудь подальше, где можно было бы хоть чуточку окружить себя моральным покоем. Мне хочется почему-то на юг, на море, особенно на море. Хочется увидеть людей, жизнь, которой я почти не видала. Может быть, стыдно говорить об этом в 23 года уже прожитых, но я не виновата, что молодость прошла, как осенняя капель дождя... привет Коле...»

Письмо меня удивило, а его интонация озадачила. Словно его писал совсем другой человек. Высказывались неудовлетворенность, разочарование в жизни, но не было сказано ни слова о любви и разлуке.

А концовка, официальная, «привет Коле», говорила о многом.

Я начал сомневаться в чувствах Вали. В том, что она меня любила и может быть еще любит, в этом я не сомневался. Другое дело, что ее сомнения и неверие в наше совместное будущее оказались сильнее любви. Она рассуждала как Мила, и боялась, что может потерять драгоценные годы в напрасном ожидании. В ожидании моего освобождения и счастливого конца.

Писем от Вали больше не было. Ровно пять месяцев спустя после нашей разлуки я узнал, что она вышла замуж за младшего лейтенанта, страстного футболиста и будущего начальника пожарной охраны. Они поженились после семидневного знакомства и не без участия начальника санотдела Слипченко, которая, видимо, являлась вдохновителем этого союза.

Валя даже не решилась мне написать о своем замужестве и ограничивалась молчанием. Для меня это было очередным ударом, хотя и не очень неожиданным. По последним ее письмам, в которых она выразила свое сомнение, что мы когда-нибудь окажемся вместе, я понял шаткость своих надежд и готовился мысленно к худшему. Правда, какая-то надежда на благополучный исход все-таки еще оставалась. И вдруг, как гром среди ясного неба, без предисловий и объяснений это сообщение.

Всегда, когда судьба готовит мне новое испытание, я стараюсь переубедить себя, что ничего не потерял, что так даже лучше, но на этот раз самовнушение не помогло. Просто потому, что я искренно любил эту девушку.

Сначала была обида: почему она сама не решилась написать мне обо всем, но потом понял, что могли быть веские причины. Переписка со мной, даже не называя меня по настоящему имени, была далеко не безопасной

и могла иметь (тем более перед свадьбой) весьма нежелательные последствия.

Письма, передаваемые мне через бесконвойных (последние нередко тщательно обыскивались), могли легко попасть в руки сотрудников колонии, которым не трудно будет выяснить, от кого они и кому адресованы.

Прошло всего каких-то два года с момента окончания войны, и понятие «немец» твердо ассоциировалось с понятием «врага» и «фашиста». Кто бы мог в такие годы посоветовать молодой девушке выйти замуж за представителя этой нации, к тому же заключенного и осужденного по политической статье. Такой союз считался бы в глазах многих своеобразной изменой родине. Я мог быть ей лишь благодарен, хотя бы за то, что она нашла силы дружить со мной и скрасила те дни, которые пришлось провести в Шушерах.

Кроме того, в ее возрасте ждать два года — неоправданный риск, тем более, когда это касается человека еще мало знакомого — практически лишь по работе, дальнейшая судьба которого не совсем ясна.

Сколько заключенных, осужденных по политическим статьям оставались в лагерях еще долго после окончания срока. Это тогда называлось: «до особого распоряжения», и Валя знала об этом хорошо. Правда, мне от этого не стало легче. Но главное — было жаль, что я потерял такого порядочного и милого человека.

Оставалось лишь два пути, чтобы восстановить душевное равновесие: окунуться в работу или же найти другую девушку. Сейчас легче всего было заняться основной работой, что я и делал.

Мой шеф и ее прошлое

Есть люди, для которых работа лишь средство для существования, но есть и такие, для которых она является смыслом жизни, заменяя семью и все остальное. К последним относилась Тамара Владимировна. Она практически весь день находилась на работе. Рано утром появлялась около вахты на разводе и возвращалась домой лишь к вечеру. Единственное — позволяла себе ходить домой обедать, и то далеко не всегда. Иногда она ела в стационаре или снимала пробу в кухне. Тамара Владимировна приходила всегда в одном и том же строгом, спортивного покроя костюме защитного цвета, поскольку другого не имела. Нижнее белье сшила себе из марли, вместо пальто носила короткую стеганку. Позже, когда мы с ней стали друзьями, я подарил ей цигейковую подкладку кожаной тужурки, чтобы она могла себе сшить теплую безрукавку.

Вольнонаемные жили далеко не припеваючи, хотя и получали паек, но, в отличие от моего шефа, большинство из них имели подсобное хозяйство, что являлось хорошим подспорьем.

Несмотря на весьма скудное питание, Тамара Владимировна всегда делилась с нами, особенно тогда, когда получала подарки от сослуживцев, которых она лечила, или их родственников.

Приблизительно в километре от колонии находилась деревня Кузьмине, а подальше еще несколько маленьких населенных пунктов, жители которых довольно часто обращались за медицинской помощью в колонию. В знак благодарности они обычно расплачивались продуктами: яйцами, мясом, молоком, маслом и тому подобное.

Меня удивило отношение моего шефа к людям. Она очень быстро знакомилась и всегда находила общий язык с ними, независимо от того, с кем имела дело, министром МВД МАССР или эком-уголовником.

Я не видел, чтобы она с неприязнью относилась к кому-нибудь. Правда, были у нее и свои «любимчики», к которым она относилась с особой заботливостью. Но это не означало, что она была мягкотелым и всепрощающим человеком. Она могла быть очень жесткой, принципиальной и решительной. Ненавидела ложь, обман и непорядочность.

Однажды она при мне дала бригадиру пощечину за то, что тот ее обманул. Интересно, что бригадир не обиделся. Через несколько минут инцидент был исчерпан, и Тамара Владимировна продолжала прерванную беседу, словно ничего не случилось.

Ее французская фамилия Кордэ меня заинтересовала.

— Откуда она? — спросил я ее однажды, когда мы с ней остались одни в аптеке. Тогда она рассказала мне довольно подробно о своей жизни.

Тамара Владимировна родилась в 1906 году в одной из станиц Кубани, недалеко от Краснодара, в зажиточной семье товарища прокурора Вольдемара Адольфовича Кроона, немца по национальности. Мать была украинкой.

Семья часто переезжала с места на место. Жили в Сочи и в Крыму, в Одессе и Новороссийске. Отец Тамары Владимировны экономист и юрист по образованию, работал управляющим банками в Сочи и Новороссийске, а когда началась Первая империалистическая война, решил заняться коммерцией. Он снарядил корабль под названием «Анна Кроон» (так звали жену) с табаком до Турции, раздал команде вперед зарплату и прогорел. В. Кроон на этом не успокоился и задумал заняться торговлей персидскими коврами, на которые потратил

все свое состояние. В 1918г. он отправил драгоценный груз со своим другом во Францию. Ковры прибыли благополучно в место назначения, но на этом сделка и кончилась. Друг заработал состояние и остался с чужими деньгами навсегда во Франции.

К тому времени В. Кроон разорился окончательно и после окончания гражданской войны переехал в Среднюю Азию. О том, что он работал управляющим банком и товарищем прокурора, Кроон решил умолчать. Времена были беспокойные, и он устроился простым бухгалтером.

Тамара Владимировна окончила к тому времени среднюю школу и поступила в Самаркандский медицинский институт.

На втором курсе она вышла замуж за студента Кордэ, но вскоре разошлась с ним. Вторым ее мужем на четвертом курсе стал профессор института Дробинский, но и этот брак оказался неудачным. Незадолго до войны они также разошлись.

В беспокойные тридцатые годы В. Кроон ненадолго оказался за решеткой. Национальность немец, к счастью, удалось переделать на шотландец, что его и спасло.

После окончания института Тамара Владимировна была направлена во внутренние войска, а в начале войны оказалась в Белоруссии, в Бобруйске, в регулярной армии. Вскоре, однако, она очутилась в войсках МВД и под бомбежкой двинулась с потоком заключенных на восток. По выходу из Белоруссии ее направили в МАССР и устроили в лагере военнопленных на участке Октябрьском. Несколько позже ее перевели в Кузьмине в ИТК № 1.

У Тамары Владимировны не было детей. После гражданской войны в Испании (1936—37) прибыло много детей в Советский Союз, в том числе и таких, которые потеряли своих родителей и стали сиротами.

Часть из них направили в детские дома и интернаты, остальные усыновлялись. Тамара Владимировна взяла себе на воспитание маленькую девочку, которая превратилась в интересную девушку, позже я с ней познакомился. Густые волосы цвета воронова крыла, кругловатое лицо с темными, миндалевидными глазами и полные губы говорили о ее южном происхождении. Немного портил лицо Инны, так ее звали, рубец на кончике носа — след «пендинки» (пендинской язвы или кожно-лейшманиоза).

Мой шеф была очень энергичным и деятельным человеком, не знала покоя и была готова работать сутками. Она бралась за все: обследовала больных, принимала роды, удаляла зубы и проверяла санитарное состояние зоны. От нас она требовала такой же отдачи.

Но лечебной работой Тамара Владимировна занималась лишь тогда, когда некому было поручить ее, или если она не доверяла своим помощникам. Сама предпочитала административную и профилактическую работу. Это была ее стихия.

Она стремилась улучшить условия жизни эков, выбивала у начальства теплую одежду и обувь для работяг, медикаменты, перевязочный материал и постельное белье для больных, следила, чтобы ослабленных не послали на лесоповал.

Если в других колониях и лагерях представителей интеллигенции или, как их называли, «вшивую интеллигенцию» с особым удовольствием и назло направляли на «общие», то она, наоборот, искала для них более подходящую работу. Вполне понятно, что Тамара Владимировна пользовалась большим авторитетом у эков, да и не только у них. Даже мрачный и крайне несимпатичный начальник лагеря Хачинский вынужден был считаться с ней.

Опасная затея

В колонии я встретил много старых знакомых из Ошлы, в том числе Василия Ковалева. Он был по-прежнему хорошо упитан, краснощек и уверен в себе.

Занимаясь вопросами производства, Ковалев проводил основное время на лесосплаве и в зоне показывался не очень часто. Однажды он прибежал в санчасть с испуганным и бледным лицом.

— Приготовьте, пожалуйста, все необходимое. У меня на производстве двое пострадали. Их сейчас привезут.

Вскоре доставили двух заключенных на носилках. Один из них был уже мертв, другой в бессознательном состоянии с признаками перелома основания черепа.

Обстоятельства несчастного случая были довольно необычными, точнее необычной была сама работа, которую должны были выполнить потерпевшие.

Ковалев вздумал перевезти большой сруб метров на пятьдесят волоком. Для этой цели он закопал в землю большой толстый столб, но так, что его можно было вертеть, и прикрепил к нему толстый канат. Под прямым углом к этому столбу приладили на высоте около полутора метров длинный брус, за который держались шесть рабочих. Конец карата привязали к срубам.

По команде Ковалева зэки начали двигаться против часовой стрелки по кругу, наматывая, таким образом, канат на столб, и слегка сдвинули сруб. Но дальше дело не пошло. Канат был натянут, как струна, и когда двое рабочих перестали напрягать свои силы и только для вида держали руки на перекладине, она пошла в обратную сторону, как пружина, которую отпустили. Те четверо, которые грудью прижались к ней, были

отброшены, а двое других получили сильнейший удар в голову.

Зэк с переломом основания черепа пришел в себя только на шестой день и еще долго находился в стационаре на лечении.

Ковалев отделался легким испугом и избежал наказания. Возможно, это была не его выдумка, перетаскивать сруб подобным образом.

Вскоре случилось еще два ЧП, на этот раз на лесоповале. Один из пильщиков — немец из Поволжья, увидев падающий на него ствол дерева, побоялся переступить в запретную зону и получил сильнейший удар верхушкой по голове, от которого скончался на месте. Он знал нравы стрелков, которые только и ждали удобного момента, чтобы нажать на спусковой крючок автомата. Об этом красноречиво говорил второй случай.

Бывший рабочий из поселка Юрино решил поднять бревно, лежащее на шаг дальше запретной зоны, нагнулся, схватил его и получил пулю в грудь. Когда его привезли в стационар, мы были крайне удивлены. Пуля вошла во второе межреберье справа, прошла под грудину и вышла во втором левом межреберье, не задев крупных сосудов. Лесоруб остался жив. Позже, когда он был уже освобожден, я встречал его неоднократно в Юрине. Он работал возчиком в райпотребсоюзе.

На лесоповале работало несколько немцев из Поволжья и Одессы, которые были осуждены по бытовым статьям.

Одного из них, молодого паренька со странной фамилией Кари, мне пришлось перевести в зону.

Он пришел на прием высокий, очень худой и бледный.

- Что случилось? — спросил я.
- Нога болит.
- Покажите!

Парень снял брюки, и я увидел на левой голени повязку, пропитанную кровью и гноем. Я разбинтовал ногу. В середине голени оказалась глубокая, гноящаяся рана с воспаленными краями, точнее свищ. Не требовалось больших знаний, чтобы поставить диагноз остеомиелит.

— После огнестрельного ранения?

— Да, от осколка бомбы.

— А где его получил?

— В Италии.

— В Италии? — удивился я.— Как ты попал туда?

— Когда немцы заняли Украину, меня мобилизовали и отправили в Италию. А ранение я получил во время американского наступления.

— А кто тебя послал на лесоповал?

— Торбеева.

— Она что, не видела твою ногу?

— Видела, но сказала, что это ничего, и можно работать в лесу.

Я положил Кари недели на две в стационар, а затем устроил его на работу в цех ширпотреба.

В местах заключений я встречал неоднократно немцев из Поволжья, которые воевали на стороне Германии. Были и такие, которые служили в войсках СС. У последних в левой подмышечной впадине имелась татуировка с обозначением группы крови — О, А. В. АВ.

Работы в стационаре было значительно больше, чем в Ошле и Шушерах. Часто поступали зэки с переломами, в том числе бедра. Тогда мне приходилось с Тamarой Владимировной сооружать из дощечек хитроумные шины для вытяжения, которые могли бы помочь правильному сращиванию.

«Мичуринская прививка»

Особого внимания и постоянного наблюдения со стороны медицинских работников требовали зэки с венерическими заболеваниями — гонореей и сифилисом. Чаще всего это были уголовники-рецидивисты.

Согласно блатным законам «ворам в законе» запрещалось не только трудиться, но и иметь семью, и поэтому случайные связи были у них правилом, что способствовало заражению венерическими заболеваниями.

Зэки, страдавшие сифилисом, весьма охотно заявляли о своей болезни, чтобы продолжить курс лечения и, главное, остаться в зоне.

Мы проводили лечение биохинолом и новарсенолом (внутримышечно и внутривенно), что вынуждало нас устраивать больных в зоне.

Но наша задача состояла еще и в том, чтобы следить за их поведением и препятствовать распространению болезни. Нередко отмечались случаи, когда болевшие сифилисом или гонореей, несмотря на запрет, вступали в половые контакты. Иногда приходилось проводить тщательный медицинский осмотр всех зэков, чтобы выявить возможных больных.

Желание не угодить на лесоповал было у зэков так велико, что некоторые из них не гнушались выдать себя за больных сифилисом.

Леля Кольцова, молоденькая, светловолосая восемнадцатилетняя девчушка, осужденная по статье 162 (воровство), с которой я был в хороших отношениях, как-то пришла ко мне на прием и, посмотрев на меня невинными голубыми глазами, сказала просто:

— Доктор Генри, посмотрите меня, пожалуйста, кажется, я поймала сифилис.

— Ты что болтаешь, Леля,— не хотелось верить, что у этой симпатичной девушки действительно сифилис.— Почему ты так думаешь?

— Я нашла «розочку» (блатное выражение для сифилитической язвы).

— Розочку? Где?

— Ну там, внизу,— девушка слегка смутилась.

— Что ж, придется посмотреть тебя.

На внутренней поверхности больших губ я обнаружил округлую язвочку, мягкую на ощупь, с воспаленными краями и очень болезненную. Регионарные лимфатические железы не были увеличены.

Картина была для меня ясная. Таких язвочек я видел с десятков, если не больше.

— Чем прижгла? — спросил я,— папироской?

— Я ничего не делала,— Леля посмотрела на меня с вызовом.

— Вот что, Леля, давай не будем спорить. Ты мне веришь?

— Да.

— Тогда слушай. Знаешь, как выглядит сифилитическая язва?

— Она, кажется, круглая.

— Да, в этом ты права, она действительно круглая, но это еще не все, важнее другое.— Сифилитическая язвочка чаще всего покрыта «сальным налетом» с отчетливым уплотнением. Поэтому она и называется твердым шанкром. Она, запомни, безболезненная, не как у тебя, и лимфатические железы должны быть увеличены. А у тебя в паху они даже не прощупываются. Вот и все.

Девушка задумалась.— А может быть вы не правы?

— Ты хочешь, чтобы у тебя взяли кровь на реакцию Вассермана? Что это дает? В больницу из-за этого тебя не положат. А когда ответ придет отрицательный, тебя могут посадить в карцер за обман, а может быть, и за членовредительство. Ты же знаешь, что Тамара Владимировна больше всего не любит, когда ей говорят неправду. Скажи честно, зачем ты это сделала? Обещаю — все останется между нами.

— Хотела немного отдохнуть в больнице. Девчата сказали мне, что сифилитиков обязательно кладут на койку. А потом возьмут кровь и ждут ответа. А пока придет ответ, может пройти целый месяц.

— Да, если есть подозрение на сифилис, то больного, конечно, госпитализируют. Но у тебя — другое дело. Сразу видно, что это — искусственно сделанная язвочка. Давай, Леля, по-хорошему: лучше приходи ко мне на прием, если ты устала, и честно скажи об этом — я тебя освобожу. Понятно?

— Да,— сказала она тихо,— простите меня, Генри.

Меня обычно называли по имени, даже следователи и многие эки вообще думали, что Генри моя фамилия.

Амбулаторный прием я проводил обычно с одной из медсестер, но иногда на нем присутствовала и Тамара Владимировна. Как и во всех лагерях здесь также встречалось немало симулянтов, которые разными способами старались получить освобождение от работы. Все эти способы: искусственное повышение температуры, «мичуринские прививки» (искусственно вызванные абсцессы и флегмоны) учащенное сердцебиение после приема настойки табака и чифира (пачка чая на стакан воды) и тому подобное мне были хорошо известны, и таким образом не удавалось у меня получить освобождение.

Мы всегда измеряли температуру, когда это требовалось, но не всегда придерживались показаний градусника и освобождали при необходимости больных

и тогда, когда ртутный столбик находился ниже отметки 37° , что считалось нарушением порядка.

Сектанты

Однажды пришли на прием двое юношей лет 20—22, худенькие, бледные и очень скромные на вид. Они в нерешительности остановились около моего стола и не знали, видимо, что сказать. Как принято, я спросил сначала фамилию, имя, отчество, год рождения, статья и срок, и лишь потом задал вопрос: на что жалуетесь? Оказывается, обоих юношей судили по статью 193 (военная) и дали срок по десять лет.

— Мы ни на что не жалуемся,— ответил один из них.

— Тогда зачем пришли? — спросил я с удивлением.

— Мы верующие.

— Ну, и дальше что?

— Наша вера не позволяет работать по воскресеньям, а завтра воскресенье, и нас гонят на работу.

— А если не пойдём,— добавил другой,— нас могут посадить в карцер или прибавят срок.

В военные годы за отказ от работы зэков нередко судили по статье 58—14 (саботаж) или, если везло, сажали в карцер суток на десять. В 1946 году отказников, может быть, уже не судили за саботаж, но по головке не гладили.

— Как быть? — обратился я к своему шефу,— мне кажется, что надо им помочь.

— Вот что, мальчики,— обратилась она к юношам и по привычке положила ногу на ногу,— давайте условимся: когда вас пошлют в воскресенье на работу, приходите сюда. Мы вас освободим от работы, но, предупреждаю заранее, об этом никому ни слова, иначе неприятности будут и вам, и мне. Поняли?

— Мы вас поняли.

— И чтобы вы знали, я запишу сейчас в амбулаторный журнал, что у вас понос, и поэтому освобождаю от работы. Кстати, за что вас судили?

— Нас судили за то, что отказались служить в армии. Когда должны были давать присягу, мы вышли из строя и объяснили, что наша вера не позволяет носить оружие.

— Понятно. А сейчас, мальчики, идите в свой барак и мой вам совет: не шатайтесь напрасно по зоне пока «болеете», — напутствовала их, улыбаясь, Тамара Владимировна.

— Большое вам спасибо, — ответили радостно сектанты и покинули амбулаторию.

— Жалко ребят. Так они могут ни за что еще раз получить срок,— высказалась мой шеф вздыхая.

Эти ребята были не одни, кто сидел за свои религиозные убеждения. Несколькими днями позже в колонии проводились прививки поливалентной вакциной против желудочно-кишечных инфекции, во время которых одна из заключенных, молодая девушка, потеряла сознание. Я сразу обратил на нее внимание. Бледное, типично русское лицо с правильными чертами, большими темными и печальными глазами, тонким носом и красиво очерченными губами, гладкими, черными, аккуратно зачесанными волосами, сразу вызывало симпатию.

Поразило меня странное выражение покорности в ее глазах. Казалось, что эта девушка была готова перенести безропотно все тяготы, которые ей приготовила судьба.

Когда девушка вошла в амбулаторию, она остановилась перед нашим столом, скромно опустила глаза и тихо шепнула:

— Я очень боюсь уколов. Мне после них плохо.

— Послушайте ее,— предложила мне Тамара Владимировна. Девушка сняла кофточку, и я увидел

худенькое, бледное тельце, выступающие ключицы и небольшие острые груди.

— Сердце и легкие в норме,— сказал я,— ничего не могу поделать.

— Да,— прервала меня Тамара Владимировна,— придется сделать укол.

Тося Сабанцева сделала укол. Я видел, как лицо девушки еще больше побледнело, и она зашаталась. Я успел ее схватить, положил на кушетку и дал понюхать нашатырный спирт. Она открыла глаза и как-то виновато посмотрела на меня.

Мне было неловко перед ней, но что я мог поделать. В этих местах словам не верят.

— Тамара Владимировна, а может быть, положим ее в стационар,— предложил я.

— Вы правы, Генри, пусть немного отдохнет. Слабенькая девушка. А если ее включили в список этапников, я вычеркну ее.

Девушка посмотрела на нас благодарными глазами и тихо сказала: спасибо.

Звали ее Капитолина, и лежала она в женском бараке на нарах вместе с пожилой женщиной-монашенкой. Обе были арестованы и осуждены вместе на пять лет за то, что где-то в одной избе собирались с другими деревенскими жителями и молились.

Я подумал: какая жестокость отправлять такую тихую и славную ни в чем неповинную девушку в тюрьму. Кто же придумал такой человеконенавистнический закон, и какие подлецы применили его на практике?

Капу переодели в белое чистое белье и положили в стационар. Все заботились о ней и старались кормить получше. Ее полюбили сразу за скромность и тихий нрав. Особенно она сдружилась с Феклой, которой начала помогать в работе.

Почти месяц мы держали Капу в больнице. За это время она очень сильно поправилась и стала неузнаваемой.

Мне часто приходилось проверять работу бани и дезкамеры и следить за санобработкой заключенных, и вот однажды, зайдя в моечную, я наткнулся на Феклу и Капу, которые мылись.

Я увидел стройную, прекрасно сложенную девушку с круглыми плечами, крутыми бедрами и плотными грудями. Девушка покраснела и пыталась прикрыть груди рукой, мне показалось, больше для вида. Я заметил на ее лице лукавую улыбку, которая не выражала огорчения от того, что я увидел ее обнаженной. Наоборот, Капа радовалась и гордилась, что она такая красивая, и хотела, чтобы я знал это.

К сожалению, наступил тот день, когда мы вынуждены были выписать ее из стационара. Через несколько дней Капу включили в список этапников. Накануне она зашла ко мне в аптеку попрощаться. Девушка, краснея от смущения, села рядом со мной на кушетку и не знала, что сказать. Ее коричневые глаза смотрели на меня грустно и ласково и ждали чего-то. Я обнял ее и поцеловал в губы. Она ответила, и чувствовалось, что делала она это впервые. Моя рука прошла по ее округлым плечам и коснулась груди. Капа вздрогнула и густо покраснела. Она очень нежно взяла мою руку и сказала тихо: «Не надо»,— но не отодвинула ее. В ее глазах блеснули слезы. Прощание далось ей не легко. Она потеряла самое главное для этих мест — надежную защиту от зла. Пока она была под крылом Тамары Владимировны и моим, ей ничего не грозило. А что будет впереди — неизвестно.

Ей было еще вдвойне тяжело — она полюбила. Это я почувствовал.

Я всегда удивлялся, с какой ненавистью наша власть относилась к религии и как беспощадно

боролась с ней, не меньше, чем с политическими противниками. А мне всегда казалось, что десять заповедей достойны того, чтобы уважать христианскую религию.

Еще в школе, до войны, нам вдалбливали в голову, что «религия опиум для народа», и всякими способами пытались сделать из нас «воинствующих безбожников».

Специально организовывали антирелигиозные вечера, где учитель-химик «превращал» воду в «красное вино», а биолог использовал учение Дарвина, чтобы убедить нас в том, что Бога нет.

Постоянно выступали агитбригады, основными мишенями для насмешек у которых были: капиталист с брюшком, с цилиндром на голове и денежным мешком, кулак в сапогах, шапке с козырьком и в тужурке, поп с красным носом пьяницы, в рясе и с крестом в руках. И кулак, и поп, конечно, тоже были толстяками.

Руководил антирелигиозной пропагандой в стране академик АН СССР Емельян Михайлович Ярославский (Губельман Миней Израилевич), который был ответственным редактором газеты «Безбожник», журналов «Антирелигиозник» и «Безбожник». Он выпустил книгу «Библия для верующих и неверующих», которая широко рекламировалась. Существовал еще журнал со странным названием: «Безбожник у станка» (1923— 31 гг.)

Это Ярославский-Губельман вдохновлял трудящихся, и особенно молодежь, сбросить колокола с колоколен, рубить иконы топором на дрова, после того, как с них сдирали оклады, сжигать церковные книги. Тогда еще не собирали макулатуру.

В церковные праздники организовывали вблизи церкви свои антирелигиозные мероприятия (так называемое «торжество правды»), показывали кинофильмы (это было и в Йошкар-Оле), чтобы мешать верующим и отвлекать их.

Вдохновителем борьбы с религией был Ленин, который считал ее одной из самых гнусных вещей, какие только есть на земле. Он был прямым инициатором массовых кампаний против православия.

Были закрыты монастыри, часть церквей, реквизировано их имущество. Церкви лишились прав юридического лица. Затем (с осени 1918 г.) начались массовые аресты православных священников, после которых главным действием стали кощунственные акты вскрытия святых мощей (Сергия Радонежского и других).

Позже силы были направлены на раскол церкви изнутри (1920—22 гг.), сторонникам обновленной православной церкви обещалась поддержка государства, если они, являясь противниками патриарха Тихона (предавшего советскую власть анафеме), будут признавать «богоустановленность советской власти».

С начала 1922 года Ленин развернул последнюю в своей жизни антирелигиозную кампанию, цель которой — ограбление всех «богатых» церквей и расстрел при этом максимального числа православных священников.

Всего с 1917 по 1922 гг. около 8000 священников пали жертвами большевистского террора.

Но и после смерти Ленина преследовались священнослужители и верующие, хотя Сталин говорил, что каждый гражданин имеет право исповедовать любую религию. В этом я мог убедиться многократно в местах заключения.

Что касается меня, то я — лютеранец, но с большим уважением отношусь к православию. Я считаю, что главное для любого христианина — соблюдать библейские заповеди и особенно постулат о любви к ближнему. Работая врачом в местах заключения, я всегда пытался оказать необходимую помощь, даже когда она грозила нежелательными последствиями.

Барнау

Как и во всех колониях и лагерях зэки, осужденные по 58-й статье, размещались в бараках отдельно от бытовиков и уголовников. Приблизительно так, как изолируют чумных от здоровых людей, чтобы их не заражали. Работали они, правда, вместе со всеми остальными зэками, так как, видимо, по мнению начальства, условия труда не очень способствовали крамольным беседам на политические темы.

Настроение большинства из них было подавленное, так как многие рассчитывали на амнистию после окончания войны, в связи с победой над гитлеровской Германией. Всего по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 20.07.1945 г. было освобождено 391450 человек, в МАССР более 1500 человек.

В колонии о политике почти не говорили, и даже в бараке для осужденных по 58-й статье. Страх обуревал здесь всех людей больше, чем на воле. В каждом бараке, в каждом цехе, в каждой бригаде были свои «стукачи», которые о любых высказываниях на политические темы, да и не только, докладывали «куму». Последнему необходимо было вылавливать «вражеские элементы», орудующие среди зэков, саботажников и тому подобное. Голубой мечтой любого «опера», однако, было обнаружение группировки антисоветски настроенных лиц, чтобы получить повышение в звании.

Вот поэтому я редко слышал, чтобы политические заключенные делились с кем-нибудь о причине их ареста. Даже закадычные друзья избегали эту тему и если касались случайно, то только в отсутствии третьего лица.

Были, однако, исключения, когда эки смело высказывали свои взгляды, не боясь последствий и лагерных статей. Это касалось в первую очередь арестованных за свои религиозные убеждения. Хорошо помню в Казлаге зубного врача Котляревского, который в лагере резко критиковал советскую власть за преследование верующих. Кончилось тем, что Котляревского вновь осудили, на этот раз в лагере. Ему дали высшую меру наказания — расстрел.

Такую же своеобразную смелую личность я встретил и здесь, в Кузьмине. Барнау Валентин Павлович 1898 г. рождения, по специальности художник-оформитель, был в ноябре 1941 г. осужден по 58-й статье на 6 лет 10 месяцев. Он работал в колонии по своей специальности и чаще всего находился на клубной сцене, где орудовал кистью. Как художник, он мало отличался по своим способностям от Пшеничникова, зато профессионально писал плакаты.

Когда мы с ним познакомились, он сразу задал мне вопрос:

— Вы, наверно, тоже по 58-й?

— Почему вы так думаете? — удивился я.

— По физиономии. Ваше лицо интеллигентное и не смахивает на блатного или бытовика.

— Спасибо за комплимент. Вы правы. Меня осудило ОСО как социально-вредный элемент.

— Тоже придумали название: СВЭ. Можно было думать, что вы занимались грабежом, растлением малолетних, торговали наркотиками или приводили заводскую аппаратуру умышленно в непригодность. Наверно, были простым «болтуном», который удивлялся быстрому передвижению немецких войск в начале войны или что-то в этом духе.

— Приблизительно было так,— ответил я неопределенно. Я не хотел касаться этой темы. Пуганая ворона куста боится.

— Наверно, тоже думали, что после 45-го года нас отпустят?

— Как сказать? Была лишь небольшая надежда, что «скосят» немного срок.

— А я заранее знал, что ничего подобного не будет. Они лучше освободят бандитов, но не нас. Нам с вами «припаяли» одинаковое обвинение — антисоветскую агитацию, а это, по мнению коммунистов, хуже грабежа и изнасилования. Еще Ленин предлагал за пропаганду или агитацию, «объективно содействующую международной буржуазии», расстрел или высылку за границу.

Я невольно оглянулся вокруг, не слышал ли еще кто-нибудь этот разговор.

— Не бойтесь,— увидев мой тревожный взгляд, сказал Барнау,— я не провокатор, да и вам, мне кажется, можно доверять. Я, как художник, физиономист вижу по вашему лицу, что вы порядочный человек.

В другой раз, когда я зашел к нему, Барнау сразу принес чайник с кипятком.

— К сожалению, могу вас угостить лишь фруктовым чаем,— сказал он извиняющимся тоном,— но другого здесь не достать.

— А мне все равно. Я уже привык к нему.— Эти твердые кирпичики с сушеными яблоками и грушами были мне хорошо знакомы еще с Казлага.

— Есть ли у вас здесь друзья? — поинтересовался он.

— Пока лишь Цуккер. Он порядочный человек.

— В этом вы правы, но он трус невероятный. С ним можно говорить лишь о Пушкине и Чайковском. А меня интересуют другие вопросы, например, долго ли еще будем жить в такой кабале? Когда за справедливую критику перестанут ставить к стенке. Наверно, до тех пор, пока жив «кавказец». А вы как думаете?

— Трудно сказать,— мямлил я.

— Между прочим,— продолжал мой собеседник,— многие думают: был бы жив Ленин — все было бы иначе. Ничего подобного. Ленина любили изображать как добренького, простого мужичка с кошечкой на коленях, который плясал с детьми вокруг новогодней елки и внимательно слушал крестьян-ходоков. Это был жестокий человек. Это при нем были организованы первые концентрационные лагеря, это при нем в 1921—22 годах умерло от голода пять миллионов человек, а в это же время продали за границу 50 миллионов пудов зерна.

— Могу ошибаться,— прервал я Валентина Павловича, чтобы направить разговор в другое, менее опасное русло,— но мне кажется, что Киров не допустил бы массовых репрессий.— Я относился к Кирову с определенной симпатией уже потому, что он был альпинистом, еще до революции поднялся на Казбек и Эльбрус и написал об этом в газете «Терек» восторженные статьи.

— Не уверен,— ответил Барнау.— Он был для Сталина опасным конкурентом, потому его и убрали, поскольку он пользовался большой популярностью у народа. А вообще, мне кажется, что дело не в Ленине, Сталине или Кирове, а в системе. Система породила таких уродов как Ягода, Ежов, Берия... да и не только. Чем лучше Каганович или Молотов? Даже хваленый «Всесоюзный староста» Калинин, любитель балерин, не отставал от других и спокойно подписывал самые бесчеловечные постановления, которые ему клали на стол. Он оставлял без рассмотрения прошения о помиловании репрессированных людей и даже собственную жену не вытащил из лагеря. Все они палачи. Разница лишь в том, что у одних больше жертв на совести, чем у других.

Мне этот разговор не очень нравился, тем более, что Барнау я не знал достаточно хорошо.

Я имел печальный опыт того, что люди, которым я верил и с которыми дружил годами, продавали меня с потрохами, и поэтому опасался вести беседы на подобные темы. Особенно когда они затрагивали «святое святых» — вождей партии и правительства.

Я был поэтому рад, когда меня наконец вызвали в амбулаторию. В дальнейшем я избегал подобных встреч с Валентином Павловичем. Правда, его вскоре перевели в другую колонию. К нему очень подходила пословица: «язык мой — враг мой», что и подтвердилось осенью 1948 года, когда он снова был осужден. На этот раз в колонии.

Этапы. Ходов

Почти еженедельно проводились медицинские осмотры, цель которых определить — годны ли зэки для этапа или нет. Эти комиссии всегда напоминали мне невольничий рынок, откуда люди, независимо от их желания, отправлялись в далекие края. Нередко проливались горькие слезы. Могли разлучить дочку с матерью, отца с сыном, а чаще всего зэков, которые нашли здесь свою любовь.

Если в Чистопольской тюрьме или Казанской пересылке зэки нередко должны были предстать перед комиссией совершенно обнаженные, в чем мать родила, и основное внимание обращалось на состояние ягодиц, то здесь мы ограничивались тем, что выслушивали сердце и легкие. Лишь в редких случаях, когда зэк смахивал на дистрофика, мы просили его спустить штаны.

Список этапников составляло руководство колонии с участием нарядчика и начальника производства, но требовалось еще заключение начальника санчасти, то есть Тамары Владимировны. Она могла вычеркивать любого из списка, если она считала, что он по состоянию здоровья не может следовать в этап, и этим правом пользовалась нередко.

Составление списка этапников — болезненный процесс, который затрагивал многих. Хорошо, если в заявке, которая поступила из центра, требовалось лишь человек 50—60, другое дело, когда 100 и более. Тогда приходилось включать в список не только простых работяг, но также весьма нужных людей и придурков.

В колонии существовала тесная связь между придурками — заведующими столовой, пекарней, мастерскими, баней и так далее, а также бригадирами.

Повар кормил их получше, и за это ему шили френч или галифе. Банщик давал пекарю побольше мыла и получал за это лишний хлеб. Медики вычеркнули сапожника из списка этапников, им за это сшили бурки. Кладовщик предоставлял свое помещение нарядчику для интимных встреч, за что он и получил свое теплое место и тому подобное.

В эту связь входили и вольнонаемные, которые заказывали себе тайно, без наряда, брюки, юбки, сапоги... Все они были заинтересованы в том, чтобы нужные им люди не попали в этап.

Кроме того, почти все придурки имели своих лагерных жен, с которыми не хотели расставаться, и в таких случаях единственным спасением были медики и, в основном, Тамара Владимировна.

Она часто помогала и выручала, но, в отличие от всех остальных, не из-за корысти, а из-за сочувствия и доброты. Она жила не для себя, а только для других.

Однажды Тамара Владимировна неожиданно пришла ко мне в аптеку вечером.

— Гарик,— сказала она, закуривая,— завтра отправляется этап. В список включили Ходова. Ты его знаешь хорошо (мой шеф к тому времени перешла на «ты») он из Копорулихи, совсем близко отсюда. Там у него жена и дети. Он язвенник и держится только за счет передач из дома. Там, на Урале, куда отправляют этап, он погибнет. Я его из списка вычеркнуть не могу — отправляют всех, кого только можно. Может быть, придумаешь что-нибудь?

Ходов — низенький, плотно сбитый мужичок, был прекрасным портным и очень славным человеком. Я его хорошо знал по амбулаторному приему.

— Да, трудная задача.

И вдруг я вспомнил интересное наблюдение. В колонии были два сифилитика, которые у меня проходили лечение. Все шло нормально, но вот

однажды, после инъекции новарсенола у больных минут через тридцать появился озноб и температура поднялась до 40°C. Это повторилось второй и третий раз, и лишь когда я взял ампулы другой серии, эти осложнения исчезли. Видимо, эта партия оказалась некачественной.

Я рассказал об этом случае Тамаре Владимировне.

— Есть только один выход — сделаю ему инъекцию новарсенолом, авось «поможет».

— Другого выхода, видимо, нет,— ответила она.

На следующий день, за час до отправки этапа, Ходов пришел ко мне, и я ему ввел внутривенно новарсенол из той бракованной коробки. Конечно, это был рискованный эксперимент, но мог спасти ему жизнь.

Ходов пошел в свой барак за вещами, а затем направился к вахте, где уже находились остальные этапники. Минут через пять у него начался такой чудовищный озноб, что дежурный по зоне срочно вызвал медсестру. Она сразу измерила температуру. Градусник показал 39,8° С, и Ходова сразу направили в стационар. Мы поставили ему диагноз «малярия» и держали еще дней пять на койке.

Больше его не включали в этап, и он остался до конца срока в Кузьмине.

Дни перед отправкой этапа были всегда напряженными, нередко отмечались ЧП. Кузьмине, как обычно называли ИТК № 1, не было раем на земле, но эки из местных жителей предпочитали остаться здесь, а не быть направленными на Урал или еще дальше. Многие из них получали передачи, и им разрешали свидания с родными, что было большой поддержкой, в том числе и моральной.

Уголовники относились к этапу по-разному. Те, которые устроились бригадирами, не мечтали покинуть насиженные места — им было и здесь хорошо. Другие,

наоборот, стремились попасть в дальний этап, где могли встретить своих корешей и развернуться вовсю, наслаждаясь разудалой блатной жизнью.

Иногда, когда разлучали уркагана со своей марухой, могли случаться ЧП. Если его одного включили в список, он мог попросить нарядчика за определенную мзду, чтобы и ее отправили в этап, или же старался сам остаться в зоне. В последнем случае существовало два способа: можно было накануне отправки спрятаться в зоне, что грозило потом карцером суток на десять, или же найти средство попасть в стационар.

Для этой цели применялись более сильные средства, чем настойки табака или чефир. Пили крепкий мыльный раствор, чтобы вызвать понос, проглатывали толченое стекло, делали «мичуринские прививки», наносили себе увечья.

Марухи тоже применяли подобные средства, чтобы избежать разлуки, и пожалуй, чаще своих возлюбленных.

А вообще-то эки не очень близко принимали к сердцу потерю своей «забавы» и быстро находили ей замену.

Стационар был голубой мечтой не только всех доходяг и стариков, но и большинства эков. Не зря они остряли: душа болит о производстве, а ноги тянутся в санчасть.

У нас койки никогда не пустовали. Когда они оказывались свободными, их использовали, чтобы положить ослабленных эков, превращая стационар частично в своеобразный дом отдыха. Для этой цели, однако, приходилось придумывать подходящий диагноз, превращая, например, простого пожилого человека в больного с диагнозом: кардиосклероз в стадии субкомпенсации, или, когда это худой юноша, писать в истории болезни: дистрофия 1—2 степени с кишечными явлениями.

Каждый день я выделял часа полтора, чтобы пройтись по зоне, и не только ради проверки ее санитарного состояния, но также для разминки и развлечения.

Днем в бараках было пусто, и в них находились дневальный и освобожденные от работы. Осматривая бараки, я всегда интересовался больными, которые далеко не всегда соблюдали режим, шатались по зоне и даже занимались воровством.

Банщик Гварамадзе и дезинфектор Городилов

В парикмахерской и бане я задерживался обычно подольше, так как здесь всегда собирались зэки, работающие в зоне, чтобы покурить и поболтать.

Здесь можно было узнать все новости, так как через эти учреждения проходили все вновь прибывшие и те, кого отправляли в этап.

С заведующим баней Гварамадзе и его помощником дезинфектором Городиловым я был хорошо знаком.

Гварамадзе, мужчина лет сорока, в прошлом артист театра, имел запоминающееся лицо: квадратное, с крупным крючковатым носом, толстыми губами, почти беззубым ртом и небольшими черными усами. Правый глаз он потерял после интенсивного лечения в одном из лагерей и носил широкий бинт, который делал его похожим на пирата.

Как и все банщики, Гварамадзе занимался коммерцией и покупал шмотки у вновь прибывших зэков за хлеб, махорку и мыло.

Городилов — худощавый парень лет двадцати шести с резкими чертами лица, имел необычную судьбу. Во время войны он попал в плен к немцам и за какие-то проделки был повешен. В этот момент населенный пункт, где он находился, отбили партизаны и сняли его, еще живого, с виселицы. После казни у него отмечались эпилептиформные припадки, которых я, однако, не наблюдал.

Сидел Городилов не то за растрату, не то за спекуляцию. У себя он считался первым парнем на деревне, следил за собой и слыл большим поклонником женского пола, предпочитая тех, кто помоложе.

Городилов не отставал от Гварамадзе в части купли и продажи, у него в заנачке всегда имелись дефицитные вещи — обувь, одежда, консервы... которые пользовались большим спросом.

Покупателями были не только зэки, но также и вольнонаемные — главные потребители водки.

Оба работника санитарной службы имели еще один важный источник дохода — они сдавали свои помещения — предбанник, баню, одевальную в свободное от работы время придуркам для интимных встреч и охраняли их при этом. Простые работяги, от которых не было «навара», должны были заниматься любовью в тамбурах или других темных углах барачков. То, что Городилов увлекался женским полом, никого не удивляло и не беспокоило, но он пристрастился к малолеткам. Об этом узнала Тамара Владимировна и подняла тревогу. Совращение малолетних является уголовным преступлением.

Малолетки страдали от недоедания не меньше взрослых, а может быть и больше, и Городилов пользовался этим, приманивая их хлебом, консервами, а то и где-то добытыми конфетами.

Мой шеф не была блюстительницей нравственности и прекрасно понимала, что интимные отношения между людьми — естественная потребность, и, в отличие от других вольнонаемных, не препятствовала им.

Но она считала преступным и безнравственным, когда пятнадцатилетнюю голодную девочку с помощью пайки принуждают вступить в половую связь. Я с ней был согласен.

К тому времени Городилов усердно ухаживал за черноокой крымской татарочкой лет четырнадцати-пятнадцати, со смуглым лицом и черными длинными волосами, заплетенными в толстую косу. Она находилась в колонии вместе со своим отцом за то, что они на колхозном поле собрали ведро картошки.

Отец всякими способами оберегал дочку, ходил за ней как тень, но ее тянуло, как магнит, в баню к Городилову. Поскольку отец работал на лесоповале, а дочь была в зоне, то он имел возможность лишь в нерабочее время следить за ее нравственностью.

Тамара Владимировна, как и я, имела своих доверенных лиц, которые ей докладывали об обстановке в зоне. Нас интересовал практически лишь один вопрос: как соблюдают режим освобожденные нами от работы.

Были случаи, когда такие больные шастали по зоне и занимались воровством. В итоге состоялся неприятный разговор с начальством, в ходе которого меня обвинили в преступной связи с урками. Хорошо, что Тамара Владимировна меня всегда защищала и выручала.

От Гварамадзе и прачек я узнал, что Городилов имел уже несколько свиданий с татарочкой, но, видимо, ограничивался тем, что целовал ее и гладил грудь и живот.

Однажды после амбулаторного приема к нам явился татарин со своей дочерью. Это был мужчина лет сорока, среднего роста, но довольно крепкого телосложения, с жилистыми, мускулистыми руками и характерным для южанина лицом — черными глазами, маленькими усиками и длинным ястребиным носом. По внешнему виду это был крестьянин.

— Дохтур,— обратился он к Тамаре Владимировне на ломаном русском языке,— помоги!

— В чем дело?

— Сейчас скажу,— он дал знак девочке, чтобы она покинула кабинет и продолжал тихо,— посмотри, пожалуста, моя дочка. Она ходила баня много раз. Там есть такой Городилов. Плохой человек, очень плохой человек. Он хочет портить дочка. Если портил — убью.

Потеря девственности до замужества считалась у русских большим грехом и позором, а у мусульманских народов преступлением, которое, согласно шариату, каралось жестоко. В Средней Азии девушек закапывали по плечи в землю и убивали камнями. Первый камень обязаны были бросить родители. Что касается соблазнителя, то его чаще всего сажали на кол или вешали.

Реакция отца поэтому была вполне естественная, и угроза не была пустой.

— Подожди убивать,— успокоила его мой шеф,— сначала разберемся. Позови дочку сюда, а сам подожди в коридоре.

Девочка зашла в приемную, густо краснея, опуская глаза.

— Проходи, не бойся,— сказала Тамара Владимировна и указала на табуретку.

— Садись! — Мой шеф, как всегда, сначала закурила, затем положила ногу на ногу и продолжала:

— Давай будем с тобой говорить совершенно откровенно. Ты знаешь Городилова?

— Да.

— Ты ходила к нему?

— Да.

— Скажи честно, зачем ты ходила к нему? Он же значительно старше тебя.

— Так.

— Он тебя чем-нибудь угощал?

— Да.

— А чем угощал?

— Ну хлебом, конфетами. Один раз дал сгущенку.

— А за что он тебя угощал?

— Так, не знаю.

Мой шеф сделала короткую паузу, видимо, задумываясь, как продолжать этот своеобразный допрос, а затем решила взять быка за рога.

— Честно скажи — ты с ним спала?

— Нет,— девочка густо покраснела.

— Хорошо. А сейчас придется тебя проверить.
Пожалуйста, раздевайся.

Девочка послушно разделась и легла на кушетку. Она была хорошо сложена, с маленькими острыми грудями и уже довольно округлыми бедрами.

Она говорила правду и оказалась, говоря медицинским языком, «virgo in-facto» (девственница).

— Вот и хорошо,— ты молодчина. Можешь одеваться и все-таки хочу тебя еще раз спросить: зачем ходила к нему? Ты что, любишь его?

— Нет.

— А может быть, ты ходила туда из-за угощения?

— Да, я очень хотела есть,— ответила она тихо.

Тамара Владимировна задумалась, и ее лицо стало грустным.

— Давай, милая, условимся,— она вздохнула глубоко и стряхнула пепел в консервную баночку,— если очень хочешь есть, приходи лучше сюда. Что-нибудь найдем и покормим тебя. Ты меня поняла?

— Да.

— И вот еще, девочка, не ходи больше туда в баню и, вообще, остерегайся мужчин. Ты еще слишком молода, и все впереди. Не спеши с этим. Такая связь тебе сейчас радости не принесет. Побереги себя для собственного счастья.

— Спасибо,— девочка впервые подняла глаза.

— А сейчас позови своего отца, а сама подожди в коридоре.

— Как дочка? — еще с порога спросил татарин.

— Не беспокойтесь, все в порядке. А что касается Городилова, то я с ним поговорю. Думаю, что он больше не будет приставать к девочке.

— Большое тебе спасибо,— татарин поклонился,— до свидание.

— До свидания.

Тамара Владимировна повернулась ко мне:

— Вот что делает голод, Гарин. Но ты это знаешь лучше меня. Жаль девочку. А сейчас передай Фекле, чтобы она вызвала этого подлеца Городилова.

Минут через тридцать он явился.

— Я пришел, Тамара Владимировна,— сказал он бодро.

— Вот что, друг,— скажи мне откровенно: тебя устраивает работа дезинфектора?

— Конечно,— несколько удивленно ответил Городилов.

— Зачем, по-твоему, я поставила тебя туда?

— Зачем? Для того, чтобы прожаривать вещи.

— Совершенно верно. А почему ты тогда занимаешься другими делами?

— Я вас не понимаю.

— Ты меня прекрасно понимаешь. Зачем занимаешься растлением малолетних? Для этого я тебя поставила на работу? Тебе что, взрослых баб не хватает?

— Я ничего не делал.

— Как ничего не делал? А татарочка-малолетка? Кто ее привадил ходить к тебе? Кто ее угощал сгущенкой и конфетами?

— А что, нельзя угощать?

— Угощать можно. Но ты не только угощал, а хватал ее за груди, да и не только. За это судят. Тебе что, свой срок недостаточен? Хочешь новый?

— Нет.

— Зачем тогда приставал к девочке?

— Да так. У меня не было серьезных намерений.

— Вот что, дорогой, предупреждаю — если узнаю, что ты продолжаешь встречаться с ней — сниму с работы и отправлю в этап. Это в лучшем случае. В

худшем — передам дело Иванову (оперу). Он разберется. А сейчас можешь идти.

— Я ничего не хотел, Тамара Владимировна.

— Знаем тебя — иди!

Парикмахер Алиев, высокий, худощавый азербайджанец не первой молодости, с ястребиным носом и коротко стриженными седыми усами, был мастером своего дела. Ловко орудуя бритвой, словно цирковой артист, он за считанные секунды лишал эков всякой растительности, притом обслуживал как мужчин, так и женщин. Женщины, вполне естественно, краснели от смущения, но Алиев на это не обращал внимания и спокойно орудовал своим инструментом в таких укромных местах, которые прежде бритвы не знали.

Воровки на эту процедуру смотрели спокойно и шутили при этом над парикмахером, хлопая себя рукой ниже живота и расхваливая свои достоинства.

Русская пословица гласит: седина в бороду, бес в ребро. Она вполне подходила Алиеву, который, несмотря на свои шестьдесят лет, отличался завидным сладострастием. Возможно, повлияло то обстоятельство, что ему приходилось постоянно лицезреть женские прелести, да еще в непосредственной близости.

Парикмахер втихомолку приманивал молодых девушек хлебом и не безуспешно. К нему ходила регулярно Зоя Романова — стройная, беленькая девчушка лет девятнадцати, которая сидела за воровство.

Вряд ли она нашла в Алиеве принца сердца и нуждалась в его мужских способностях. Она нуждалась в его хлебе и, кроме того, с ним было спокойнее. Алиев был вежлив, чистоплотен, не очень ревнив и требовал от нее лишь раз в неделю интимной встречи.

С урками было хуже. Они привыкли, чтобы их обслуживали, стирали грязное белье, чинили одежду, искали махорку, и вдобавок могли еще побить, считая это верным профилактическим средством.

Последствия «любви»

В столовую и кухню я не любил ходить. В больнице меня кормили хорошо, и я не нуждался в услугах поваров.

В кухне встречали меня всегда подобострастно, с низким поклоном, и были готовы сразу посадить за стол, чтобы угостить чем-то особенным. Повара знали, что и от меня зависит их судьба и благополучие.

В качестве кухонного персонала и здесь выбирали обычно смазливых и молодых девчат, чаще всего по рекомендации придурков, которые не против полакомиться молодым «мясом».

Эти девушки дорожили своей работой и вынуждены были в знак благодарности расплачиваться телом.

Вполне естественно, что такие связи не были без последствий. Если в военные годы беременные встречались в лагерях сравнительно редко, то после войны их число увеличилось.

Далеко не все беременные желали рожать и старались избавиться от плода любви. Чаще всего с помощью медиков. В те годы аборты были запрещены и карались законом.

Многие медицинские работники, которые работали в лагерях, особенно медицинские сестры и фельдшера, сидели за аборты. Несмотря на это они «помогали» и здесь. И мне приходилось заниматься этой деятельностью, но не из корыстных целей. Подходящего инструментария не было, и чаще всего приходилось пользоваться хинином да рекомендовать горячие ножные ванны.

Однажды Тамара Владимировна обратилась ко мне с необычной просьбой.

— Знаешь, Гарик, надо помочь Вассе.

Васса работала в бухгалтерии. Это была низенькая, плотно сбитая девушка с длинной черной косой и густыми бровями, которые почти срослись у переносицы. Лицом она напоминала цыганку или молдаванку, но была русская. Дружила Васса со слесарем Костроминым.

— А в чем депо? — поинтересовался я.

— Она беременна.

— Хотите сделать аборт? — Меня это предложение удивило. Неужели Тамара Владимировна, вольнонаемная, могла пойти на это, не боясь последствий? Не думал, что она способна на такой риск. И ради чего? Ради простой заключенной.

— Поможешь?

— Конечно, если вы это считаете нужным. Когда она придет?

— Завтра. Как, по-твоему, лучше сделать? Йодом?

— А какая у нее беременность?

— Месяца три.

— Вы, пожалуй, правы. Введем йод и дадим еще хинина.

Васса пришла на следующий день. Аборт мы решили сделать вечером после амбулаторного приема и попросили Феклу проследить, чтобы не было посторонних. В истории болезни мы написали диагноз: маточное кровотечение.

Я вскипятил металлический катетер и шприц и приготовил йод.

Девушка легла на кушетку. Я вставил в шейку матки катетер и с помощью шприца ввел настойку йода. Одновременно Васса получила хинин.

Уже на следующий день был выкидыш. Дней через пять мы выписали девушку без последствий.

Всю процедуру приходилось делать в строжайшей тайне, иначе могли быть тяжелые последствия.

Такие абортс приходилось делатть по инициативе моего шефа неоднократно, и я всегда удивлялся этой женщине, которая ради помощи заключенной фактически ставила на карту свою судьбу.

Я подозревал, что она помогала не только заключенным, но так же и вольнонаемным, если не лично, то во всяком случае советом. Не раз и не два мне пришлось выручать и вольнонаемных и спасать им жизнь.

Однажды меня подняли ночью с постели. В комнату вошел дежурный по зоне.

— Быстро вставайте и одевайтесь! — приказал он и вручил мне записку от Тамары Владимировны.

«Генри! У жены Смоленцева сильное маточное кровотечение (пятимесячная беременность). Захвати все, что требуется — шприц, медикаменты, перевязочный материал и побыстрее приходи на вахту».

Меня пропустили на вахту без задержки. Метрах в десяти от нее я увидел сани-розвальни, рядом с которыми стояли мой шеф и стрелок Смоленцев. Он должен был взять на себя функции конвоира и возчика.

— Все захватил? — спросила Тамара Владимировна, устраиваясь в санях.

— Да.

Для нас приготовили два тулупа, в которые мы закутались. Ночь была ясная и холодная, луна освещала серебристым светом дорогу, а на небе мерцали звезды.

Снег искрился, от могучих деревьев падали причудливые тени, и лес казался сказочным.

Впервые я понял по-настоящему, что такое езда на санях в морозную, ясную, зимнюю ночь. Это непередаваемая красота.

В деревне, куда мы приехали, горел свет лишь в одной избе. Здесь жила семья Смоленцева.

В постели лежала полная молодая и очень бледная женщина, которая смущенно смотрела на нас. Около

кровати стоял таз, в котором лежали окровавленные куски белой материи и большие сгустки крови. Кровотечение, видимо, было значительное.

Из опроса мы узнали, что имелась пятимесячная беременность и что плод вышел вчера. Кровотечение несколько уменьшилось, но продолжалось. Когда я спросил, как произошел выкидыш, женщина объяснила мне, что колола дрова и таскала воду в баню, после чего и началось кровотечение.

Эту сказку я слышал не однажды. У Смоленцевых было уже трое детей и четвертый оказался нежелательным.

Я вымыл руки, обтер их спиртом, смазал кончики пальцев йодом и провел осмотр. Поскольку у нас не имелось кюреток, а беременность была уже большая, я провел пальцевое опорожнение матки, после чего кровотечение вскоре прекратилось. Мы оставили лекарства, объяснили, как их применить, и поехали обратно. Женщина вскоре выздоровела.

Через два года, когда я уже был на свободе и работал на лесоучастке Юркино, километрах в пятидесяти от Кузьмине, состоялась у меня еще одна встреча со Смоленцевым.

Я обслуживал деревни в радиусе пятнадцати километров, но транспорта не имел. Тогда у меня и возникла мысль приобрести велосипед, но в продаже их не было. Об этом узнала Тамара Владимировна, и вскоре я получил от нее короткую записку.

«Гарик! Поезжай в Кузьмино. У Смоленцева есть подержанный, но еще хороший велосипед, который он тебе уступит подешевле. Он не забыл, как ты ему спас жену».

Недолго думая, я отправился на попутной машине в Кузьмине. Велосипед по внешнему виду меня вполне устраивал, и я купил его по относительно сходной цене.

— Велосипед вам еще долго послужит,— сказал Смоленцев на прощание,— другому я бы не продал так дешево.

В деревне было очень грязно, и я сел на велосипед лишь тогда, когда добрался до сухой лесной тропинки, но не проехал более двадцати шагов. С шестерни слетела цепь. Я поставил ее на место, но все повторилось. Каждые 50—100 метров цепь слетала. Обратно не хотелось идти, и я прошагал с велосипедом километров тридцать, пока меня не подобрала попутная машина.

Знакомые слесари посмотрели велосипед, нашли, что шестерня погнута и обещали исправить ее. После ремонта можно было проехать на велосипеде почти 500 метров, прежде чем слетала цепь. Меня это не очень устраивало, и я написал об этом Тамаре Владимировне. Вскоре прибыла машина из колонии, которая забрала велосипед на более квалифицированный ремонт. Я его получил обратно недели через две. Тамара Владимировна писала:

«Гарик! Велосипед исправлен. Надеюсь, что ты останешься довольным».

На этот раз я проехал на велосипеде уже почти километр. Цепь снова слетела. Больше я не пользовался велосипедом.

Трагедия

Но бывали в моей медицинской практике и трагические случаи.

В тот вечер, когда я сидел после амбулаторного приема в своей комнатухе (аптеке) и заполнял истории болезней, кто-то постучал в дверь.

— Входите! — сказал я.

В комнату вошла молодая девушка лет двадцати пяти, очень стройная, с аккуратно причесанными темными волосами и тонкими чертами лица.

— Садитесь, пожалуйста,— предложил я и указал на табуретку.

— Спасибо.

Эту девушку я уже видел однажды и знал, что она вольнонаемная и работает в конторе.

— Простите,— как ваша фамилия?

— Перепелица Валентина.

Перед тем как расспросить больного, я всегда в первую очередь обращаю внимание на его внешний вид, выражение лица, походку и могу нередко сразу сделать определенные выводы.

Моя пациентка двигалась очень осторожно, и бледное лицо с румянцем говорило о том, что ее лихорадило. Но главное было не в этом, я отметил специфический гнилостный, почти зловонный запах, который исходил от нее — запах, знакомый мне по криминальным абортам. Диагноз был ясен мне без слов.

— Что у вас болит? — спросил я.

— У меня сильно болит голова и знобит,— девушка посмотрела на меня как-то неприязненно, что меня удивило. Я взял градусник и встряхнул его.

— Померьте, пожалуйста. Термометр показывал 38,8° С.

— У вас высокая температура. Придется вас осматривать. Раздевайтесь, пожалуйста.

— Это обязательно?

— Да, иначе я не узнаю, чем вы болеете.

Девушка неохотно сняла кофточку. Я послушал ее. Сердце билось учащенно, но, так же как и легкие, было в норме.

— Ну и что, нашли? — Снова удивило меня ее лицо, которое выражало брезгливость, презрительность, если не враждебность. Видимо, она относилась к тем лицам, которые видели в таких заключенных, как я, только «врагов народа», которых следовало бы уничтожать.

— Сердце и легкие у вас в порядке. Я в этом не сомневался. Скажите честно: что у вас болит еще, кроме головы?

— У меня только голова болит. Я вам об этом уже говорила,— ответила девушка вызывающе.

— Тогда у меня будет к вам другой вопрос: когда у вас были последние месячные?

— Еще раз повторяю вам — у меня болит только голова,— лицо ее выражало злость.

— Может быть, у вас была задержка, а может быть, кровотечение? — Заключенной я бы приказал раздеться для детального осмотра, но с Перепелицей я не мог так поступить.

— Нет,— ответила она резко,— дайте мне лекарство и справку, и я пойду.

— Пожалуйста.

Я выбрал таблетки от головной боли, кроме того, еще сульфидин, который в то время считался самым сильным противовоспалительным средством.

— Что это за лекарство?

— От головной боли и против вашей болезни.

— А какая у меня болезнь?

Я вручил ей справку об освобождении. В ней я написал весьма туманный диагноз: лихорадочное

состояние, температура 38,6°С.

— Что это значит?

— Могу вам сказать: у вас не простудное заболевание. А что у вас, вы знаете лучше меня. Все-таки советую вам: не надо ничего скрывать, скажите честно, что у вас?

— Ничего у меня нет, — девушка рывком встала,— до свидания.

— До свидания.

Во время этой не очень результативной беседы я вспомнил разговор с Тосей Сабанцевой, которая была в интимных отношениях с одним бывшим лейтенантом, осужденным по бытовой статье и служившим сейчас в охране стрелком.

Он рассказывал ей о своем друге, тоже стрелке из эков, который дружил с вольнонаемной Вале́й Перепелицей — внешне очень строгой и замкнутой девушкой.

Сейчас мне стало понятно поведение больной. Женщины после криминального аборта обычно охотно обращаются к медицинским работникам, которые чаще всего являются единственным спасением, но редко называют правдиво причину выкидыша.

В отличие от них Перепелица хотела скрыть имевший место криминальный аборт из боязни быть разоблаченной за связь с заключенным. В таком небольшом коллективе, как сотрудники ИТК № 1, все на виду и, вероятно, для многих не было секретом, что стрелок зачастил в контору. Но это еще не криминал. Другое дело, когда девушка вдруг окажется беременной. Вполне естественно, что подозрение падает на стрелка. Девушка решила поэтому обратиться не к Тамаре Владимировне, от которой трудно что-то скрыть, а ко мне, надеясь, что меня можно легче обвести вокруг пальца. Она не понимала тяжести своего состояния, думала, что все пройдет

через день-другой, и пришла ко мне главным образом, чтобы получить освобождение от работы.

На следующее утро я рассказал Тамаре Владимировне обо всем.

— Очень прошу вас,— сходите к ней и сделайте гинекологический осмотр. При мне она категорически отрицала беременность и кровотечение. Она говорит неправду. У нее криминальный аборт. У меня нос, как у овчарки, и он меня еще ни разу не подвел. Раз у нее высокая температура и озноб, значит, инфекция. Надо дать ей хинин и сульфидин. Пришла бы она раньше, можно было сделать «скоблежку».

— Подумаем. А сейчас я пойду к ней.

Ближе к обеду ко мне явился стрелок — тот самый соблазнитель — высокий, статный парень, кровь с молоком.

— Доктор Генри, что с Вале́й? — спросил он испуганно.

— У нее высокая температура.

— Она что — простудилась?

— Нет. Причина другая.

— А какая?

— Мне кажется, что она тебе должна быть известна.

— Я вас не понимаю.

— Чего там не понимать. Спроси ее, может быть, она тебе скажет, чем болеет, если ты еще ничего не знаешь. Мне, во всяком случае, говорит неправду.

— А это серьезно, доктор? — парень, видимо, понял меня.

— Очень серьезно. И еще потому, что она отрицает свою болезнь. Мы поэтому не можем проводить лечение, которое требуется. Может быть, ты поговоришь с ней?

— А как? Как я пойду к ней? Поймите, я хотя и стрелок, но заключенный.

— Да, ты прав. Но ничего, сейчас к ней пошла Тамара Владимировна. Она, может быть, ей поможет.

Мой шеф пришла только вечером и очень расстроенная. Вот что она рассказала:

— Я была два раза у нее. В первый раз она наотрез отказалась от осмотра и отрицала беременность. Во второй раз я убедила ее, и она призналась, что сделала аборт. Температура колеблется, то очень высокая, то снижается. Ее постоянно знобит. Что будем делать, Гарик?

— Надо было сразу сделать абразию, дня три тому назад, но тогда мы еще ничего не знали.

— А если сделать сейчас?

— Можно, но только при двух условиях: если нет температуры или сильное кровотечение. Кроме того, как сделать, если кюреток нет?

— Я уже послала нарочного в марьинскую больницу за инструментарием. Он завтра будет здесь. А что будем сейчас делать?

— Дадим хинину и сульфидин. И, конечно, сердечные и тому подобное. Может быть, поможет.

До Марьина километров 20—25, и раньше следующего вечера мы не надеялись получить кюретки, тем более что на реке Ветлуге, которую необходимо было перейти, уже началась передвижка льда.

Девушка находилась за зоной, и меня допустили к ней лишь тогда, когда уже вечером посыльный вернулся из Марьина. Инструменты уже были стерилизованы, и я сразу направился к больной в сопровождении конвоира.

Комнатушка, в которой жила Валя Перепелица, была скромно обставлена: кровать, стол, стулья, комод. На стене висел лубочный «коврик», изображавший рыцаря на коне, рядом с которым стояла пышная девица на фоне лунного пейзажа, озера и плывущих по нему лебедей. Видимо, творение Барнау.

Валя лежала на старомодной кровати с металлическими шарами. Заостренное лицо приобрело желтоватый оттенок. На теле я заметил кожные высыпания, характерные для сепсиса. В легких наблюдались уже застойные явления. Девушка была без сознания, градусник показывал 40,2° С.. О выскабливании не могло быть и речи.

Всю ночь вместе с Тamarой Владимировной я провел у постели больной, но несмотря на все принятые меры, она скончалась к утру.

Смерти бывают разные, в том числе и такие, которые никак нельзя предотвратить. Смерти Вали Перепелицы можно было избежать, если бы не страх признаться в любви к заключенному. Вот почему эта смерть была особенно трагичной и потрясла нас всех.

Праздники

Работать приходилось очень напряженно, не считаясь со временем, но зато условия жизни заметно улучшились не только для нас, медработников, но и для простых работяг. После войны были увеличены нормы питания в ГУЛаге: хлеба на 12 %, крупы на 24 %, мяса и рыбы на 40 %. Стали поступать в лагеря и продукты из американской помощи, направленной по ленд-лизу. Мне особенно нравился яичный порошок, из которого делали очень вкусные омлеты. Говорили тогда, что порошок не из куриных яиц, а каких-то морских птиц или даже черепах.

Кроме того, ээки стали получать зарплату, в общем-то, довольно мизерную, но достаточную, чтобы улучшить питание и не чувствовать больше мучительный голод.

Ларька в колонии не было, но около вахты всегда сидели деревенские женщины, чаще всего из Кузьмино, которые продавали картошку, молоко, яйца, лук, разные пирожки и тому подобное. С разрешения охранников, дежуривших на вахте, можно было купить эти продукты.

Отмечались и праздники — Первое мая и октябрьские. В клубе организовывались выступления самодеятельных артистов и награждались передовики производства деньгами и грамотами.

Мы в стационаре также отмечали эти праздники и еще Новый год и Пасху. Как-то в больницу поступил перегонный аппарат для дистилляции воды, с помощью которого легко можно было получить чистый спирт.

Для этой цели использовались настойки валерианы и желудочные капли. Подогретые настойки за короткое время освобождали спирт, который через охлажденный

змеевик чистыми, прозрачными каплями собирался в специально приготовленный сосуд.

Тамара Владимировна приносила в такие дни какое-нибудь варенье, чаще всего вишневое, которое, разбавленное спиртом, превращалось в довольно приятный ликер. Им угощали всех работников санчасти, в том числе медсестер и санитарок. Среди нас не было пьяниц и пили лишь понемногу, чтобы отметить праздник.

В остальные дни, несмотря на возможность пользоваться дистиллятором, никто не помышлял об этом. Тамара Владимировна, хотя и предоставляла нам довольно большую свободу, но требовала железной дисциплины и безоговорочного послушания.

Вполне естественно, что подобные способы отмечать праздники, да еще совместно с вольнонаемным сотрудником, не подлежали огласке, и поэтому в санчасти работали только зэки, умеющие держать язык за зубами.

Все дорожили своим местом, ценили доверие, оказанное нам, и трудились честно и добросовестно.

Были, конечно, случаи, когда отдельные медработники злоупотребляли доверием, но их быстро перевоспитывали. На первый раз ограничивались предупреждением, на второй — отправляли на несколько месяцев на один из подучастков, где всегда требовались медработники. Это было своеобразной временной ссылкой.

Клубная работа

В свободное время я чаще всего направлялся в клуб или в читальню к Арнольду Соломоновичу Цуккеру. Он раздобыл с тех пор, как мы с ним расстались в Ошле, и у него появился животик. Он освоился на новом месте и даже писал стихи в стенгазету, в которых бичевал лодырей и хулиганов. Карикатуры рисовал я.

Он собрал вокруг себя любителей художественной самодеятельности и намеревался с ними поставить пьесу.

Вечером читальня превращалась в своеобразный клуб, куда ээки приходили, чтобы попеть, поиграть на струнных инструментах, декламировать стихи, поплясать и позабыть, что находятся не на воле.

Сюда приходил и «Дорогая шляпа» (как звала его Тамара Владимировна) — Михаил Лебедев, с которым у меня установились теплые, дружеские отношения. Лебедев был на удивление мягкотелым и добрым человеком, избегавшим при общении с людьми любых обострений. О Торбеевой он никогда не вспоминал и, видимо, считал эту связь позорным эпизодом в своей лагерной жизни.

Чаще всего его видели в обществе Павла Михайловича Чеснокова, бывшего полковника воздушных сил, также осужденного по 58-й статье.

Это был крупный мужчина с круглой головой, полными щеками хомяка, толстым носом и большим ртом. Работал полковник кладовщиком. Чесноков отличался чрезмерным педантизмом и скупостью, за что его прозвали «Падаль Михайлович». Артистическими способностями он не обладал, но был приятным собеседником и часто заходил к Цуккеру ради душевной беседы.

Но Чеснокова привлекали в читальню не только книги, журналы и содержательные беседы, но также и молодые девушки, которые зачастили сюда.

Ему не трудно было найти себе даму сердца, так как его должность считалась престижной и выгодной. Во всяком случае он мог своей избраннице предложить не только сердце, но и продукты питания.

Среди участниц художественной самодеятельности выделялась молодая крымская татарочка, лет двадцати двух, небольшого роста, крепкого телосложения, с черной, длинной косой и смуглым лицом, которая оказалась профессиональной танцовщицей.

У меня была давнишняя мечта научиться танцевать чечетку, и девушка помогла мне в этом, обучая различным «па». Когда я уже немного освоился и научился отбивать чечетку, появилась мысль выучить совместный танец. Во время одной из репетиций, когда я поднял свою далеко не легкую партнершу на вытянутых руках, нога у меня подвернулась, и я упал на спину вместе с ней. Она приземлилась мягко на мою грудь, но я ушибся основательно.

На этом закончилась моя карьера танцовщика.

Начальство лагеря требовало не только выполнения плана заготовок леса, но также и активной работы КВЧ. Согласно положению КВЧ в колониях имели своей целью перевоспитание заключенных, осужденных за бытовые и должностные преступления, на основе высокопроизводительного общественного труда, содействие наиболее эффективному и рациональному использованию труда всех заключенных на производстве для выполнения и перевыполнения производственных планов.

Основными видами культурно-воспитательной работы в колонии были: политмассовая, производственно-массовая, стенная печать, клубно-массовая, библиотечная.

Следовало выпускать разные бюллетени, «молнии», стенгазеты, оформлять доски почета и тому подобное. Кроме того, перед Арнольдом Соломоновичем была поставлена задача заниматься подготовкой вечеров художественной самодеятельности, а к большим праздникам — майским и октябрьским — поставить пьесу. Цуккер долго думал, что выбрать, и остановился на пьесе Островского «Лес».

Для начала ему пришлось немного сократить текст и убрать второстепенных персонажей. Дальше следовало найти подходящих артистов. После долгих поисков и эта работа была закончена.

Роль Раисы Павловны Гурмыжской была предложена пожилой портнихе из пошивочного цеха, осужденной по 58-й статье, а роль Аксюши — Марусе Моториной, двадцатидвухлетней признанной красавице с пышными формами, голубыми глазами и чудесными соломенного цвета волосами. А поскольку она дружила с Шебалиным, крепким парнем, работающим в ширпотребе, который мечтал связать свою судьбу с Аксюшей, то ему была предложена роль Петра Восьмибратова.

Одну из главных ролей — Несчастливцева — играл Михаил Лебедев, роль купца Ивана Петровича Восьмибратова — банщик Гварамадзе, а недоучившегося гимназиста Алексея Буланова — карманник Леша по кличке «Красавчик».

Барнау отправили в этап, и роль художника-декоратора мне пришлось взять на себя. Я нарисовал огромный ветвистый дуб с мощным стволом, который заполнил всю заднюю стенку сцены и стал основным фоном спектакля.

Каждый вечер после работы приходили «артисты» в клуб, где и репетировали под руководством Арнольда Соломоновича.

Наступила долгожданная премьера. Зал клуба был переполнен, как положено, первые ряды занимало начальство. Для «артистов» сшили в пошивочной мастерской из разных лоскутков платья и костюмы, а в качестве грима применяли свеклу и сажу.

Сцена было скромно обставлена — стол, трельяж, стулья, скамейка и большой фикус в деревянной кадке, и должна была изображать обстановку зала богатой усадьбы.

К моему большому удивлению артисты играли великолепно. Особенно отличался Михаил Лебедев, одетый в длинное пальто, серую поношенную широкополую шляпу и большие сапоги. За спиной он носил типичный эковский фанерный чемодан с замком, а в руках держал толстую сучковатую палку.

Вот он подошел к здоровому пеньку, остановился, вытер пот с лица грязным платком, почесался и бросил мрачный взгляд исподлобья. Чувствовалось, что он сильно утомлен. В это время с другой стороны показывался Счастливец, роль которого исполнял нарядчик Чаузский. Он не был лишен чувства юмора, и его появление сразу вызвало смех в зале. У него был действительно комичный вид: коротенький пиджак, коротенькие панталоны, голубой галстук, детский картузик на голове и палка на плече, на которой висели легкое пальто и узел в цветном платке, весь облик вызывал невольную улыбку.

Я сидел в середине зала и зачарованно следил за ходом спектакля. Все, что происходило на сцене, меня так захватило, что я на короткое время забыл, где нахожусь. Такое же впечатление произвела игра артистов и на остальных зрителей, и лица вольнонаемных тоже изменились. Когда занавес опустился, долго не смолкали аплодисменты. Успех был полным.

Один раз в два-три месяца проводились вечера художественной самодеятельности. Первым номером, как всегда в таких случаях, хором исполнялась песня о Сталине, после чего читались «стихи о Советском паспорте» или отрывки из «Левого марша» Маяковского... Лишь затем могли выступить танцоры, певцы и исполнители юморесок.

Вечера обычно заканчивались танцами под гармошку или баян. И, конечно, пелись частушки на мотивы «Семеновны», «Подгорной» и «Сербияночки». Тогда выходили и блатные в круг, чтобы под звуки «Цыганочки» отбить чечетку.

Все это очень напоминало о воле: соцсоревнования, награждения передовиков, вечера художественной самодеятельности, но только до определенного момента. Для большинства эков — до развода. Дальше шла уже совсем другая, жестокая и безжалостная жизнь.

Бригадирь

Главное место в жизни эков занимала бригада, которая должна была стать основной формой перевоспитания.

О ней было сказано, что это: коллективный организм, живущий, работающий, спящий и страдающий вместе в безжалостно-вынужденном симбиозе...

Члены бригады были почти постоянно вместе, за исключением тех часов, которые оставались после работы до отбоя. Все остальное время эки находились под бдительным оком своего бригадира, от которого зависела их жизнь и благополучие.

Поэтому эки делали все возможное, чтобы не портить отношения с ним. Они были готовы исполнить все капризы своего бригадира, зная прекрасно, что выработка нормы зависит не столько от трудолюбия и умения эка, сколько от настроения бригадира.

Среди бригадиров колонии выделялись двое, уже потому, что один из них — Штамбург был осужден по 58-й статье, а другой — Петров слыл неисправимым уркаганом.

Игната Максимовича Штамбурга звали не иначе как «Пан Подольский». Он был одним из тех многочисленных поляков, которые после 1939 года очутились весьма далеко от родных мест просто потому, что были поляками, да еще представителями интеллигенции. Таких оказалось немало и в Марийской республике. Поляки жили здесь и раньше, но пострадали в 1938 году жестоко, когда для выполнения плана поимки шпионов и террористов не хватало необходимого числа людей.

Один из деятелей НКВД П. П. Петров, говоря о методах выявления шпионов и диверсантов империалистических государств, рассказывал: «Для учета лиц с иностранными фамилиями в период массовых репрессий были использованы списки избирателей в Верховные Советы РСФСР и Марийской АССР. Эти списки по приказу наркома Карачарова доставал оперуполномоченный спецгруппы И. Г. Толмачев. По такому списку, к примеру, бригадой следователей во главе с Петровым было «увязано» дело на членов подпольной повстанческой организации, многие из которых в жизни не встречались друг с другом, но объединила их «шпионская» фамилия. Среди них оказались К. И. Пржебельский, поляк по национальности, работающий прорабом на Марбумкомбинате, П. Ф. Цингель, белорус, заведующий учетом Ронгинского РК ВКП/б, К. М. Колодий, русский из г. Йошкар-Олы и другие. Всего 29 человек. Все они постановлением тройки НКВД Марийской АССР 7 октября 1938 года были расстреляны».

Штамбурга арестовали в начале войны. Это был человек среднего роста, с большой лысиной, на которой торчало несколько волос, изогнутым носом, оттопыренными ушами и добрыми глазами.

В отличие от большинства бригадиров Штамбург руководил своими подчиненными без помощи кулаков и считался передовиком производства. Его бригада постоянно перевыполняла планы.

Для Игната Максимовича не существовало мелочей. Пилы и топоры у него всегда были вовремя наточены, рабочие места подготовлены, и люди одеты по сезону. Он следил за всем и не зря пользовался большим авторитетом среди эков. Он никогда не кричал, никогда не ругался, а когда у кого-то что-то не ладилось, давал спокойно дельные советы. В его бригаде работала высокая, статная девушка, которую я

знал еще по Ошле. Тогда я ухаживал за ее подругой Тасей. Валя, так звали ее, сидела за воровство. Девушка была заметная, и Штамбург влюбился в нее серьезно. В лагерях на разницу в годах не очень обращали внимание, а между ними она составляла почти двадцать лет. Женщины чаще всего рассуждали так: любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Быть любовницей бригадира было мечтой многих. Валя ответила взаимностью. Когда она освободилась через год, то оказалась беременной.

Я был с Игнатом в очень дружеских отношениях, и он всегда делился со мной своими планами и мыслями.

— Мы с ней поженимся, как только освобожусь,— сказал он мне.— Она живет в Мари-Турекском районе в сельской местности, и это меня вполне устраивает. Не хочу жить в городе. Я хорошо разбираюсь в механизмах и найду себе там работу.

— А ты нашел с ней общий язык? — поинтересовался я,— вы все-таки люди из разных миров.

— Ты прав, это так, но не забудь другое: мне уже сорок лет и пора иметь свою семью. Это для меня сейчас главное. И еще одно: Валя сейчас в положении. Это же будет мой ребенок. Я же не могу его бросить. Я же не подлец.

— Это, конечно, так. А какая она по характеру? Ты знаешь ее прошлое?

— Валя очень добрый человек и очень откровенный. Она рассказывала мне обо всем.— Не хочу, чтобы ты узнал от других, кем я была,— говорила она мне. Понимаешь, Генри, Валя попала не случайно в колонию. Она была настоящей воровкой и совершила множество краж, в основном квартирных. Многие, в том числе Тамара Владимировна, не советовали мне жениться на ней. Она все равно возьмется за старое,— говорили они. Но я другого мнения. Валя еще очень молода и может исправиться.

Бригадир Иван Петров был совершенно другого склада, чем Штамбург. Небольшого роста, черноволосый, с выступающими скулами и колючими глазами, он произвел сразу отталкивающее впечатление. Уже по внешнему виду можно было определить, что он уголовник-рецидивист. Как и положено «блатарю», носил он щегольские сапожки-гармошкой и брюки навыпуск. Из кармана брюк торчал шнурок кисета с табаком. На голове красовалась кубанка, которая в холодные дни сменялась шапкой-ушанкой. Грудь украшала татуировка — черт несет мешок. Смысл такой: урка имеет солидный «багаж» судимостей.

В отличие от Штамбурга, Петров правил бригадой с помощью отборной матерщины, кулаками и палкой, добиваясь таким путем отличных успехов. Его бригада была всегда на хорошем счету, и Петров считался так же, как и Игнат Максимович, передовиком производства. Начальство не интересовалось, каким путем он добивался выполнения плана. Для них важен был конечный результат. Жаловаться было бесполезно. Петров имел своих помощников-шестерок, которые следили за членами бригады и доносили обо всем. Они по указанию своего бригадира избивали жалобщиков безжалостно.

Петров был в прошлом «вором в законе», состоял в воровской группировке и соблюдал воровские законы. Теперь, однако, он стал работать бригадиром, нарушая при этом один из главнейших законов блатного мира. Работать он не имел права и должен был жить только на средства, добытые преступным путем.

Как раз в эти годы (1946—47 гг.) среди преступного мира возникла группировка, которая требовала разрешения работать и занимать любую должность в колонии, в связи с тем, что за разные имущественные преступления стали давать до 25 лет.

Оставляя неизменными другие традиции — сходки, общую кассу, карточные игры, поборы с честно работающих эков, они хотели легальным путем занять должность, где можно без особых усилий пользоваться льготами. Эта группировка («отошедшие») позднее распалась. Петров был одним из ее представителей, которых часть урок называли презрительно «суками».

Петров имел свою «маруху» — низенькую, плотно сбитую девицу, которая также неоднократно осуждалась за воровство. Он любил, однако, разнообразие и трудился одновременно на разных фронтах. Понятие ухаживания ему было незнакомо. Если ему приходилась по вкусу какая-нибудь заключенная, он приступал без лишних слов к делу, и в случае сопротивления действовал кулаками. Но Петров знал, кого выбирать, и предпочитал воровок, которые редко отказывались.

Работа в лесу изматывала людей, особенно тогда, когда во главе бригады стояли такие субъекты, как Петров. На амбулаторный прием постоянно приходили эки, которые жаловались в основном только на сильную слабость. Не помогала и дубина бригадира.

Он был цирковым борцом

Однажды на пороге приемной амбулатории появился мужчина лет сорока пяти, с интеллигентным и очень несчастным выражением лица.

— Как вас зовут? — спросил я.

— Зауэр Глеб Константинович.

— Вы что, немец? — удивился я.

— Не совсем.

— Как это понимать?

— Видите ли, моя настоящая фамилия Зимнинский. Когда я был цирковым борцом, то выбрал себе этот псевдоним.

— Интересно. В местах заключений я пока лишь один раз, в Казани, встретил циркового борца. Вы — второй.

— А вы случайно не помните фамилию того борца?

— Его звали Кабанов.

— Знаю его. Это был борец не очень высокого класса. Приблизительно такой, как я.

— На что жалуетесь?

— Сил нет. С трудом хожу. А работать совсем уже не могу.

Я подумал, если цирковому борцу трудно работать в лесу, что же тогда требовать от остальных?

Лесоповал считался одним из самых тяжелых видов работ в местах заключений. В военное время три недели лесоповала именовались не иначе как сухим расстрелом.

— Раздевайтесь, пожалуйста, — предложил я Зауэру.

Лицо его было овальное, уши несколько прижаты, глаза голубые, нос довольно крупный. Коротко стриженные волосы оказались очень светлыми. Мощная шея говорила о том, что она принадлежала борцу

классического стиля. Руки были еще крепкими, с хорошо развитыми бицепсами. На доходягу он не смахивал.

Я прослушал его. Тоны сердца были глуховатыми.

— Одышки нет? Отеков?

— Немного есть. Ноги отекают.

— Покажите!

Ноги напоминали толстые бревна, а тыльные стороны стоп — мягкие подушки. Когда я пальцем надавил на голень, осталась глубокая ямка.

— Давно у вас отеки?

— Давно.

— А вы не обращались в амбулаторию?

— Обратился, когда Кордэ была в отпуске, но врач Торбеева сказала, что это ничего, и надо меньше пить воды. А я вообще очень мало пью.

— Придется вас положить в стационар. Вас это устраивает?

— Что вы, доктор, конечно. Я вам очень благодарен, — его лицо приняло такое выражение, будто ему вручили ценный подарок.

С этого дня у меня появился новый собеседник, который в дальнейшем стал моим близким другом.

Биография Глеба Константиновича оказалась интересной. Он родился и вырос в Казани в зажиточной семье. Отец был предводителем дворянства города.

Зауэр учился в гимназии, но занятия его не очень увлекали, а когда началась революция, он бросил учебу.

В то время цирковые представления были очень популярными, и Глеб Константинович стал их посещать, особенно когда выступали профессиональные борцы. Внушительные фигуры атлетов — широкие плечи, бычьи шеи, мощные бицепсы и трицепсы, крепкие ноги — все это произвело на него неизгладимое впечатление, и он решил стать борцом. Сначала купил себе двухпудовые гири и стал качать мышцы.

Одновременно занимался гимнастикой. Природа не обделила его силой, и когда в Казани снова появились в цирке борцы, его приняли в труппу.

В дореволюционные и двадцатые годы французская борьба была неотъемлемой частью цирковой программы и привлекала многочисленных зрителей. Гремели такие имена, как Поддубный, Заикин, Лурих, Гаккеншмидт, Збышко-Цыганевич и другие. Их знали все.

Однако далеко не всегда борьба в цирке была честной, и нередко исход поединка определялся заранее. Мне это было непонятно.

— Понимаете,— объяснил мне Зауэр,— нельзя иначе. Представьте себе, что борцы будут бороться честно. Как бы выглядела такая борьба? Скучно и не зрелищно. Противники будут толкать друг друга, особенно когда они равны по силе, пока одному из них не удастся сделать удачный бросок. А может быть, один положит другого через минуту на лопатки? Как будет на это реагировать публика? Она хочет увидеть напряженную, драматическую, зрелищную борьбу с многочисленными приемами, а ее сделать в честном поединке очень сложно.

Мы были артистами и работали по заранее составленному сценарию. Каждый из нас имел свое амплуа, и труппа составлялась с таким учетом, чтобы в ней были разные борцы: высокие и маленькие, толстые и тонкие, блондины и брюнеты, красивые и уродливые, чернокожие и белые... И, конечно, всем давали громкие имена: чемпиона России, Европы, мира...

— А когда вы взяли свой псевдоним?

— Когда стал работать в труппе А. П. Горца, так звали нашего антрепренера. Он посмотрел на меня и сказал: «Ты — блондин, это очень хорошо. Нам такого как раз не хватает. Будешь выступать как чемпион города Риги. Только выбирай себе другую фамилию, лучше немецкую». Вот я и взял псевдоним Зауэр.

Знаете, есть такая знаменитая фирма, которая изготавливает охотничьи ружья?

Глеб Константинович вытащил маленькую фотографию — переснятую цирковую программу 1925 года.

— Вот, Генри, здесь можете увидеть и мою фамилию. На афише было написано:

«11 и 12 марта. Тверской государственный цирк. Грандиозное открытие большого международного чемпионата французской борьбы, устроенного для профессиональных борцов всех стран. Организатор — А. П.Горец».

Лучшим борцам-победителям будут розданы призы:

1-й приз — 500 руб. и почетный диплом

2-й приз — 300 руб. и почетный диплом

3-й приз — 200 руб. и почетный диплом

4-й приз — 100 руб. и почетный диплом

5-й приз — золотой спортивный жетон с оттиском атлета.

В чемпионат записаны лучшие первоклассные борцы и чемпионы мира. Пока прибыли и участвуют в параде:

Н. Квариани — чемпион мира и гордость Кавказа, неоднократно премирован за красоту

Бурхан — чемпион Туркестана

Дружинин — чемпион России

К. Бровский — чемпион Курляндии

Ив. Загоруйко — чемпион Киева

Зауэр — чемпион города Риги

Ермак — чемпион Сибири

Григорий Рощин — чемпион мира, участник Московского чемпионата 1924 г.

Де-Кравец — чемпион Европы, бывший в Твери «Черная маска» в 1924 г.

Дядя Леший — чемпион Дальнего Востока, вес 10 п. 11 ф.

Громобой — русский богатырь, убивший ударом кулака быка, и другие.

Правила борьбы: срок 1-й схватки борьбы — 30 мин. В случае, если первая схватка не приведет к результатам, вторая схватка назначается решительной.

Перед борьбой в 11 час. вечера парадный выход всех прибывших борцов. Запись борцов в чемпионат продолжается».

В этой же афише я прочитал, что Зауэр борется с чемпионом Сибири и Анчаровым.

— А вы были в Риге? — поинтересовался я.

— Нет, никогда.

— И вы тоже заранее договаривались об исходе схватки? Скажем, с тем же Анчаровым?

— Нет. Это определял Горец. Он мне, например, говорил так: вот что Зауэр, будешь бороться минут двадцать, а затем дай Анчарову возможность положить тебя на лопатки.

— И все так боролись?

— В нашей труппе обычно все было заранее известно. Были, конечно, исключения. Что касается таких борцов, как Поддубный, Збышко-Цыганевич, Заикин и другие, то это были чистые «буровики» (борцы, не признающие нечестную борьбу).

— А в вашей труппе были хорошие борцы?

— Да, конечно. Великолепным борцом был, например, мой друг Квариани, который, между прочим, неоднократно премировался за красоту, или мой учитель Аполлон (настоящая фамилия Алексей Маштанский). Его называли так из-за великолепного телосложения.

Плохих борцов не было. Может быть, были посредственные. Тогда довольно часто приглашали на арену любителей борьбы из числа зрителей, среди которых попадались очень крепкие мужички. Поэтому нельзя было иметь плохих борцов — мог получиться

конфуз. Правда, иногда кто-нибудь из нас играл роль этого «зрителя», но это не всегда удавалось.

А вообще цирковая борьба — чаще всего хорошо организованный спектакль, и, как в театре, здесь распределялись роли. Были «любимчики» и «злодеи», жестокие и благородные, дикие, хитрые и простодушные... Один мог ринуться на своего противника рыча, как дикий зверь, другой, наоборот, держался спокойно и хладнокровно.

Я встречал, например, одного борца, которого именовали чемпионом Азии, человеком с железной хваткой, его звали Оно Китаро. На афише стояло, что это знаменитый японский борец, но на самом деле был он не то киргиз, не то казах. Фигура у него была довольно посредственная. Он поднимался медленно на арену, вытягивая руки вперед, кружил вокруг своего противника, а затем неожиданно хватал его за кисти. Тот начинал извиваться, как змей, от «боли», но оторваться никак не мог и вынужден был прекратить схватку, считая себя побежденным. На самом деле вся эта борьба была не чем иным, как инсценировкой. Никакой железной хваткой Оно Китаро не обладал.

Глеб Константинович много ездил по городам России, пока труппа не распалась. Времена наступили голодные, и бороться стало все труднее. Да и цирки постепенно прекратили свое существование. Зауэр поступил в физкультурный техникум (Спасский педтехникум), работал сначала в Спаске, затем в Мариинском Посаде, а позже окончательно обосновался в Юрине, где преподавал физкультуру в школе. Здесь остались у него жена и дочь.

У Глеба Константиновича было две слабости: женщины и вино. Правда, последнее увлечение он оставил до ареста. Когда я его спросил, сколько раз он был женат, мой новый друг задумался.

— Если считать зарегистрированные браки, то их было три, а может быть, и четыре. Понимаете,— объяснил он мне,— я же не имел своего дома и мотался по разным городам, сегодня здесь, а завтра там. А мы, борцы, пользовались большим успехом у женщин. Многие из них приходили специально в цирк, и не только затем, чтобы понаблюдать за ходом поединков и полюбоваться фигурами борцов, но также и для того, чтобы пригласить их к себе. И не только на одну ночь. Таких было много, и мы этим пользовались.

Но одно дело — провести ночь с интересной дамочкой, другое, когда приходится у нее быть неделями.

Понимаете, Генри, мы жили постоянно в захудалых и грязных гостиницах и домах приезжих, где стены были бурыми от клопов, а уборная находилась во дворе. Пользовались столовой, где скверно готовили, или сами занимались стряпней. Все это, конечно, надоедало. Мы мечтали о домашнем уюте и чистой постели, и вкусной еде, и когда такая возможность предоставлялась, мы от нее не отказывались. Не забудьте к тому же, что мы всегда были голодными, а бороться с пустым желудком — мучение. Борец, который не получает ежедневно хорошую порцию мяса — не борец.

Но в маленьких провинциальных городах все на виду, и чтобы не портить репутацию наших дам, мы нередко вынуждены были играть роль женихов. Должен вам сказать, что у меня иногда были действительно серьезные намерения, я даже дважды регистрировал браки, но увы, счастье длилось не долго. Грешный я человек. Генри, и может быть поэтому меня Бог наказал. В свое оправдание, однако, хочу сказать: хотя я и был в чем-то легкомысленным человеком, это не мешало мне оставаться хорошим преподавателем физкультуры, тренером и организатором. Мои воспитанники принимали участие во всех

соревнованиях, и не счесть тех грамот и наград, которые они получили. Меня знали как хорошего специалиста, не только в Спасске, Марпосаде и Юрине, но и во всей республике. Не хочу хвалиться, но многие из моих учеников добились высоких результатов. Среди них был и чемпион мира.

— Серьезно? — удивился я.

— Да. Это известный борец и тяжелоатлет, который своими успехами целиком обязан мне.

— А как звали его?

— Николай Жеребцов. Вы слышали о нем?

— Нет.

— Так вот: Коля Жеребцов вырос, как и я, в Казани. Я его знал давно и был одно время женат на его сестре Марии. Парень ничем особенно не отличался. Его можно было назвать интересным, если бы не одна деталь — сломанный нос, что его очень удручало. Может быть, именно нос и был причиной того, что он решил заниматься тяжелой атлетикой. Самолюбивый парень, видимо, решил так: если не могу выделиться красотой лица, то хотя бы красотой фигуры. Вот он и начал заниматься под моим руководством борьбой и тяжелой атлетикой и очень быстро добился высоких результатов. Побил рекорд в жиме двумя руками, который принадлежал мировому рекордсмену Яну Спарре.

— Яна Спарре я знал.

— Серьезно?

— Да. Когда я учился в 1-м Московском медицинском институте, то дважды в неделю ходил на Петровку в спортзал, где занимался вместе с другими студентами штангой. Иногда к нам присоединялся и Ян Спарре. Я его хорошо помню — небольшого роста, без мощных мышц, но очень жилистый.

— Мир действительно тесен. Так вот,— продолжал Глеб Константинович,— вскоре Коля победил на

международной рабочей спартакиаде в жиме также и олимпийского чемпиона Арнольда Лухайера. А позже под псевдонимом Вердена с большим успехом выступал в классической борьбе среди сильнейших советских и иностранных борцов-профессионалов.

Глеб Константинович был осужден по статье 58 ч. II сроком на восемь лет. По натуре он был очень разговорчивым человеком, что его и погубило. К советской власти он относился весьма критически и ненавидел «отца народов», которого называл «гутталинчиком». Его обвинили не только в антисоветской агитации, но и пытались сделать из него немецкого шпиона. Основанием для такого обвинения служило одно обстоятельство: Зауэр держал голубей. А поскольку этих птиц можно использовать для почтовой связи, был сделан вывод: он держал их, чтобы передавать нужную информацию вражеской агентуре.

В его личном деле написано: «из поступивших материалов в Юрин-ское РО НКВД МАССР установлено, что Зауэр среди окружающих его лиц проводит антисоветскую пораженческую агитацию, возводит антисоветскую клевету против проводимых мероприятий партии и советского правительства, чем совершает преступление, подпадающее под действие ст. 58-10ч2 УК РСФСР...»

В его деле, например, такие высказывания: ...«с русскими военнопленными большевики поступают так же, как в свое время поступили с духовенством, которое было замучено и растерзано в тюрьмах... У нас жизнь построена так, чтобы никто ничего не имел, а жили впроголодь»...

Я занимался с малых лет спортом, а в студенческие годы и штангой, что нас и сблизило с Глебом Константиновичем. Мы вспоминали размеры бицепсов и шеи известных силачей и борцов, и мне также пришлось заняться антропометрией. Под руководством Зауэра я

вновь стал тренироваться. Штанги не было, и вместо нее я приспособил крепкую палку, на концы которой привязывал мешки с песком.

Глеб Константинович оказался прекрасным собеседником, знатоком русской истории, литературы и музыки. Однако, как и многие сильные мужчины, он обладал далеко не сильным духом и, как мне показалось, быстро «опустил крылышки».

Он был бойцом на арене, где видел своего противника, но не в жизни. Даже внешне это было заметно: опущенные плечи, потухшие глаза, тихая, неуверенная речь.

Дней двадцать я держал своего нового друга в стационаре, пока отеки не исчезли, а затем выписал его на работу в зоне. С помощью Чаузского мы устроили его дневальным в одном из барачков для осужденных по 58-й статье.

Глеб Константинович часто приходил ко мне в стационар, и я его предупредил, чтобы он непременно брал с собой котелок. В аптечке для него всегда была припасена мисочка с кашей и хлебом.

«Царица»

Как-то в колонию прибыл очередной этап из Козьмодемьянска, и я направился в баню, чтобы следить за санобработкой. Нередко среди вновь прибывших встречались завшивленные, и поэтому требовался строгий контроль со стороны медицинских работников.

Когда я вошел в моечную, то там находилось около двадцати женщин, которые были несколько смущены моим появлением, но далеко не все. Одни из них хихикали и пытались руками прикрыть свои прелести, другие же не обращали на меня внимания и продолжали спокойно мыться.

Пройдя бесчисленный раз унижительную процедуру санобработки многие зэки, в том числе женщины, уже теряли способность краснеть и смущаться. Мне не раз приходилось быть в бане среди обнаженных женщин, которые во время проверки работы дезкамеры сидели рядом со мной на скамейке и мирно беседовали о своих делах. При этом я невольно вспоминал картину французского импрессиониста Манэ «Завтрак на природе», где пышные обнаженные девицы расположились среди элегантно одетых мужчин.

Я обратил внимание на высокую, очень стройную белокурую девушку, которая стояла в углу и прикрывалась шайкой. Увидев меня, она слегка покраснела, и на лице ее появилась загадочная улыбка. Этой улыбкой было много сказано без слов, и я понял ее.

Вечером в клубе состоялся вечер самодеятельности, и в хоре я заметил вновь эту притягательную девушку. Она кивнула мне головой, как старому знакомому, и вновь улыбнулась. Когда хор закончил свое

выступление, и опустился занавес, я поднялся на сцену. Певцы покинули ее, а девушка осталась. Видимо, ожидая меня. Я подошел к ней.

— Вы хорошо пели,— сказал я.— Если не секрет, откуда вы?

— Из Юрина.

— А как вас зовут?

— Тамара. А вас Генри, не так ли?

— Уже знаете мое имя?

— Конечно. Вас здесь все знают.

— Вас, кажется, завтра отправляют в этап?

— Да, к сожалению.

— Не хотите покинуть колонию?

— Да. Здесь все-таки ближе к дому.

Я повел девушку за кулисы, где стояла небольшая скамейка.

— Здесь спокойнее и можно побеседовать. Садитесь, Тамара,— предложил я.

Девушка охотно согласилась. Из ее слов я узнал, что она после окончания десятилетки устроилась в одной из контор поселка, но по неопытности была вовлечена в аферу и осуждена за должностное злоупотребление к трем годам лишения свободы.

В разговоре я выяснил, что она хорошо знает Глеба Константиновича, который у них в школе преподавал физкультуру.

— Его в Юрине все знали,— вспоминала она,— и о нем ходили легенды. Однажды был такой случай: во время уроков кто-то спросил Глеба Константиновича,— а правда ли, что вы можете мизинцем выжимать двухпудовую гирю?

— Да, правда,— ответил он.— Если хотите, могу это доказать. Принесите гирю. Короче говоря, двое ребят с трудом притащили гирю, и Глеб Константинович без труда выжимал ее мизинцем.

Мы беседовали минут 15—20, а нам показалось, что мы давно уже знакомы. Мы были влюблены друг в друга с первого взгляда и не скрывали этого. Правда, словами мы свои чувства еще не высказывали — вместо них говорили наши глаза.

В клубе мы, кажется, остались одни, и пора было уходить.

— Сейчас будет отбой, Тамара. Очень жаль, конечно. Мы с вами только познакомились и уже приходится расставаться.

— Не хочется сейчас расставаться,— лицо ее стало печальным. Девушка мне очень понравилась. Чистое, нежное лицо, выразительные голубые глаза, прямой нос и красиво очерченный рот, да еще длинные золотистые волосы могли пленить не только меня. Не зря Тамару звали в Юрине «царицей». Мне терять было нечего.

— Тамара, пойдите ко мне,— предложил я,— пусть этот вечер будет нашим. Перед расставанием. Вы согласны?

— Да,— ответила она тихо.

Было уже темно, и нам удалось незаметно пройти в стационар. На всякий случай я предупредил Феклу.

— Если кто-то придет — сразу сообщи. Я не один.

Санитарка меня прекрасно поняла.

— Конечно, сделаю.

Мы знали, что это — единственная ночь, которую нам суждено быть вместе, и решили дать своим чувствам полную волю. О сне не могло быть и речи. Только ближе к утру Тамара уснула на короткое время в моих объятиях.

Нам показалось, что мы созданы друг для друга, и поэтому расставание давалось нам особенно тяжело.

Со слезами на глазах она попрощалась со мной, и со слезами на глазах явилась на вахту, чтобы отправиться в дальний путь. Но никогда не забудется эта ночь.

Происшествия в Кузьмина

Мне приходилось довольно часто посещать окрестные деревни, чтобы лечить вольнонаемных и их родственников. Конечно, всегда в сопровождении конвоира. В студенческие годы я занимался довольно успешно легкой атлетикой, и в ходьбе мог и сейчас развивать завидную скорость, которую старался продемонстрировать, когда приходилось идти под конвоем.

Среди сотрудников ВОХРа выделялся старшина Попрухин, низенького роста, плотный мужчина лет тридцати с самодовольным лицом и бакенбардами. Он страшно гордился своим званием и неизменно ходил опоясанный множеством ремней и всегда с полевой сумкой, которая болталась около его ног.

Он считал себя большим начальником и старался это подчеркнуть, особенно тогда, когда имел дело с заключенными из интеллигенции.

Я мстил ему и другим конвоирам тем, что в буквальном смысле слова убегал от них. Просить меня сбавить шаг им не позволяла гордость, и они были вынуждены, обливаясь потом, бежать за мной.

Удивительные типы попадались среди сотрудников колонии, многие из которых, вероятно, нигде больше не могли бы себе найти работу. Рекорды по тупости бил начальник пожарной охраны Золотцев, который с трудом освоил таблицу умножения.

Когда ему приходилось считать эков перед направлением на работу, то это было для него тяжелым испытанием. Золотцев выходил из затруднительного положения несколько своеобразным способом: после десяти он продолжал считать — еще один, еще два, еще три и так далее.

Меня чаще всего вызывали в деревню Кузьмине, где проживало большинство стрелков. Это была чисто марийская деревня с добротными избами, резными наличниками и большими воротами с солярными знаками в виде розетки.

Деревня отличалась тем, что в ней постоянно случались происшествия и чаще всего трагические.

В тот вечер я сидел, как всегда, в своей комнатушке, когда неожиданно появилась Тамара Владимировна.

— Гарик! Давай быстрее, собирайся! Поедем в Кузьмине. Там несчастный случай у Сорокановых.

На этот раз ко мне не прикрепили конвойного. Начальство доверяло моему шефу.

За вахтой уже ожидали сани. До Кузьмине было рукой подать. Мы остановились у ворот большой пятистенной избы, в окнах которой еще горела керосиновая лампа.

Как и во многих марийских избах, жилая часть состояла из большой комнаты и кухни, отгороженной деревянной перегородкой.

На полу, в середине комнаты лежал молодой человек, лицом вниз, а рядом с ним охотничье ружье. Я обратил внимание, что на правой ноге у него был протез. Пожилая женщина в черном платке и галошах на босу ногу, видимо, его мать, встретила нас, вытирая слезы.

Даже не осматривая молодого человека, было ясно, что он мертв.

— Как это случилось? — спросила Тамара Владимировна.

— Он пришел сегодня домой и сказал: дай водки. Я дала стакан, и он выпил. Он был очень и очень невеселый. Я сказала: что с тобой? Ничего, — говорит он. Я пошла в хлев. А потом я услышала выстрел. Я побежала в дом, а он лежит на полу. Уже не живой.

Я повернул труп и увидел, что заряд попал в левую половину грудной клетки, несколько ниже соска, прямо в сердце. Рубашка в этом месте была разорвана и пропитана кровью. Лицо Сороканова можно было назвать привлекательным: прямой нос, красиво очерченные губы, волевой подбородок, карие глаза и гладкие черные волосы.

— Он участник войны? — спросил я.

— Да. Оттуда пришел без ноги.

— Он не оставил записку?

— Нет.

Тамара Владимировна села на скамейку, положила ногу на ногу и закурила.

— Как думаешь, Генри? Наверно, несчастная любовь или что-то в этом духе? А что может быть еще? Ссора?

— А у него была девушка? — спросила мой шеф.

— Девушка? Да, была девушка. Он хотел жениться.

— А зачем ему тогда стреляться?

— Они не хотели.

— Кто они?

— Родители. Очень не хотели. Говорили: он черемис, он инвалид.

Нам здесь больше делать было нечего. Признаков борьбы мы не нашли, и все говорило о том, что Сороканов покончил с собой. Мы написали свое заключение и отправились обратно в колонию.

Дальнейшее следствие показало, что Сороканов действительно покончил с собой из-за девушки, на которой он хотел жениться. Сама она была не против, но родители возражали.

В тот день девушка сказала ему, что имела крупный разговор со своими родителями, но не смогла их переубедить.

В деревнях русское население нередко еще смотрело на марийцев с превосходством и не поощряло браки с ними. Данный случай с Сорокановым довольно

характерный, удивляло лишь одно: почему девушка послушала своих родителей? Какая это тогда любовь?

Прошло дней десять, а может быть и несколько больше, когда я вновь был вызван ночью в Кузьмине.

— Гарик, опять ЧП,— разбудила меня Тамара Владимировна,— учительница Тамара Пигалева перерезала себе горло. Захвати, пожалуйста, все необходимое для оказания первой медицинской помощи. И обязательно хирургические иглы и шелк.

В избе нас встретил Пигалев, который в конторе колонии работал бухгалтером. Не могу сказать, чтобы он мне нравился. Мясистое лицо, толстый нос и висящая нижняя губа не вызывали симпатии.

— Пожалуйста, помогите,— обратился он к Тамаре Владимировне и ко мне. В середине комнаты на большой кровати с металлическими шарами лежала девушка лет двадцати двух. Довольно невзрачное лицо было мертвенно бледным. Всюду виднелась кровь — на подушке, на одеяле и даже на полу. На тумбочке, которая стояла рядом с кроватью, я увидел окровавленную опасную бритву.

Девушка была без сознания, и пульс едва прощупывался. Видимо, она потеряла много крови. На шее виднелась широкая резаная рана.

При внимательном осмотре выяснилось, что, к счастью, крупные жизненно важные кровеносные сосуды не были задеты, а дыхательное горло лишь слегка.

Я наложил семь швов, сделал уколы и дал понюхать нашатырный спирт, после чего девушка пришла в сознание.

Она посмотрела на меня с удивлением и, как мне показалось, даже с укором, а затем сказала тихо:

— Не надо было мне помогать, доктор.

Пигалев подошел к нам.

— Как она? Будет ли она жить?

— Конечно. Ей повезло. Если бы немного поглубже, ничто бы ее не спасло.

Когда мы поехали обратно в колонию, Тамара Владимировна спросила меня:

— А ты знаешь эту девушку?

— Нет. Знаю только, что она учительница.

— Это из-за нее покончил с собой Сороканов.

— Неужели?

— Да. Она оставила, между прочим, записку, где обвинила своих родителей, которые не разрешили ей выйти замуж за Сороканова.

— Не проще ли было выйти замуж без согласия родителей, чем резать себе горло. Очень глупо.

— Я того же мнения. Не родителям жить с парнем, а ей.

Через месяц, когда снег уже растаял, случилось еще одно ЧП. Километрах в трех от колонии, в лесу, нашли изуродованный труп конюха. Вокруг его живота была обвязана длинная веревка, конец которой оказался разорванным. Лицо покрывали ссадины и кровоподтеки, несколько зубов оказались выбитыми.

При осмотре, ощупывая грудную клетку, я обнаружил множественные закрытые переломы ребер.

Об этом конюхе шла дурная слава. Говорили, что он торгует овсом, предназначенным для лошадей, и кормит им в первую очередь свою семью. Вероятно, поэтому кони имели у него весьма жалкий вид.

На этот раз мне пришлось играть роль Шерлока Холмса. После осмотра трупа я обследовал местность и нашел метрах в пятистах костер, который еще дымился. От него по направлению к трупу тянулся широкий след, на котором четко отпечатались конские копыта. В некоторых местах я обнаружил обрывки одежды и около здорового пенька шапку конюха. По всему было видно, что конюха волокли по земле через кочки и

валежник и, вероятнее всего, это сделала лошадь. Вопрос только: почему?

После недолгих раздумий я пришел к выводу, что конюх сторожил лошадь около костра и, боясь что она убежит, а он уснет (он выпил немного), привязал себя к ней длинной веревкой. Вероятно, что-то испугало животное, и оно помчалось в лес вместе со своим сторожем. Вскоре мы нашли и лошадь, около шеи которой болталась оборванная веревка.

Зэки говорили, что Бог наказал его за то, что он обкрадывал лошадей.

Тамара Сорвиголова

В колонии я встречал много ээков, которые до этого были в Ошле. Однажды я был крайне удивлен, когда в аптечку зашла Тамара Кулакова. Мы были с ней в очень дружеских отношениях, и мне казалось, что она любит меня.

Тамара никогда не унывала, любила петь и танцевать, играла на балалайке и гитаре, участвовала в вечерах художественной самодеятельности и не строила из себя принцессу-недотрогу. Ее знали все, и там, где она появлялась, никогда не царила скука.

Правда, у Тамары уже появились кое-какие блатные замашки и в разговоре, и в поведении. Ее устроили медсестрой на подучастке Красная горка, где в основном находились бесконвойные, которые работали на сплаве и лесоповале.

— Мне там живется неплохо,— рассказала она,— я там делаю, что хочу. Охраняет нас пожилой мариец, который постоянно пристает ко мне.— Я тебе все сделаю,— говорит он мне,— если будешь со мной.— Конечно, отвечаю,— только пустите меня вечером в деревню, в клуб на танцы. Он, конечно, пускает, и я почти каждый вечер бываю там.

— А обещание?

Тамара засмеялась.— Когда он лезет ко мне, говорю, потом, сегодня нельзя. Только одно плохо.

— А что?

— Тебя там нет. Может быть, поговоришь с Тамарой Владимировной, чтобы меня перевели сюда?

— Поговорить, конечно, могу, но не знаю, что из этого получится. Здесь пока все места заняты.

— А знаешь, Генри, Лидке прибавили срок.

— Какой Лидке?

- А той, которая меня ударила ножом.
- Не думаю, чтобы она из-за этого очень переживала.
- У нее это будет четвертый срок.
- А ты откуда знаешь?
- Я же сидела с ней вместе в КПЗ, когда меня забрали.
- Значит, вы с ней старые знакомые?
- Да. И с этого времени она на меня зуб точит.
- Почему?
- Хочешь, расскажу тебе?
- Конечно.

— Вот, когда меня посадили, я попала сначала в камеру, где встретила знакомую. Она сидела уже не первый раз и объяснила мне, как надо себя держать в камере. Во-первых, советовала она мне, не говори, что ты по бытовой статье, а скажи что по 162 (кража), ну а во-вторых, если что-то не то, сразу бери за горло. Чем наглее будешь, тем лучше. Строй из себя блатную, и тебе всегда будет хорошо. Я так и поступила.

Значит, перевели меня в другую камеру, а там полно народа. Одни лежат на нарах, а другие на полу. Около двери постелили полотенце, чтобы обувь снимать. А я не сняла, а вытираю об него ноги. Все, конечно, вытаращили глаза. Нары двухэтажные. Я забросила шмотки на верхние нары и начала подниматься, а там сидит какая-то тощая девица в трусах и бюстгалтере, вся в наколках. Она ногой отбросила мой мешок и начала материться. Эта была Лидка. Мне терять нечего. Я беру ее за ноги и стаскиваю с нар. Думаю, что она сейчас бросится на меня, но она этого не сделала и сказала спокойным голосом: ладно, немного ошиблась. Думала, что ты фраерша.

Я, значит, заняла место на верхних нарах и начала командовать в камере. Лидка подчинилась мне, но

камень за пазухой держала. Наверно, поэтому она меня ударила ножом в спину.

Тамара пробыла в зоне лишь два дня, а затем снова направилась на Красную горку.

Я встретился с ней лишь в конце осени. Ее привезли в стационар с высокой температурой.

Она посмотрела на меня как-то очень несмело и опустила голову, напоминая провинившуюся школьницу.

— Что с тобой случилось, Тома? — спросил я.

— Сильно болит нога.

— Какая?

— Вот, левая,— девушка показала пальцем на бедро.

— Давно?

— Дня три.

— Раздевайся!

На передней поверхности бедра я обнаружил багрового цвета флегмону и две маленькие точечные ранки.

— Ты знаешь, как это называется, Тома?

— Я тебя не понимаю. Генри.

— Прекрасно понимаешь. Это называется «Мичуринская прививка». Ты проколола кожу иглой с грязной ниткой, которую ты сначала протатила через зубные промежутки. Ну, а нитку ты оставила на денек в коже. Это очень старый прием. Доказательством служат эти две маленькие точки. Они — следы иголки. Зачем ты это сделала?

— Прости, Генри, очень надоело быть на участке. Я хотела к тебе.

— И для этого надо было уродовать себя?

— Другого способа я не нашла.

В истории болезни я, конечно, умолчал об истинном происхождении флегмоны и старался делать перевязки сам, без посторонних лиц.

Тамара лежала дней десять в стационаре, а затем должна была возвратиться на свой участок, но случилось очередное ЧП. Двое уголовников-рецидивистов совершили вооруженный побег.

Они работали на лесоповале и отобрали оружие у охранника довольно примитивным способом. Один из охранников, как всегда грелся у костра, держа автомат на коленях и курил. Урки подошли к нему и попросили прикурить. Стрелок переложил автомат в левую руку, а правую с папироской протянул экам. Пока один из эков прикуривал, другой сильным ударом палки по голове оглушил охранника и отобрал у него автомат.

Беглецов довольно быстро настигали. Снег был еще очень вязкий и затруднял движение по лесу. Урки вынуждены были бежать по дороге. Во время перестрелки один из них был ранен в плечо, и мне пришлось оказывать ему первую медицинскую помощь.

Дня через три-четыре их отправили в составе небольшого этапа под усиленным конвоем в Йошкар-Олу. Тамаре поручили сопровождать их в качестве медсестры. Позже она рассказывала мне, как прошел этап.

— Мне, конечно, дали сумку с медикаментами и перевязочным материалом. Я помню, ты мне еще помогал в этом. Вот, а вечером перед отправкой ко мне прибежали пацаны,— Томка, выручай,— сказали они мне,— мы тебя потом оденем с головы до ног.— Они сунули мне целую кучу ножей, которые сами сделали. — Ладно, говорю, и спрятала их под юбкой. На вахте, конечно, устроили шмон, но у меня проверили только сумку.

Идем по дороге. Рядом шагают конвойные и лают собаки. Пару собак они взяли с собой. Вот навстречу в санях едет баба. В тулупе. А на плечах красивый пуховый платок. Конвойные кричат ей: Марья! Уйди с дороги! А она, знай свое и едет прямо на нас.

Конвойные матерятся. Мы уступаем ей дорогу, а пацаны, когда она ехала мимо, стащили с нее платок. Она, конечно, орет: платок украли! — но конвойные только смеются,— предупреждали тебя, Марья. Вечером пацаны отдали мне платок. Вот тебе, Томка, за то, что выручила нас.

Ночевали в какой-то избе. Как называлась деревня, не помню. Изба большая и чистая. Спали на полу. Мебели почти нет никакой: скамейка, стол, ну и, конечно, русская печка. А около нее большущий сундук. Знаешь, такой обитый жостью. Шмоток в нем, наверно, немало. А на нем висит здоровенный замок. Пацаны мне говорят: Томка, завтра мы тебя оденем. Будешь, как барыня. Я, конечно, поняла, что они собираются делать, но молчу. Только подумала: такой замок они не отопрут. Но пацаны бывалые. Они и не думали открывать замок, а отвинтили сзади шарниры, которые держат крышку сундука. Конечно, работали ночью. Набрали порядочно. Пацаны сдержали слово. Когда мы приехали в город, у меня было все, что нужно: и белье, и платья.

Одобрить поведение Тамары я не мог. Мне понятен голодный человек, который ворует хлеб, конечно, не кровную пайку, но здесь воровали по привычке, и не хлеб, а барахло.

В лагерях говорили: порядочный человек тот, кто делает подлость неохотно. В данном случае подлость делали охотно.

Конечно, легко осудить человека, в том числе и Тамару, не говоря уже о пацанах, но и здесь можно было найти какое-то оправдание.

Жизнь заключенного — жестокая борьба за существование, и выдерживали ее лишь те, кто обладал бойцовским характером. Эта борьба шла без правил, и применялись любые средства, чтобы выжить.

За те два года, которые Тамара провела в лагерях, она лишь два-три раза получила помощь от матери,

которой пришлось пройти пешком из Звенигова в Кузьмине более 150 км, чтобы передать дочке немного сухарей. А эти сухари приходилось делить еще с товарками. В лучшем случае их хватало на два дня.

А что касается одежды, то она за это время полностью износилась. Что значит одежда для двадцатилетней девушки, всем известно. Но в местах заключений она имела еще другое значение: в слякотную осень и холодную зиму от нее зависели жизнь и здоровье ээка.

Когда Тамара надела на себя пуховый платок, принадлежащий вознице-марийке, нижнее белье, платье и вязаные чулки из чужого сундука, она, возможно, этим спасла себе жизнь.

Вполне вероятно, она задавала себе сакраментальный вопрос: что важнее — человеческая жизнь или пуховый платок? Может, Тамара вспомнила при этом Раскольников из «Преступления и наказания» Достоевского.

Таких, как Тамара, было немало, они любыми средствами пытались решить для себя жизненно важный вопрос: как пережить, как получить побольше еды и попасть на относительно терпимую работу. Тамара чаще всего работала в качестве медицинской сестры, и для нее эти проблемы отпали. Правда, были периоды, когда ей приходилось работать на лесоповале и даже «доходить».

У ээков были твердые правила: день кантовки — залог жизни, а от работы кони дохнут. Осуществляя их на практике, ээки стремились на амбулаторный прием, чтобы под любым предлогом получить освобождение от работы.

Зоя Романова. Юрий Турилов

Больше всего отмечался наплыв в дождливые и холодные дни. Появлялись не только симулянты, но также и саморубы.

Однажды явилась ко мне Зоя Романова — забава парикмахера Алиева. Стройная, с белокурыми волосами и детским кукольным лицом, покрытым веснушками, она могла пленить не только шестидесятилетнего Фигаро.

— Что с тобой? — спросил я ее.

— Я обожгла руку.

— Чем?

— Кипятком.

— Покажи!

На тыльной поверхности левой кисти я увидел большой пузырь, диаметром около семи сантиметров, с очень ровным контуром и прозрачным содержимым.

Если бы Зоя обварила себе руку кипятком, края ожога не были бы такими ровными. Подобные ожоги я встречал неоднократно. Они вызывались цветками едкого лютика, которые привязывают к руке.

— Зачем ты меня обманываешь, Зоя?

— Я вас не понимаю, — девушка посмотрела на меня невинными глазами, но я уже научился им не верить.

— Где нашла лютики?

— Какие лютики? — На этот раз у Зои слегка покраснели щеки.

— Это тебе лучше знать. Не забудь, я не первый день сижу в колонии. А то, что ты привязала к руке лютики, об этом мне рассказывали еще вчера вечером.

Об этом мне, действительно, доложила Тося Сабанцева, у которой везде были свои люди. Зоя, которая еще недавно числилась малолеткой, сохранила

еще остатки детской непосредственности и доверчивости. Поэтому она и не скрывала от своих подруг намерение устроить себе освобождение от работы, забыв, что повсюду есть недоброжелатели.

— Это неправда.

— Могу тебе даже сказать, где ты нашла эти цветы. За баней, недалеко от «запретки».

Девушка опустила голову.

— А что будете сейчас делать, Генри? — в ее глазах я прочитал тревогу.

— Что буду делать? Сначала вскрою пузырь, а потом сделаю перевязку. Дай руку.

— А это будет больно?

— Нет.

Я вскрыл пузырь, срезал мертвую кожу и наложил повязку.

— Вот что, Зоя, по правде говоря, я должен был гнать тебя на работу за обман. Вольняшка посадила бы тебя за такие фокусы дней на пять в карцер, а то и больше. То, что ты сделала, называется саботажем — сознательным неисполнением своих обязанностей. За это в военное время прибавляли срок. Ладно, на этот раз я освобожу тебя на денек от работы, но больше с такими ожогами ко мне не появляйся. Понятно? Будем считать, что ты обожгла руку кипятком. А сейчас скажи честно — зачем ты это сделала?

— Хотела немного отдохнуть,— на этот раз глаза у девушки были грустными,— очень тяжело на лесоповале. А бригадир Петров вообще не дает нам передышки. Он знает только: давай, давай.

Но в отличие от Казлага, здесь не было таких отъявленных головорезов, которые чуть ли не силой требовали освобождений от работы. Правда, были исключения.

После меня работал некоторое время в Ошле бывший военный врач Горбашов, осужденный по 58-й

статье. Во время войны он попал в плен и жил в Германии года полтора. Вернувшись домой, он рассказал своим друзьям о пережитом и как-то проговорился о том, что в Германии медицинская сестра живет лучше, чем у нас врач. Один из его «друзей» доложил об этом, куда следует. Этого было достаточно, чтобы осудить Горбашова за антисоветскую пропаганду. Однажды, уже работая в санчасти колонии врачом, Горбашов отказался дать одному уркагану освобождение от работы. Тот явился на следующий день снова за освобождением и опять-таки получил отказ. Тогда он попросил лекарство. Врач подошел к аптечному шкафу, открыл его и нагнулся, чтобы взять требуемое лекарство. В этот момент он получил сильнейший удар топором по голове и скончался на месте.

Быть «лепилой», как называли врачей и фельдшеров блатные, было далеко не безопасным занятием.

Я всегда жалел таких молодых девчат, как Зоя Романова или Леля Кольцова, которые по существу еще были детьми и попали в тяжелые военные и послевоенные годы в места заключения.

Но в Кузьмине я встретил эков гораздо моложе — пятнадцати- и даже четырнадцатилетних. Согласно статьи Уголовного кодекса 1926 г. детей с 12-летнего возраста могли судить за кражу, насилие, увечья и убийства, правда не на «всю катушку», как взрослых.

С 1935 г. детей с 12-летнего возраста могли уже судить с применением всех мер наказания вплоть до расстрела, согласно указу ЦИКа и СНК от 7.04.1935 г.

7 июля 1941 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета, согласно которому могли судить детей с применением всех мер наказания также и в тех случаях, когда они совершают преступления не умышленно, а по неосторожности (вплоть до расстрела).

Однажды, когда я сидел с Тamarой Владимировной на амбулаторном приеме, пришел высокий худощавый мальчик лет пятнадцати, круглолицый, с густыми черными бровями, с карими глазами и интеллигентным лицом.

— Тебя как зовут? — спросила его мой шеф с каким-то особым участием. Она относилась к малолеткам всегда с большой заботливостью, может быть и потому, что не имела своих детей.

— Турилов Юра.

— А ты откуда сам?

— Я из Москвы.

— Из Москвы? — Мой шеф сделала удивленное лицо. Малолеток из Москвы мы еще не встречали.

— По какой статье сидишь?

— По 136-ой (убийство).

— Это каким образом ты получил такую статью?

— Случайно.

— Как это понять — случайно?

— Ну, полезли мы с одним корешком в одну хату, а там в буфете вино. Несколько бутылок красного и одна водки. Мы и выпили бутылку. Я, конечно, немного опьянел. Вижу — на стене висит ружье и рядом патроны. Очень хотелось пострелять. Я и зарядил ружье. А потом открыл окно. Куда стрелять, думаю? А напротив стоит дом. Деревянный, одноэтажный. Я прицелился в дверь и выстрелил. А за дверью стоял мужик. Я в него попал. Немного не повезло.

— А зачем в квартиру полез?

— Да так. Попал в одну компанию. А отказываться не хотелось.

— От воровства?

— Да вообще.

Оказывается, Юра был из хорошей семьи. Отец — полковник, а сейчас служит в Германии. Мать тоже работала, кажется, в научно-исследовательском

институте. Парень оказался без присмотра, связался с блатными и стал заниматься квартирными кражами.

Юра, по существу, ничем не болел, а говоря лагерным языком, просто немного «доплыл».

— Давай, Гарик, положим его в стационар, пусть немного отдохнет. Надо парню помочь,— предложила Тамара Владимировна.

— Я не против.

Юра пролежал в стационаре добрых полмесяца и быстро округлился. Он оказался очень развитым и разговорчивым парнем, но чувствовалось, что уже попал под сильное влияние блатных. Это выражалось в том, что он уже «ботал по фене» — пользовался жаргоном урок, да и во взглядах на жизнь, и даже в манерах — расхлябанной походке и независимом виде.

Тамара Владимировна взяла шефство над ним и уделяла ему много времени. Перевела на легкую работу в зону и постоянно следила за ним. Мне она во многом напоминала миссионера, который избрал целью своей жизни распространение своего вероисповедания среди инако-верующих и наставление их на путь истинный.

Она даже начала переписываться с родителями Юры и добилась, чтобы они приехали в колонию на свидание с сыном.

История с Юрой Туриловым окончилась весьма благополучно. Он был досрочно освобожден, вернулся в Москву и распрощался навсегда с блатной жизнью.

Многие зеки были готовы боготворить моего шефа, благодаря которой они остались живы. Да, Тамара Владимировна оказалась удивительным человеком, но не всепрощающим. Не без гордости она считала себя чекистом, припоминая, видимо, слова Дзержинского, что чекист должен обладать горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками.

Каждый человек совершает в своей жизни поступки, о которых впоследствии сожалеет. Среди них бывают

такие, что лежат, как камень, на душе. И наступает момент, когда хочется исповедаться, освободиться от угрызений совести, найти оправдание и объяснение своим поступкам. Такие моменты были и у моего шефа.

— Знаешь, Гарик,— сказала она как-то после рабочего дня, взглянув на меня задумчиво и вытаскивая из кармана очередную папироску,— есть один случай в моей жизни, который я никак не могу забыть. Я его даже часто вижу во сне. А дело было так. В первые дни войны я находилась в Белоруссии. Работала в частях МВД. Немцы бомбили нас с утра до вечера, и царила страшная паника. Люди — молодые, старики и дети, бросали все и двигались нескончаемыми колоннами на восток. Большинство шло пешком, с сумками, чемоданами, мешками на плечах, с детскими колясками, велосипедами, нагруженными вещами... У некоторых были и повозки. Двигались на восток также и заключенные. Была страшная неразбериха, разбежались кто как мог, в том числе и охранники. Я осталась одна с несколькими сотнями эков. Конвоиров не было.

— Давайте,— сказала я им,— будем держаться вместе. У нас один путь — на восток. Лишь это — наше спасение. Забудем о том, кто за что сидит. Все мы советские люди. Сейчас война, и каждый из нас, независимо от того, вольный он или заключенный, должен помогать в борьбе с немецкими фашистами.

А перед тем, как отправиться в путь, я вспомнила, что в изоляторе остались двое: пожилой священник и молодая девушка. Они были схвачены в тот момент, когда карманными фонарями подавали сигналы немцам. Оба оказались немецкими шпионами. Согласно законам военного времени они подлежали расстрелу и ждали исполнения приговора. Я подумала: как быть с ними? Взять их с собой я не могла — не было конвоя, и они бы убежали; оставить немцам — тем более. Выход я видела только один — расстрелять перед отправкой

этапа. Только возникал вопрос: кто этим будет заниматься? Я обратилась к энкам, объяснила, в чем дело, и спросила: кто готов исполнить приговор? Никто не согласился. Как я ни уговаривала их — желающих не нашлось. А времени было в обрез, и размышлять было некогда. Этап уже был готов к отправке, и все ждали только меня. Тогда я вынула пистолет и побежала в изолятор. Открыл дверь камеры священник, одетый в длинную черную рясу, встал с нар и, видимо, хотел что-то спросить, но я выстрелила в него три раза подряд. Он сразу рухнул на пол. Девушка закричала и закрыла лицо руками. Я подошла к ней вплотную и выстрелила ей несколько раз в грудь. А потом выбежала из изолятора, убедившись, что оба мертвы.

Я потом долго не могла успокоиться, но что оставалось делать? Времена были такие.

После этого разговора я находился почти в шоковом состоянии — никак не хотелось верить, что Тамара Владимировна, которая так заботливо, почти по-матерински, относилась к нам, могла убить человека. Дня два-три я даже избегал встречи с ней и лишь потом, постепенно, начал успокаиваться. Я понял, что нет ангелов на земле, нет идеальных людей и напрасно их искать. У каждого свои грехи на душе, у одного меньше, у другого больше. С этим приходится мириться.

А что бы сделал я на ее месте? Я бы не стал стрелять. Одно дело — защищать свою жизнь и достоинство (или другого человека) — тогда можно убить. Другое дело — быть палачом.

О политике я не разговаривал с моим шефом. Эта тема в лагерях была «табу». Здесь никому нельзя было доверять. Но уже то, что «любимчики» Тамары Владимировны — Цуккер, Штамбург, Лебедев, я и другие были все осуждены по 58-й статье, говорило само за себя. Она симпатизировала нам, поскольку мы

были все представителями интеллигенции, к которым она также принадлежала, и главное, она убеждалась, знакомясь с нашими «личными делами», что все выдвинутые против нас обвинения — смехотворны и просто «липа». Она прекрасно понимала, что все мы — жертвы произвола, жертвы системы, а не политические противники и «враги народа». Правда, открыто она не выражала своих мыслей. Но никогда я не слышал, чтобы она упомянула «отца всех народов», «гуталинчика» — она знала ему цену, и никогда не пела дифирамбы в честь нашей партии и правительства. Но Тамара Владимировна верила в коммунистические идеалы и, может быть, поэтому и вступила в партию. Она не была карьеристкой и не стремилась к высоким постам, хотя несколько позже и стала начальником санотдела УИТЛИК МВД МАССР.

Меня всегда поражало ее полное равнодушие к материальным благам. Сколько я знал ее — она ничего не имела, за исключением того, что носила на себе. Одевалась она очень скромно, по-спортивному, но любила хорошую обувь и чулки.

Деньги тратила в основном на питание. Поскольку у нее постоянно имелись нахлебники, зарплата шла почти целиком на покупку продуктов. Тамара Владимировна получала нередко подарки от своих «клиентов» — чаще всего мясо, масло, яйца, молоко, принимала их охотно, но почти сразу отдавала другим.

Свою жизнь она посвящала ближним, словно исполняя данный обет. Я иногда невольно думал, что может быть этим она замаливает свои грехи — вспоминая убиенных ею священника и девушку.

К закоренелым уголовникам — ворам и бандитам — она относилась без особой симпатии, но старалась быть всегда справедливой. Больше всего ее беспокоили молодые заключенные и особенно малолетки. В Кузьмине они попадали в основном за мелкие кражи, за

то, что украли с колхозного поля с десяток огурцов, полведра картошки или карман зерна.

Малолетки

Малолетки — особый народ, который никак нельзя сравнивать со взрослыми заключенными. Мне они всегда напоминали красных волков, хищников не очень сильных, но, однако, в стае способных заставить тигра спасаться бегством и даже разорвать его.

В отличие от взрослого, который сначала думает, а потом действует, малолетки сначала действуют, а затем думают. Хотя чаще всего они и не задумываются над своими поступками. Им море по колено, а тормозные центры отсутствуют. Малолетки сильны тем, что действуют всегда сообща и поэтому являются грозной силой. Никогда не знаешь, что у них на уме. Они на все способны, отличаясь при этом непонятной жестокостью. Идет словно соревнование между ними за место быть первым по коварству, цинизму и злобе. Никто из уроков так не опасен, как свора малолеток. Они могут поджечь барак, отнять кровную пайку у инвалида или доходяги и хором изнасиловать не только малолетку, но и взрослую женщину. Описываются много случаев, когда медсестра или врач были оставлены надзирателем одни в камере малолеток, поскольку у него оказывались другие срочные дела. Малолетки набрасывались на жертву, словно саранча. Надевали ей на голову мешок или завязывали там юбку и дружно насиловали.

Малолетки легко попадают под влияние и их можно «лепить», как воск. Но «лепят» их в основном матерые уголовники. Понятие «вор» приобретает в их глазах, постепенно, совсем иную окраску, и это уже не подонки общества, а синоним отваги и доблести, что-то вроде Робин Гуда.

Пройдет немного времени, недели три-четыре, и малолетку не узнать. Уже другая походка, другая речь, другое поведение. «Романтика» воровской жизни уже пленила его. Он пойдет сначала в подручные вора, станет «шестеркой», а дальше уже будет видно.

Девочки-малолетки тоже проходят «обучение» или, точнее, обработку, в ходе которой им внушают, что и в лагере можно жить сытно и весело, и красиво — если не быть недотрогой.

Малолетки видят, как блатные заходят ночью в барак к своим марухам (нередко переодетые в женское платье), чтобы, не очень стесняясь, заниматься любовью. В лучшем случае они устраивают себе ширму из простыней, что, однако, не мешает слышать сладострастные стоны и скрип нар.

Подобные сцены и постоянные разговоры на интимные темы вызывают сначала любопытство у малолеток, а затем и желание испытать все это на себе. Так малолетки постепенно превращаются в «девочек 96 пробы» (малолетних проституток).

В задачи санчасти не входило следить за нравственностью зэков, в том числе и малолеток, но Тамара Владимировна по собственной инициативе старалась оградить малолеток от дурного влияния взрослых, в первую очередь блатных. В лагере все на виду, а «радиопараша» работает четко и оперативно, что дает возможность принимать определенные профилактические меры и не допускать растления малолетних, правда, далеко не всегда.

Мой шеф и я имели очень хорошие контакты со всеми дневальными, работниками бани и прачечной, столовой и тому подобное, которые целиком были зависимы от нас. Они в основном выбирались нами и нарядчиком, были готовы оказать нам любые услуги и докладывали обо всем, что происходило на их глазах.

Нам, однако, были нужны лишь те сведения, которые имели отношение к нашей работе: как соблюдают амбулаторный режим освобожденные от работы, и как ведут себя венерические больные.

— В колонии были больные гонореей и сифилисом, которые далеко не всегда стремились к монашескому образу жизни. Хотя мы предупреждали их о том, чтобы они воздерживались от половых контактов, и что это является уголовным преступлением, многие из них, и особенно урки, не соблюдали режим.

Поскольку воры не очень старались работать, а «воры в законе» вообще отказывались от любого труда, то свободного времени у них было в достатке.

Они использовали его, в основном, на игру в карты или для занятий любовью. Урки собирали дань с осужденных (этим занимались «пацаны»), имели свою общую кассу («общак»). Этой кассой пользовались в первую очередь главари и не только, чтобы оказывать друг другу материальную помощь, но и для удовлетворения сексуальных потребностей.

Воры питались чаще всего лучше остальных эков и имели возможность свои нерастраченные физические силы использовать для более приятных занятий, нежели лесоповал.

Урки выбирали себе партнерш обычно из своей среды, где процент венерических больных был очень высок, что вполне естественно не оставалось без последствий.

Обращались к нам обычно мужчины, у которых по чисто анатомическим причинам болезнь, в том числе и на глаз, протекала заметнее. Тогда приходилось выяснять источник заражения и нередко обследовать с десяток «марух» и брать у них мазок.

Урки довольно охотно шли на обследование и были даже такие, которые чуть ли не гордились своим

заболеванием. Обследование вызывало иногда наше удивление.

Некоторые представители уголовного мира, начитавшись, видимо, «Кама сутры» (индийский трактат о любви), решили взять оттуда некоторые «приемы», чтобы увеличить удовольствие. Так отдельные блатные «вгоняли шары» — вживляли себе в головку полового члена пластмассовые шарики диаметром 2—4 мм, чтобы увеличить его объем.

«Любовь» имела последствия не только для уроков. Нередко страдали и бытовики, а то и политические.

В весьма щекотливую ситуацию попал однажды и бывший торговый работник и коммерсант Вейсман. Неразборчивость в выборе «забав» привела его на амбулаторный прием.

Это был очень веселый и жизнерадостный человек с курчавыми волосами и типично семитскими чертами лица, который прекрасно рассказывал еврейские анекдоты. Очень общительный и разговорчивый, он пользовался определенным успехом у представительниц прекрасного пола еще и потому, что работал заведующим ширпотребом. Я впервые видел его таким подавленным.

— Выручай, Генри,— обратился он ко мне,— век не забуду.

— А в чем дело?

— Схватил триппера. И, понимаешь, от какой-то смазливой девятнадцатилетней девчушки. Кто бы мог подумать, что она с «начинкой». У тебя сульфидин есть?

— Конечно. Во всяком случае для тебя всегда найдем.

— Понимаешь, ты меня должен вылечить обязательно за десять дней, иначе я пропаду.

— Это можно, но почему именно в течение десяти дней?

— Мне разрешили свидание с женой, и она должна приехать недели через две. Представь себе, что будет, если не вылечусь? Я тогда теряю семью. А это для меня все.

— Ас кем имел дело?

— С Таней, Может быть, знаешь, она бесконвойная и работает на сплаве. Такая маленькая, плотная, черноволосая. Фамилию я ее забыл. Она на днях освободилась.

— А она не знает, что болеет?

— Наверно, нет.

— У тебя ее адрес есть?

— Адрес можно узнать. А зачем он тебе?

— Все-таки надо ее предупредить, что она больна, иначе она заразит еще кого-нибудь. И, кроме того, она должна лечиться.

— Только прошу тебя, Генри, никому не говори о моей болезни. Если об этом узнает моя жена, тогда — все.

— Можешь не беспокоиться, никому не скажу.

Вейсману повезло. Я вылечил его вовремя, и свидание с женой не имело последствий.

В знак благодарности он мне «организовал» брюки из защитного материала.

«Любовь» могла иметь и другие последствия, которые были не для всех желательны. Если Штамбург искренно обрадовался, узнав, что будет отцом, то нарядчик Чаузский принял подобное известие без особого энтузиазма. У него дома уже имелись дети, и в других он не нуждался.

Девушка, которой он посвящал свободное время, вынуждена была вернуться в свою деревню с шестимесячной беременностью. Единственное, что мог себе позволить нарядчик, это пожелать ей и будущему ребенку счастья и здоровья. А на дорогу он вручил ей рублей триста и ласково утешил: не надо плакать.

Среди тех немногих представителей придурков, которые вели монашеский образ жизни и не имели своих лагерных жен, числился и мой друг Арнольд Соломонович Цуккер. Он был примерным семьянином, очень любил жену (детей Арнольд Соломонович не имел) и не думал об измене. Он считал это безнравственным и, главное, недопустимым для работника КВЧ.

Симпатия Арнольда Соломоновича

Одной из основных черт характера моего друга была чрезвычайная осторожность, если не сказать трусость. Это чувство преобладало над всеми остальными.

Для него главное было: выйти на свободу живым и здоровым. Он очень дорожил своей работой, которая дала ему возможность отбывать свой срок относительно спокойно и без особых переживаний. Поэтому он и отказался от интимных встреч, которые могли привести к нежелательным последствиям.

Но Цуккер был мужчиной и с удовольствием окружил себя молодыми девушками, которых он сагитировал принимать участие в художественной самодеятельности. Он любовался ими, наслаждаясь только зрительно.

Но была у него тайная симпатия. Ее звали Маргарита. Она работала в ширпотребе не то нормировщицей, не то еще кем-то. Это была худенькая, изящная молодая женщина лет тридцати, с прямым, острым носиком, тонкими губами, грустными карими глазами и черными гладкими волосами, зачесанными назад. Вся ее внешность говорила об интеллигентности. Она так же как и Арнольд Соломонович, жила до ареста в Москве и была осуждена по статье 58 сроком на семь лет.

О том, чтобы Цуккер ухаживал за ней по-настоящему, не могло быть и речи. Он только вздыхал, увидев ее. Когда она посещала читальню, он становился суетливым, не знал, куда ее лучше посадить, пытался угощать ее чаем и сладостями и был

готов предложить ей все журналы и книги, которые имелись у него.

И, конечно, давал советы, что лучше читать, стараясь как можно дольше затянуть беседу.

Маргарита слушала охотно. Оба были москвичи, и темы для разговора всегда находились.

Женский барак Цуккер не посещал. Для этого у него не хватало мужества. В лучшем случае он заходил раз в месяц в ширпотреб, чтобы информировать Маргариту о вновь поступившей литературе. Правда, иногда он приносил ей ту или другую книгу, которую она просила. Это была платоническая любовь в чистом виде, возможно, однако, вынужденная.

Что касается Маргариты, то ничто не говорило о ее чувствах. Она была всегда сдержанная, ровная и чаще всего серьезная.

Маргарита довольно часто заглядывала в амбулаторию, чтобы побеседовать с Тамарой Владимировной, с которой она находилась в очень дружеских отношениях. Мне всегда казалось, что мой шеф предпочитает мужское общество.

Маргарита была исключением. А что касается сотрудников колонии женского пола, то Тамара Владимировна отзывалась о них не очень лестно.

Маргарита относилась к моему шефу с благоговением, так как та устроила ее на теплое место в ширпотреб и вытащила с лесоповала.

Я лично редко разговаривал с Маргаритой и если разговаривал, то только по служебным делам. В ней было что-то аскетическое, она редко улыбалась, и создавалось впечатление, что молодая женщина решила отказаться от всех радостей жизни.

— Знаешь, Генри,— обратилась ко мне как-то Тамара Владимировна,— я хочу сегодня положить на койку Маргариту. Она жалуется на общую слабость и

вообще чувствует себя неважно. Пусть немного отдохнет.

— Ас каким диагнозом хотите ее госпитализировать?

— Напиши — грипп. Будешь оформлять историю болезни, не забудь поставить температуру при поступлении: 38 с чем-то. Возьми шефство над ней. Понятно?

— Конечно.

Маргариту поместили в небольшую двухместную палату, где обе койки оказались незанятыми.

Мы госпитализировали довольно часто заключенных, которые по законам ГУЛАГа не подлежали даже освобождению от работы. Мы это делали обычно тогда, когда койки в стационаре не были заняты. Поскольку и в условиях колонии требовалось выполнение койко-дней.

Я имел опыт в этом деле и знал, как заполнять истории болезни, чтобы не вызвать подозрения не только у сотрудников колонии, но также и у эков, которые лежали в стационаре. И конечно, я инструктировал «больных», как себя вести. Они должны были как артисты исполнять свою роль: при «гриппе» жаловаться на головную боль, высокую температуру,— озноб и ломоту в суставах, при «энтероколите» — на частый жидкий стул и так далее.

С Маргаритой я беседовал нередко из вежливости. В лагерях представители интеллигенции старались помочь друг другу, хотя бы духовно.

Однажды, уже после отбоя, меня вызвали в палату к Маргарите. Я был немного удивлен. Что могло случиться с ней? До сих пор она ни на что не жаловалась, кроме общей слабости.

Палату тускло освещала коптилка, которая стояла на тумбочке рядом с койкой Маргариты. Электрические лампочки были большим дефицитом.

— Что с вами? — спросил я.

— Простите, Генри, что я вас вызвала. Мне стало почему-то очень тяжело и грустно. Поговорите, пожалуйста, со мной немного.— Просьба озадачила меня.

— Садитесь, пожалуйста, вот сюда,— Маргарита немного отодвинулась к стенке и показала на край кровати. Я сел.

— Вы не можете представить, как мне тяжело. Надоело это одиночество. Я уже четыре года как из дома. Вы можете меня понять?

— Конечно. Я уже пять лет в заключении.

Совершенно неожиданно для меня Маргарита потушила коптилку и крепко притянула меня к себе. Чего угодно, но этого я не ожидал. Ситуация была крайне неловкая для меня.

Маргарита не принадлежала к развратным женщинам, и за все эти годы, это было известно, не встречалась с мужчинами. Если она и сделала этот шаг сейчас, то, видимо, из беспредельного отчаяния. Не думаю, чтобы это далось ей легко.

Я растерялся. Близость меня совсем не устраивала, но оттолкнуть молодую женщину я не мог. Это можно было сделать с Тосей Сабанцевой, зная заранее, что она через пять минут найдет утешение в объятиях любого другого мужчины, но не с Маргаритой, по существу цельной и нравственной натурой. Вскоре, к счастью, из этого затруднительного положения меня спасла Фекла. Был срочный вызов к одному из больных.

Через день Маргарита покинула больницу. Подобных встреч больше не было.

В отличие от моего друга Арнольда Соломоновича я не отказывался от «запретного плода», хотя и не имел постоянной лагерной жены. Молодые девушки не задерживались в колонии и отправлялись обычно с первым этапом подальше.

Длительное воздержание было для многих весьма мучительным испытанием и причиной широкого распространения гомосексуализма и мастурбации.

Вполне естественно, что женщины предпочитали побыть наедине с мужчиной, чем со своей подругой, если представлялась такая возможность. Этим и объясняется особая доступность женщин в лагерях и колониях.

Особенно заманчивым для них был стационар, где не требовалась спешка и связанные с ней неудобства. Обстановка здесь напоминала почти домашнюю: изолированная комната, матрац, подушка и одеяло — и главное — уверенность в том, что никто не помешает обоюдному удовольствию. Этим и пользовались многие медицинские работники.

Бездельники. «Котик»

Работы в санчасти хватало, правда, свободного времени у меня было несколько больше, нежели в Казлаге, где приходилось трудиться с раннего утра до позднего вечера.

За время моего пребывания в Первой колонии здесь от дистрофии не умер ни один заключенный. Если и отмечались смертные случаи, то после тяжелой травмы или хронической болезни почек или сердца.

Инвалиды и хронические больные встречались в этой колонии. Своеобразным уникамом являлся однорукий древокол (руку потерял на войне) Тутаев, который с удивительной ловкостью орудовал колуном, снабжая кухню и стационар дровами.

Сам по себе это был не очень приятный, сутуловатый мужчина с отвисшей губой, толстым носом и наглыми глазами. Он совмещал работу древокола с обязанностями вышибалы и безжалостно выкидывал «шакалье», доходяг и прочих попрошайек из кухни и столовой.

Возможно, не зря судьба лишила его одной руки. С двумя руками этот человек мог бы натворить много бед, даже в качестве вышибалы, так как его угодливость перед начальством не знала границ.

Около столовой и кухни всегда околачивалось несколько доходяг в рваной одежде и с котелком в руке, которые ждали пищевых отходов, предназначенных для помойки. Среди них выделялись Андриянов и Тараканов. Они были мелкими воришками, шушерой, которые в основном промышляли на базарах, залезая в сумки и торбы.

Они были врожденными бездельниками, не привыкшими к работе. Сначала их направили на

лесоповал, где они вскоре «доплыли», постоянно не выполняли норму. Несколько раз они находились на отдыхе в стационаре, но и после этого не стали работать лучше. Побои на них особенно не действовали. В конце концов бригадиры отказались от их услуг. По физическому состоянию мы вынуждены были дать им ЛФТ в зоне, но и там они бездельничали и воровали. В конечном итоге Чаузский махнул на них рукой и больше не отправлял на работу. Так они и болтались по зоне, собирая объедки. Желудки у этих двоих оказались на удивление и принимали без осложнений сырой картофель, гнилые капустные листья и тому подобное.

Шпаны в Кузьмине было предостаточно. Что касается «воров в законе», то они здесь долго не задерживались. Их старались отправить побыстрее с первым подходящим этапом. По этой причине вся эта воровская мелочь, которая оседала в колонии, не могла сплотиться. Они были в основном разобщены и не влияли на общий климат в зоне. В свободное время они занимались игрой в карты, воровали и посещали женский барак. Среди них попадались весьма ловкие ребята, которые облегчали себе жизнь разными способами, живя без особой нужды.

Как-то лежал у меня на лечении довольно симпатичный и неглупый молодой парень с ангиной по кличке «Котик», который попросил однажды взаймы 110 рублей.

— Только на двадцать минут, потом отдам,— сказал он.

— На что?

— Хочу продукты купить. Там за зоной, около вахты, торгуют бабы.

— А тебя пустят за зону?

— Конечно. Там же стоит «винтовой». Только мне нужны две бумажки: «стольник» и «десятник».

Я дал ему деньги. Котик действительно вернулся минут через двадцать. В одной руке он держал сверток с картошкой, яйцами, блинчиками и другими продуктами, а в другой купюры.

Он хотел мне предложить яйца и блинчики, но я отказался.

— Не надо, у меня все есть. Но зачем тебе понадобились мои деньги? — удивился я.

— Потому что у меня нет ни копейки.

— Непонятно. Ты же купил продукты?

— Да, но на ваши деньги.

— Но ты же вернул мне их полностью. Откуда тогда продукты?

— Очень просто. Хотите расскажу вам, как это делается.

— Конечно.

— Так вот: я складываю очень аккуратно сотенку и десятку и выхожу за зону. Там уже стоят несколько баб, которые торгуют яйцами, солеными огурцами, блинчиками, ну и другими продуктами. У одной даже есть немного масла. Подхожу к ней. Выбираю яйца, беру масло, несколько огурцов, картошку и блинчики и спрашиваю: сколько возьмешь? Баба отвечает: шестьдесят рублей. Я говорю, многовато. Она говорит, если многовато не бери. Я делаю вид, что раздумываю, а потом соглашаюсь: ладно, возьму,— и даю ей сложенную сотенку. А продукты завязываю в платок.

Баба разворачивает сотенку и рассматривает ее со всех сторон, а затем дает мне сдачу сорок рублей.

Я беру деньги, а потом говорю: нет, баба, все-таки дороговато. Давай деньги обратно,— и сую ей эти сорок рублей, которые она мне только что дала.

Она берет деньги и возвращает мне сотенку. Смотрит на меня глупыми глазами и берет мой сверток, чтобы выложить из него все, что там есть. Сейчас наступает самый ответственный момент. Я складываю

аккуратно сотенку, а затем говорю: ладно, бабка, черт с тобой! Будь по-твоему,— и незаметно вручаю ей не сложенную сотенку, а десятку, беру с нее сдачи сорок рублей, сверток с продуктами и ухожу.

Все это надо сделать, конечно, очень быстро. Вот я заработал тридцать рублей деньгами, ну и еще, конечно, кормежку в придачу.

— А тебе не жалко бабку?

— Жалко? А меня кто пожалеет? Она от голода не помрет из-за этих тридцати рублей и обойдется без этих яиц и огурцов. А для меня это много значит. Я яиц давно уже не ел.

Мне делают предложение

В этой колонии я впервые получил не только спецодежду и валенки, но также и зарплату, правда мизерную. Я в этих деньгах особенно не нуждался, и они остались на моем счете в бухгалтерии так же, как и те деньги, которые мне периодически высылала мать. К 1947 году у меня накопилось четыре тысячи рублей, которые я берег, чтобы иметь немного денег, когда освобожусь. И вот, неожиданно, был произведен обмен денег из расчета 10:1. (До 3000 рублей меняли в сберкассах 1:1, от 3000 до 10000 — 3:2, свыше 10000 — 2:1). Деньги, которые хранились в сберкассах, не пострадали. Поскольку я находился в заключении, где нет сберкассы, но деньги хранились аналогичным образом, то рассчитывал получить их почти полностью. Я обращался в разные инстанции, но без успеха. В конечном итоге я стал обладателем только четырехсот рублей. Это было, конечно, тяжелым ударом для меня.

Деньги приносила мне раз в месяц молоденькая вольнонаемная сотрудница Наташа. Она приходила обычно после рабочего дня и всегда немного беседовала со мной. Девушка была очень миловидная, небольшого роста, круглолицая, пухленькая, с челкой, кареглазая, слегка курносая и с очаровательной улыбкой.

Она расспрашивала меня обо всем, откуда я, где учился, за что арестован, есть ли семья... И спрашивала она всегда с большим участием. Видно было, что она жалела меня.

Когда она уходила, то непременно подавала мне свою маленькую, мягкую ручку на прощание, а мою держала дольше положенного. Это не было принято между вольнонаемным и эком. Не надо было долго

размышлять, чтобы догадаться, что она думала обо мне. Уже по ее глазам я видел, что она влюблена.

Я относился к ней доброжелательно, но не больше, однако девушка вызывала невольную симпатию к себе и желание поцеловать ее румяные щеки и пухлые губы. И мне показалось, что она этого только и ждала.

Когда Наташа в очередной раз вручила мне положенную зарплату и после непродолжительной беседы попрощалась со мной, она никак не хотела выпускать мою руку. Мы стояли довольно близко друг к другу, и я прижал ее свободной левой рукой немного к себе и не почувствовал при этом сопротивления. Тогда я осмелел и поцеловал ее в губы. Наташа сильно покраснела и слегка испугалась, но не от поцелуя. Она посмотрела на дверь.

— Не бойся,— сказал я, обнимая ее еще крепче,— сюда никто не придет.

С этого дня Наташа стала приходить ко мне не только в дни зарплаты, но каждый раз вынуждена была искать какой-нибудь предлог, чтобы посетить зону. Обычно она заходила в аптеку под видом получения перевязочного материала или лекарства от головной боли или кашля.

Девушка была очень ласковая, и расставание давалось ей с большим трудом.

— Как не хочется уходить от тебя,— говорила она всегда, прощаясь со мной. И мне не хотелось отпускать ее.

Девушки в военные годы не были избалованы вниманием — почти все молодые парни находились на фронте. Правда, после 1945 года многие из них вернулись, но что касается таких деревень, как Кузьмине, то там парней можно было сосчитать по пальцам. Девушкам было трудно. Вполне возможно, что для Наташи это была первая любовь, и поэтому она принимала ее так близко к сердцу. Хотя она и не имела

опыта в этом деле, но ей уже исполнилось двадцать два года, и чем чаще мы встречались, тем больше становилось желание и стремление не ограничиваться одними поцелуями.

Наташа не знала, как поступать дальше. С одной стороны, она боялась огорчить меня, с другой — сделать необдуманый шаг. Что касается девушек, то целомудрие еще было в почете.

И в один из вечеров она набралась смелости и, густо краснея и обнимая меня, решила высказаться.

— Генри, прости меня,— Наташа опустила глаза,— что я тебе в чем-то отказываю. Я люблю тебя, и если бы я не была девушкой, то с радостью и без колебаний отдалась бы... Но что я могу сейчас сделать, милый?

— Я тебя прекрасно понимаю, Наташа, и ничего у тебя не прошу. Пусть будет все так, как сейчас. Я на тебя не обижаюсь.

Мне показалось, что девушка не досказала своих мыслей, и, может быть, ждала от меня другого ответа. В этом случае она могла поставить условие: да, но если мы навсегда останемся вместе.

Об этом я не думал, тем более, что мои чувства несколько отличались от тех, которые имела Наташа. И еще я придерживался святого правила: никогда не обманывать девушек.

Вскоре наступила неожиданная развязка. В тот вечер Наташа пришла ко мне очень серьезная. Как всегда она немного покраснела, а затем, опустив глаза, сказала очень тихо:

— Генри, милый, не знаю как поступить.

— В чем дело, Наташа? — спросил я несколько удивленно.

— Мне сделали предложение.

— Предложение? Кто?

— Вот недавно приехал один капитан из города в командировку, может быть, ты видел его, такой

светловолосый?

Я его вспомнил. Он ходил на днях по зоне вместе с Хачинским. Среднего роста, плотно сбитый, с простоватым, курносым, но добродушным лицом.

— Да, я видел его в зоне. И что ты ему ответила?

— Пока ничего.

— А почему ты спрашиваешь мое мнение?

— Я же люблю тебя, а не его. Как быть?

— Это ты сама должна знать.

— Я бы знала, но... — девушка не решилась продолжить свою мысль.

— Ты что хотела сказать, Наташа? Может быть, боишься?

— Нет, я не боюсь, но как-то трудно говорить об этом. Она сделала короткую паузу, а затем тряхнула головой и взяла мою руку, чтобы погладить ее.

— Генри, скажи мне честно, если хочешь, я буду ждать тебя, пока ты не освободишься. Я должна знать это сегодня, так как ждут моего ответа. Завтра капитан уедет в город.

На этот раз мне делали предложение. Очень не хотелось огорчить славную девушку, но как ответить ей на этот деликатный вопрос? О женитьбе я пока еще не думал, и Наташа не была моим идеалом. Я задумался и ответил не сразу. Я обнял ее.

— Пойми, Наташа, мне очень трудно ответить на твой вопрос, и это зависит не от моих чувств к тебе. Надо быть реалистом. Не забудь, что я заключенный, а ты вольнонаемная.

— Это я знаю прекрасно,— прервала она меня,— и для меня это не имеет значения.

— Я верю тебе, что ты меня будешь ждать, тем более, что мой срок кончается менее, чем через год.

— Он быстро пройдет,— девушка решила меня успокоить.

— Но ты забыла другое: я осужден Особым Совещанием НКВД СССР и считаюсь политическим преступником.

— Какой ты политический преступник? — Наташа засмеялась.

— Это ты так считаешь, но другие иного мнения.

— Я тебя не понимаю: и что из этого следует?

— Из этого следует, что мой срок действительно заканчивается в следующем году, но это не означает, что меня освободят.

— Почему? — Наташа сделала удивленное лицо.

— Я знаю сотни эков, у которых срок кончился в военные годы и которые остались в лагерях «до особого распоряжения».

— Но сейчас не война, Генри.

— Войны нет, но порядки остались прежние. И кто знает, может быть, завтра пошлют меня по спецнаряду в другой лагерь. Что будет тогда? Я не имею права портить твою судьбу.

(Я оказался прав. 26.10.1948 г. вышла директива МГБ СССР и Прокуратуры СССР, согласно которой органы МГБ были обязаны вновь арестовать государственных преступников, уже отбывших наказания и освобожденных после ВОВ. Им предъявили прежние обвинения. Если не будут получены данные об антисоветской деятельности — дела передавать в ОСО для применения к арестованным ссылки на поселение. Многие из тех, кто в прошлом отбыл свой срок по 58-й статье, были вновь арестованы и осуждены. Меня спасло то, что я в это время уже стал спецпоселенцем).

— И что ты советуешь, Генри? — на меня смотрели грустные глаза.

— Если человек порядочный — выходи замуж. Пойми — на меня плохая надежда. У меня есть жизненный опыт.

— Но я же его не люблю.

— Очень многие выходят замуж не по любви. Это придет позже.

— А ты на меня не обижаешься?

— Нет. Для меня самое главное, чтобы тебе было хорошо и жизнь твоя складывалась счастливо. Это важнее, чем мои чувства к тебе.

— Ты хороший, Генри,— Наташа обняла меня.— Мне будет очень нелегко забыть тебя. Давай поцелуемся на прощание.— Она поцеловала меня долгим и страстным поцелуем в губы и на этот раз не отстраняла мои руки.

Больше я ее не видел. Через день она уехала со своим капитаном в Йошкар-Олу.

Я ее понимал. Она должна была, как Мила и Валя, устроить свою судьбу. В этом Богом и людьми забытом месте, каким было Кузьмине, это, возможно, был для нее единственный шанс, который нельзя было упустить.

Гарканов находит свою любовь. Ира

С приходом Виктора Гарканова работать в стационаре стало легче. Правда, от писанины он меня не освободил, но зато выполнял все назначения профессионально, особенно перевязки и разные инъекции и вливания. Как-никак он был военным фельдшером и работал на фронте.

Когда проводились медосмотры вновь прибывших эков или тех, которые отправлялись в этап, Виктор обычно, чаще всего из любопытства, присутствовал в амбулатории.

Его завораживали молодые девчата, которые вынуждены были, обнаженные до пояса, показывать свои прелести. Было на что смотреть. И вот однажды Виктор не на шутку влюбился. Звали ее Маргарита. Не знаю, что его больше привлекло, крепкие, словно из мрамора выточенные груди, длинные соломенного цвета волосы или голубые глаза.

Девушка не очень смущалась, видимо, знала себе цену и спокойно смотрела на нас, когда я ее аускультировал.

Когда она покинула амбулаторию, Виктор побежал за ней. Маргариту этапировали на Урал, откуда она аккуратно писала Виктору письма. Позже, после освобождения, они поженились.

Мы были с Виктором в дружеских отношениях и проводили свободное время обычно вместе.

В зоне имелась небольшая спортплощадка, и когда погода позволяла, мы играли здесь в волейбол. Виктор не был классным игроком, но зато отличался необыкновенным азартом. Он бегал неустанно взад и

вперед по площадке, пытался овладеть каждым мячом и мешал другим играть. Ждать от него паса не приходилось, и я поэтому старался не играть с ним в одной команде.

Я играл довольно прилично и отличался сильным завершающим ударом. У нас подобралась неплохая команда, и даже организовывались встречи с вольнонаемными, которые чаще всего заканчивались нашей победой.

На такие встречи, которые обычно проводились за зоной, приходили почти все вольнонаемные со своими семьями. Для них это было одним из немногих развлечений. Конечно, я старался вовсю и особенно радовался тогда, когда мне удавалось сильнейшим ударом привести игроков другой команды в замешательство. Нередко были случаи, когда мяч попадал в лицо кому-нибудь из наших соперников — сержанту или старшине ВОХРа, а то и лейтенанту, что вызывало во мне невольное злорадное чувство. Это был для нас, эков, единственный способ отомстить за пережитые унижения.

Справедливости ради, однако, я должен сказать, что меня здесь не очень унижали. Просто для этого не было подходящих условий. И, кроме того, я находился под надежной защитой Тамары Владимировны.

К тому времени подавляющее большинство сотрудников колонии уже обращались ко мне за медицинской помощью, приходили на прием, лечил я также и членов их семей. Все это привело к тому, что ко мне стали относиться иначе, чем к остальным экам.

То, что я учился в 1-ом Московском медицинском институте, имело определенное значение и действовало прямо-таки магически на многих. Можно было подумать, что в Москве не бывает бездарных врачей и студентов-недоучек.

Всегда, когда приезжало начальство из Йошкар-Олы, кто-нибудь из них обязательно обращался ко мне за консультацией. Вместе с Тamarой Владимировной мне приходилось ездить даже в Козьмодемьянск, чтобы оказывать помощь родственникам начальства колонии.

В такие поездки отправлялись даже без конвоя. Ответственность на себя брала мой шеф. В Козьмодемьянске впервые за время заключения удалось сфотографироваться «на визитку». Я уже был не доходягой, а довольно крепким, спортивного вида парнем.

В последний год пребывания в Кузьмине приходилось неоднократно ездить на участки в Красную Горку, Подвалье и другие, где работали сплавщики и лесорубы, чтобы познакомиться с их бытом и оказать им медицинскую помощь. На этих участках, особенно на сплаве, работали в основном бесконвойные.

Жили они в обычных бараках со сплошными нарами, чаще всего вместе мужчины и женщины. Постельные принадлежности были самые скромные: матрацы и подушки, набитые соломой, и байковые одеяла. На сплаве, как и на лесоповале, зэки получали обычно не менее 700 граммов хлеба, баланду и кашу. Многие из них меняли часть сэкономленного хлеба на картошку и молоко и в общем питались лучше остальных зэков.

Большую роль играли здесь и бригадиры, которые с фантастической изобретательностью придумывали массу добавочных непроизводительных операций, дающих возможность «выполнять» и «перевыполнять» нормы без особого труда.

Бесконвойные свободно передвигались, ходили по деревням, знакомились, спекулировали и могли разными путями улучшить свое питание.

На одном из участков работала вольнонаемная медсестра Ира — молодая женщина лет двадцати

четырех. Она была разведена и имела двухлетнюю девочку, которая чаще всего жила у ее родителей.

Ира часто заходила к нам в больницу и отличалась большой скромностью. Когда требовалось привезти медикаменты из Козьмодемьянска или Юрина, то мы чаще всего направляли туда Иру.

Молодая женщина жила в маленькой комнатке, отгороженной от общего барака. Обстановка была бедная: постель, тумбочка, столик и две табуретки. Окна были занавешены марлей.

Ира относилась очень доброжелательно и сочувственно к энкам, и ее любили.

Однажды мы послали ее с каким-то поручением в Марьино. Была зима. Ира, тепло одетая, в шубе ехала в кабине вместе с шофером.

Часа через четыре после ее отъезда меня срочно вызвали на вахту. Там меня уже ожидал конвой и грузовик.

— Садитесь в кабину,— приказал дежурный.

— В чем дело? — поинтересовался я.

— Несчастный случай с медсестрой.

— Тогда мне нужно захватить сумку первой помощи.

— Не надо.

Километрах в тридцати от Кузьмине в открытом поле мы остановились. Около дороги стоял грузовик. Правая дверь кабины была открыта и раскурочена. Несколько дальше, в снегу, закрытый одеялом, лежал человек.

Шофер, молодой парень с бледным, испуганным лицом, заикаясь от волнения, рассказывал: вот здесь, он показал рукой на поворот дороги,— рвануло и медсестру выбросило из машины. Я сразу выскочил. Нога у нее была изуродована и вся в крови. Она была еще жива, стонала и просила попить. Я хотел ее затащить в кузов, но пока открыл его и освободил для нее место, она умерла.

— Не понимаю,— сказал я,— чего это рвануло?

— Ну, там были какие-то капсулы.

— Какие капсулы?

— Ими взрывают пеньки и еще что-то.

— А где они были?

— В ящике, у нее под сидением.

— Какой дурак это придумал?

— Кто-то из начальства сунул туда ящик.

Дорога через лес была очень ухабистая, и ящик, конечно, не стоял на месте, а подпрыгивал под сидением или придавливался им.

Я приподнял одеяло. Взрывом было вырвано все правое бедро. Смерть наступила от шока и резкой потери крови. Так ни за что, ни про что, погибла молодая женщина.

За это преступление никого не привлекли к ответственности. Для начальства колонии законов не существовало.

Знакомство с заведующим райздравом

Как-то в начале 1948 года нашу санчасть посетил незнакомый мне мужчина средних лет с седой шевелюрой. Его сопровождала Тамара Владимировна.

— Познакомьтесь,— сказала она, показывая на меня рукой,— наш врач Левенштейн Генри Рудольфович, а это — жест в сторону незнакомца — Филипп Михайлович Мамаев — заведующий Юринским райздравотделом.

Мы поздоровались. У Мамаева было узковатое морщинистое нерусское лицо с несколько выступающими скулами. Позже я узнал, что он удмурт, представитель угро-финской народности. Мы сели за стол.

— Мне бы хотелось поговорить с вами,— начал Мамаев, поглаживая свою шевелюру и с улыбкой посматривая на меня.— Я немного слышал о вас и знаю ваше дело. Отзывы о вас положительные. Собственно говоря, у меня к вам предложение. Какие планы у вас после освобождения?

Я задумался. Не так давно я получил письмо от матери из Темир-Тау, в котором она советовала мне не приезжать в Казахстан... «Лучше я приеду к тебе,— писала она,— там все-таки средняя полоса, а у нас здесь очень суровый климат с сильными ветрами и морозами».

— Даже не знаю, что сказать, во всяком случае в Казахстан к матери не поеду.

— А не хотели бы вы остаться в нашем районе? У нас очень красивые места, и мы нуждаемся в медиках.

— В принципе я не против, а где, конкретно, хотите меня устроить?

— У нас врача нет на лесоучастке Юркино. Это один из наших крупных населенных пунктов, где в основном трудятся лесорубы и сплавщики. Они очень нуждаются в квалифицированной медицинской помощи. А сейчас там работают лишь медсестра и акушерка. Как вы на это смотрите?

Юркино я помнил. Когда из Козьмодемьянска меня этапировали в Кузьмине, я останавливался там с другими зэками. Местность мне понравилась — леса, дубравы и живописная река Ветлуга.

— Я, пожалуй, согласен. Конечно, надо сначала познакомиться с участком.

— Безусловно. Вот, когда освободитесь, приедете к нам в Юрино, и мы тогда обо всем договоримся, и, конечно, вместе поедем на участок. Значит, в принципе договорились?

— Да.

— Ну и хорошо.

Тамара Владимировна проводила Мамаева, а затем вернулась в амбулаторию.

— Ты пользуешься успехом, Гарик,— сказала она и закурила.

— Откуда он знает обо мне? — удивился я.

— Земля слухом полнится. Если ты, например, помог Тамаре Пигалевой, которая перерезала себе горло, или какому-нибудь начальнику или его родственникам, то завтра об этом узнает весь район. Мой тебе совет — устраивайся в Юркино. В случае чего — я тебе всегда помогу. Юркино недалеко от колонии.

Впервые за многие годы я явственно ощутил, что свобода очень близка, совсем рядом, однако представить мне ее было уже трудно. За годы заключения у меня создалось впечатление, что вся страна не что иное, как густая сеть тюрем, колоний и

лагерей, так как во время этапов я ничего другого не видел.

Рая

Приблизительно в это время, даже несколько раньше, я познакомился с молодой девушкой из бесконвойных, которая работала на сплаве. Рая Пуртова, так звали ее, пришла ко мне на перевязку по поводу небольшого ожога кисти. Небольшого роста и крепко сложенная, она привлекала своей свежестью и молодостью. Бросились в глаза полные красные щеки, напоминающие спелые яблоки, такие редко встречались у эков. Скулы несколько выступали, носик был небольшим, карие глаза раскосыми, волосы темные и гладкие. Довольно крепкий подбородок и смелое выражение глаз говорили о волевом характере девушки. В этом лице было что-то азиатское-экзотичное. Рая понравилась мне сразу, и поскольку у меня к тому времени не было определенных привязанностей, я решил ухаживать за ней.

Закончив перевязку, я задал ей несколько банальных вопросов, на которые девушка охотно отвечала. Я не был намерен скрывать свои чувства, что она, безусловно, заметила. Бесконвойные задерживались в зоне обычно не дольше двух-трех дней, чтобы помыться в бане, постирать свое белье и сходить в бухгалтерию, и поэтому размышлять долго не имело смысла. Я решил действовать смело и решительно, по принципу: или пан, или пропал.

— Вы откуда? — спросил я ее.

— Из Пектубаевского района.

— Работали?

— Да, в Пектубаевском районном отделе собеса.

— А за что попали?

— Да, так, из-за посылок,— девушка немного смутилась.

В то время из США поступало множество посылок с продуктами и одеждой, которые распределялись среди населения разными организациями по месту работы, а также через собес. Время было тяжелое, и неудивительно, что в первую очередь обеспечивало себя посылками местное начальство, в том числе и сотрудники собеса. Рае дали два года.

— А когда кончается срок?

— В июне.

— На сплаве работаете?

— Да.

— А что там делаете?

— Плоты обвязываем.

— Тяжелая работа?

— Конечно. Попробуйте повозиться целый день с багром.

— По-моему, это не женская работа. Я знаю, что есть сплавщики, но никогда не слышал, что есть сплавщицы.

— А у нас есть,— Рая засмеялась.

— Вы когда вернетесь на свой участок?

— Завтра.

— Жаль.

— Почему? — на ее лице появилась лукавая улыбка.

— Потому, что вас тогда не будет.

— А вам не все равно?

— Как видите, нет. А что будете сегодня вечером делать? — Я решил взять быка за рога.

— Ничего. А что?

— Тогда может быть зайдете ко мне?

— К вам?

— А к кому еще?

— А это будет удобно?

— Очень даже. Для меня. Рая засмеялась.

— Ладно, если вы так уж хотите. А куда придти?

— В аптеку.

— А вы там живете?

— Да. Приходите после вечернего амбулаторного приема.

— Хорошо.

Рая пришла вовремя. Она переоделась, побывала, видимо, в бане и выглядела еще свежее, чем до этого. На ней было черное платье с кружевами, вероятнее всего трофейное или из американских посылок, и легкие бурки.

Я показал на кушетку и сел рядом с ней. Как в таких случаях принято, мы рассказывали друг другу о своем прошлом и о своей семье.

Рая жила в деревне Дубовляны, километрах в пяти-шести от райцентра Пектубаево. Отец ее был председателем колхоза. Кроме нее в семье было еще трое младших сестер и брат.

— Жениха не оставили? — спросил я шутливо. Рая покраснела.

— За год до ареста я вышла замуж, муж был инвалид, вернулся с фронта без ноги. Он ходил на протезе. А вот когда меня посадили, он женился на другой.

— Значит, вас тоже оставили, как и меня?

— Да.

То, что Рая пришла ко мне на свидание, говорило о многом, но ничего не решало. Если она завтра поедет на свой участок, что будет дальше? Записки о верной любви вряд ли устроили бы нас.

— Вы когда вернетесь в зону? — поинтересовался я.

— Трудно сказать. Я могу приезжать раз в месяц, а если захочу и чаще. А почему спрашиваете? — Снова я увидел на ее лице лукавую улыбку. Она прекрасно поняла, зачем я задал этот вопрос.

— Почему я спрашиваю? Хотелось бы, чтобы вы почаще заглядывали в зону.— Конечно, лишь в том

случае, если это и вас устраивает. Как вы на это смотрите?

— В зону я, конечно, могу придти, но что я там должна делать?

— Наведать меня.

— А вы этого очень хотите?

— Конечно. А вы не хотите?

— Почему? Мне тоже интересно с вами поговорить.

— Рая посмотрела на меня очень спокойно.

— Выходит, вы думаете так же, как и я.

— Да.

Я положил свою руку на ее плечо, а потом притянул ее к себе. В тот вечер мы долго целовались.

— Когда придешь в следующий раз? — Я перешел уже на «ты».

— Постараюсь дней через пять. Бригадир обычно посылает раз в неделю кого-нибудь в зону, или за продуктами, или в бухгалтерию. Девчата не очень охотно идут сюда. Далековато шагать. Почти тридцать километров.

— Да, многовато.

Рая сдержала свое слово и пришла ко мне ровно через пять дней. На этот раз мы не ограничились поцелуями. Девушка не была недотрогой и, как настоящая лагерница, считала пустой тратой времени прошагать больше полсотни километров ради поцелуев. Она другого и не ожидала, и очень быстро и деловито пригостила кушетку, чтобы обоим было удобно. И, конечно, не забыла вытащить подушку из шкафа.

— Неудобно без подушки,— сказала она просто и сбросила платье, чтобы оно не помялось. Нижнюю рубашку она не сняла, а больше на ней ничего не было. Хотя Фекла и находилась «на стреме», требовалась определенная осторожность. Главное, при необходимости, умение быстро одеваться.

Я имел право изнутри закрывать аптеку, которая очень часто служила приемной. В случае неожиданной проверки я всегда мог сказать в свое оправдание, что провел гинекологический осмотр.

С этого момента мы встречались почти регулярно, чаще всего один раз в конце недели. Когда Рая приезжала ко мне, мы в первую очередь закрывали дверь и лишь после утоления «голода» начинали вести беседу.

Рая вела себя, как послушный ребенок, была на удивление покорной и готова была выполнить любые мои просьбы. Возражений я от нее не слышал.

Довольно скоро мои встречи с Раей перестали быть секретом для работников санчасти. К этому относились по-разному. Тамара Владимировна, например, одобрила мой выбор и, вероятнее всего, из-за того, что Рая считалась передовиком производства. Она была в колонии на хорошем счету и всегда премировалась «ценными» подарками и грамотами в майские и ноябрьские праздники.

Мои медработники реагировали несколько иначе.

— А знаете, Генри,— не без злорадства сказала мне Тося Сабанцева,— ваша Рая работает на два фронта.

— Как это понимать?

— Очень просто, вы не единственный, кого она обслуживает.

— Откуда у вас такие сведения? — Известие это меня удивило. Мне казалось, что Рая на это не способна.

— А вы спросите ее сами. Могу вам только сказать, что хахаль ее — отпетый уркаган.

Когда Рая в очередной раз пришла в зону, я спросил ее:

— Скажи честно, у тебя здесь есть друг?

Девушка смутилась, а затем посмотрела на меня с вызовом:

— Тебе уже доложили? Не хочу скрывать. Был у меня здесь один, с которым я жила, но не из-за любви. Он был настоящим вором и гордился этим. Я тогда работала на подучастке, и он тоже. А вообще-то он по-настоящему и не работал, а только делал вид, что работает. Работали на него другие. Когда я приехала на этот участок, он сразу начал ухаживать за мной, но я не хотела с ним дружить. Тогда он начал избивать меня. Каждый день. Жаловаться некому было, и никто бы за меня не заступился. Что оставалось делать? Он не только избивал меня, но и заставил бригадира лишить меня премиальных. Я свою норму всегда выполняла на 110 и 120 процентов, а бригадир вместо этого писал 90 процентов. Я получала меньше хлеба, чем остальные, хотя работала лучше их. Я начала «доплывать». А жить хотелось...

— А где он сейчас?

— Здесь, в зоне.

— Ты встречалась с ним?

— Один раз. Я ему сказала, что живу с тобой, и чтобы он отвязался от меня.

— А он как реагировал?

— Угрожал. Но он боится тебя.

— Меня?

— Да. Ну, во-первых, ты сильнее его и врач. Он боится этапа и поэтому не хочет портить отношения с медиками.

— А чего его раньше не отправили в этап?

— У него что-то с ногой.

С наступлением весны Раю перевели на рейд в Козьмодемьянск. Перед отправкой она пришла ко мне расстроенная.

— Генри, не знаю, когда мы теперь с тобой встретимся, но я постараюсь приходить хотя бы раз в месяц. Ты не забудешь меня?

— Ты что обо мне думаешь? Конечно, нет.

— А ты меня очень любишь? — Она обняла меня.

— Да, очень.

Боюсь, что в данном случае я был не совсем искренним. Да, Рая мне нравилась, ее свежесть, молодость и удивительная покорность, но это было увлечение, а не любовь. Другое дело — Валя, ее я любил действительно.

Но я не очень размышлял над этим вопросом. Рая меня сейчас вполне устраивала, и нам обоим было хорошо. Плохо, конечно, что наши встречи будут теперь крайне редкими.

Я был весьма удивлен, когда Рая появилась уже недели через две.

— Ты откуда? — спросил я ее.

— Как откуда? Конечно из Козьмодемьянска.

— Из Козьмодемьянска? На чем?

— Как всегда, пешком.

— Неужели? И сколько ты шла?

— Два дня.

— Молодчина! Пройти за два дня 80 километров не очень легко. Тебя послали сюда с поручением?

— Как тебе сказать... я сама напросилась. Я с бригадиром в хороших отношениях, вот я и спросила его: нет ли каких-нибудь дел в зоне? Ну, он и вспомнил, что требуются какие-то бумаги из бухгалтерии.

— И когда ты должна возвращаться?

— Завтра.

— Неужели ради одного дня ты решила прошагать больше ста пятидесяти километров?

Рая улыбнулась: — Не из-за одного дня, а одного вечера,— поправила она меня.

Она посмотрела на дверь — Сюда никто не зайдет?

— Нет,— я встал и закрыл дверь на ключ, а Рая уже устраивала кушетку.

Рая ухитрялась приходить дважды в месяц, проходя каждый раз весь длинный путь пешком. Тогда я и

понял, что девушка меня действительно любит.

До конца моего срока осталось уже меньше полугодя, и я довольно часто стал размышлять над вопросом, как устроить свою дальнейшую жизнь. После знакомства с заведующим райздравотделом Мамаевым кое-что уже прояснилось. Вероятнее всего, останусь в Юринском районе и буду работать в Юркине, а мать приедет ко мне.

В местах заключений стали применять зачеты, и за «добросовестную» работу мне скостили почти четыре месяца. Таким образом, мой срок сократился до мая 1948 года (вместо сентября).

Рая должна была освободиться на двадцать дней позже, то есть почти одновременно со мной, и я невольно подумал, что не без умысла так распорядилась наша судьба.

Я легко привыкаю к людям, и мне всегда трудно расставаться с ними, особенно тогда, когда я был с ними в таких отношениях, как с Раей. Зэки обычно говорят: если попал в лагерь, оставляй совесть за зоной, но я старался беречь ее здесь. Возможно, мне не всегда удавалось это.

Легче всего было бы обнять Раю на прощание и поблагодарить ее за те минуты небольшого счастья, которые она мне подарила, и отправиться в путь, чтобы где-то в Юркине найти другую девушку, которой можно было предложить навсегда руку и сердце.

А зачем, собственно говоря, я должен расстаться с Раей? Чем она хуже других? Она была в заключении, и я, от нее ушел муж, а от меня жена — к нам обоим судьба была не милостива — и это должно нас сближать.

Конечно, мы люди из разных миров, она — деревенский житель, а я — городской, но в конце концов решающее значение для совместной жизни имеет не образовательный ценз или сословие, а душа

человека. А то, что Рая — преданный человек, готовый на все ради меня, в этом я был уверен.

Так и появилась у меня мысль соединить свою судьбу с Раей. Сомнения, однако, были: меня шокировала ее связь с блатарем, которая задела мое самолюбие. Не очень хотелось принимать эстафету у отъявленного уголовника с внешностью преступника, каких описывал Ломброзо.

Но мне хотелось быть справедливым, и поэтому я задал себе вопрос: а чем я лучше? Правда, я не увлекался воровками, но это вряд ли ставило меня выше ее.

Я посоветовался со своими друзьями. Глеб Константинович, который был целиком зависим от меня и очень боялся потерять мою благосклонность (а вдруг у меня другое мнение и я обижусь), ответил словами, которые ничего не говорили:

— Да, если она вам нравится, вы ее лучше знаете, чем я,— он задумался, что сказать дальше и свернул себе «козью ножку»,— а вообще, по-моему, она ничего, румяная и аппетитная...

Арнольд Соломонович погладил свою пышную бороду и промычал что-то неопределенное, вроде того, что Рая очень хороший производственник и довольно славная девушка.

Тамара Владимировна целиком одобряла мой выбор. Она хвалила Раю за трудолюбие и опрятность.

— Во всяком случае она будет хорошей хозяйкой и преданным тебе человеком. А это — главное.

Приблизительно то же сказал и Штамбург, тем более, что он сам сделал почти такой же выбор, как и я.

Только один человек был против — Анна Ильинична — мать Тамары Владимировны. Нередко мне приходилось в сопровождении моего шефа выходить за зону, чтобы оказать медицинскую помощь кому-нибудь из вольнонаемных, и тогда мы заходили к ней домой.

Там я и познакомился с Анной Ильиничной — сухощавой, энергичной старушкой, привыкшей говорить то, что думает.

Ты хочешь жениться на Рае? Не советую тебе. Подумай как следует. Я верю, что она славная и трудолюбивая девушка, но этого для совместной жизни недостаточно. Она простая деревенская девушка, не больно умная и культурная, которая кроме своего огорода вряд ли чем-нибудь еще интересуется. О чем ты будешь говорить с ней? Нет, она тебе не пара. Ты все-таки интеллигентный парень с широким кругозором, а она?

В общем, я был с ней согласен, но считал, что культура и все остальное, чего Рае не хватало — дело наживное. Выходили же крестьянские девушки нередко за своих помещиков, и ничего.

Тося Сабанцева

Жизнь в санчасти шла своим чередом. С появлением солнца и тепла стало заметно меньше работы, но лодырей и больных не убавлялось. Если зимой работяг пугали холода и глубокий снег, а осенью слякоть и дожди, то сейчас их изматывали на лесоповале комары и гнус, от которых не было спасения. Накомарников и отпугивающих средств зэкам не выдавали, и им оставалось только отмахиваться от назойливых кровопийц руками.

Особенно страдали вновь прибывшие, которые после работы возвращались с опухшими от укусов лицами. Мой организм настолько приспособился к комарам, что на укусы уже почти не реагировал.

Несравненно хуже комаров был гнус, уже потому, что эта тварь залезала куда угодно, в самые укромные места человеческого тела, нанося весьма болезненные и зудящие укусы.

Приходилось, несмотря на жару, завязывать брюки у щиколоток и рукава рубашки, но этого далеко не всегда оказывалось достаточно для защиты. Ближе к лету к мошкам и комарам присоединились еще овод и строка, которые человека окончательно выводили из равновесия. Вполне естественно, что многие рабочие приходили под любым предлогом в амбулаторию, чтобы получить освобождение от работы. Бывали случаи, когда молодые девчата со слезами приходили на прием, показывая опухшие от укусов ноги.

Виктор Гарканов аккуратно переписывался с Ритой, которая оказалась в одном из уральских лагерей — не то в Губахе, не то в Соликамске, однако по-прежнему охотился за представительницами слабого пола.

На этот раз он остановился на Зое, очень милостивой и славной женщине лет 35—38, которая до ареста жила в Козьмодемьянске и была осуждена по бытовой статье на два года. Она никак не вписывалась в обстановку колонии и напоминала комнатное растение, которое хотели пересадить в тундру.

Виктор ухаживал за ней очень упорно, и крепость была взята без особого сопротивления, и мне показалось, главным образом из-за слабых характера Зои, которая не хотела огорчать весьма целеустремленного фельдшера.

Она часто заходила ко мне в аптеку, чтобы поплакать. Мне она доверяла все тайны и, видимо, хотела, чтобы я занял место Виктора.

Однажды к ней на свидание пришла дочь, девушка лет семнадцати, на редкость стройная и привлекательная, которая нас с Виктором заставила забыть и Раю, и Маргариту, но, увы — она жила на воле.

Наш коллектив жил довольно дружно, но не обходилось без стычек и недоразумений.

Незадолго до моего освобождения пришлось расстаться с Тосей Сабанцевой. Она была заметной фигурой и напоминала мне во многом «Пышку» Мопассана.

Небольшого роста, полненькая, мягонькая и круглая, с чувственными губами, она выглядела весьма аппетитно. Взгляд ее был схож со взглядом Тамары Кулаковой — он раздевал мужчин, просвечивал, словно рентгеновскими лучами, и давал соответствующую оценку их достоинствам. Мы были с ней в хороших, почти дружеских отношениях, и она всегда делилась со мной своими переживаниями. Эти переживания были особенные.

— Знаете, Генри,— жаловалась она мне,— я не могу жить без мужчины.

— Это меня не удивляет. По-моему, большинство женщин не могут жить без мужчин.

— Вы меня не совсем поняли. Я могу терпеть не больше двух-трех дней, а потом готова отдаться любому встречному.

— А если таких нет, например, в камере тюрьмы, что тогда?

— Это не так сложно. Можно, например, и одной получить удовольствие, так многие женщины делают в лагерях. Не всем хватает мужиков, а в некоторых лагерях их вообще нет.

— Но сейчас у вас с этим нет проблемы?

— Как сказать. Моего-то не очень часто пускают в зону. Вы же знаете — он служит в охране. Вот и приходится иногда искать ему замену.

Как это делается, в этом я мог лично убедиться. Однажды я отдыхал на кушетке, когда Тося зашла в аптеку. Я хотел встать.

— Не надо, лежите,— сказала она,— а рядом с вами можно сесть?

— Пожалуйста.

— А вам не скучно без Раички? — Тося посмотрела испытующе на меня,— она же уже давно не была в зоне. Недели две. А что ей, собственно говоря, спешить? На рейде много мужчин.

— Вы так считаете?

— Неужели вы думаете, что ей достаточно проводить с вами одну ночь в месяц? Она девка здоровая и любит мужчин. Я-то знаю ее хорошо.

— Зачем вы мне это говорите?

— А просто так. Только удивляюсь, какие вы, мужчины, доверчивые. Вы, конечно, думаете, что она сохраняет вам верность. Чепуха. На вашем месте я бы не терялась и использовала все возможности.

— Как это понимать?

— Вы, кажется, не маленький и должны знать, о чем я говорю.

Неожиданно она навалилась на меня всем телом, обхватила мою голову руками и стала целовать в губы, работая языком. Я старался освободиться от нее, но это было не так просто. Женщина оказалась сильной, к тому же горела желанием. Началась настоящая французская борьба, в ходе которой Тося старалась опираться на те участки моего тела, которые меньше всего для этого приспособлены. В конце концов я вырвался из ее объятий и выскочил из аптеки.

Этот своеобразный эпизод и мое нежелание пользоваться услугами медсестры не очень огорчили ее. Через несколько часов она нашла утешение в объятиях одного из наших больных, который был госпитализирован по поводу рожистого воспаления левой голени, что ему, однако, не помешало заняться любовью.

Как врачу, мне было понятно, что Тося страдает нимфоманией — болезненно повышенным половым влечением, и мне осталось только пожалеть ее. «Половой вопрос» в лагерях был кардинально решен в 1948 году. В целях дальнейшего упорядочения режима и изоляции в исправительно-трудовых колониях ОИТК МАССР заключенные женщины отделялись от мужчин, для чего были сформированы специальные женские лагерные подразделения: в ИТК № 1 — участок «Новая стройка», ИТК № 2 — участок Старожильск, ИТК № 4 — на участке № 2 — Ошле. Для производства обысков в военнизированной охрану в качестве стрелков подбирались надзиратели-женщины. Начальникам колоний, под личную ответственность, — в дальнейшем категорически запрещалось совместное размещение женщин с мужчинами и использование заключенных женщин в качестве обслуживающего персонала в

мужских зонах (мытьё полов, уборка помещений...). Все эти мероприятия предлагалось закончить к 10.3.1948 г.

К сожалению, у Тоси была еще одна страсть, которая в лагере еще менее поощрялась, чем «легкий» флирт. Она любила комбинировать или, говоря точнее, спекулировать, занимала деньги у больных, одалживала понравившиеся ей платья и далеко не всегда возвращала их, перепродавала с выгодой для себя одежду и обувь, торговала больничным имуществом.

Кончилось это тем, что любвеобильную медсестру направили на лесоповал, где ей вместо градусника и ящика с лекарствами вручили пилу и топор. Могло быть и хуже, так как «опер» Иванов уже начал интересоваться коммерческой деятельностью Тоси, но выручила, как всегда, Тамара Владимировна.

Вместо того, чтобы выразить свою благодарность за то, что ее спасли от второго срока, Антонина начала писать доносы чуть ли не на всех медработников стационара. Авторитет нашего шефа, однако, был весьма высоким, и все эти сочинения попадали в корзину для бумаг.

Месяца через полтора Тося обратилась к Тамаре Владимировне вся в слезах и чуть не на коленях стала умолять, чтобы ее перевели вновь на работу в стационар. Она заметно похудела, и от пышнотелости осталось немного.

Наш шеф пожалела ее.

— Ладно,— сказала она,— последний раз прощаю, но в зоне работать не будешь. Пойдешь на участок. На сплаве как раз требуется медсестра.

Размышления перед освобождением

Приближался день моего освобождения. Как-то не верилось, что буду на свободе, что смогу пройти без сопровождения конвоира и буду распоряжаться собой, как мне захочется.

Годы, проведенные в тюрьмах и лагерях, показались мне вечностью, а годы детства и юности — сном, не имевшим ко мне никакого отношения.

Когда я думал о времени, проведенном в Германии, о школе и институте, о путешествиях по Кавказу, у меня создавалось впечатление, что это был не я, а другой, хорошо знакомый мне человек.

Сейчас я мог разделить свою биографию на два периода, которые резко отличались друг от друга: до и после ареста. Они изменили не только мою жизнь, но и меня самого.

Лагеря и колонии, которые я прошел, назывались исправительно-трудовыми и должны были меня в чем-то исправить. Вероятнее всего, воспитать в духе марксизма-ленинизма и привить любовь к советскому строю, к партии и «великому» Сталину — любимому вождю всех народов.

Это «воспитание» проводилось пытками, голодом, унижением, непосильным трудом и издевательствами. Вряд ли таким путем можно перевоспитать человека, наоборот — такой способ может вызвать лишь обратную реакцию.

Все эти годы я задавал себе один и тот же вопрос: ради чего меня посадили? В чем была моя вина, и была ли вообще необходимость изолировать меня от общества? Какую опасность я представлял для него?

Я не воровал, не убивал, не насиловал, не тратил государственные средства, не спекулировал и не замышлял свергнуть существующий строй. Единственно, в чем меня могли упрекнуть, это в привычке всегда говорить то, что я думал. И не в мою пользу было то обстоятельство, что я часто думал иначе, чем другие, что и погубило меня.

Я не верил в непогрешимость и гениальность Сталина и видел в нем нечто другое — диктатора и тирана, какого мир еще не знал. Я осуждал охоту за мнимыми «врагами народа», борьбу с религией и стремление уничтожить кулаков как класс, строительство социализма огнем и мечом и нетерпимость к иным взглядам. И, конечно, считал преступлением арест своих близких, в невиновности которых я был уверен.

Прав был Махатма Ганди, который как-то сказал: «Скверная привычка утверждать, что другие мыслят неправильно, а мы правильно, и что те, кто придерживается иных с вами взглядов — враги Отечества».

Вот и я стал врагом «отечества», так как придерживался иных взглядов.

Далеко не со всеми я делился своими взглядами, поскольку кругом были осведомители, они оказались и среди моих друзей и знакомых. Первым, кто донес на меня, был мой лучший школьный друг Петр Донцов, но он оказался шизофреником. Мания величия и стремление уничтожить всех врагов пролетариата толкнули его на этот шаг. Я на него не был в обиде.

Вторым доносчиком оказался мой однокурсник Ульяновченко. Когда я его случайно встретил на Кузнецком мосту в Москве в 1949 году, он лепетал испуганно, что его силой заставили доносить на меня, видимо, боясь, что я могу его ударить. В это я не верил.

Но главным доносчиком оказался Рудольф Шмидт, который прекрасно играл роль добропорядочного немецкого патриота. Он не стремился выглядеть фашистом или коммунистом — это могло бы вызвать лишь подозрение. Рудольф Шмидт (его настоящая фамилия была Николай Кузнецов) оказался крупнейшим разведчиком периода ВОВ, которому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Вполне возможно, что меня посадили за решетку именно за то, что я его раскрыл, или во всяком случае подозревал в связях с НКВД. Перед ним были поставлены ответственнейшие задачи, и свидетели его довоенной деятельности были нежелательны.

Такие как я были посажены, вероятнее всего, из профилактических целей. Власти были далеко не уверены в верноподданнических чувствах многих своих граждан, и их обуял страх. И, конечно, в нас видели дешевую рабочую силу, рабов, которых можно при скотских условиях заставить выполнять любую работу за кусок хлеба и баланду.

То, что при этом погибали легионы ээков, никого не трогало. Их место занимали другие, а следователи трудились в поте лица, чтобы лагеря не пустовали.

Все это оказалось сейчас уже позади. Исправило ли меня заключение? Вряд ли. Я остался таким, каким и был до ареста. Меня по-прежнему не устраивало стремление нашей пропаганды думать вместо меня и указывать, как следует думать и реагировать на то или другое явление...

Но один вывод я сделал — не делился больше своими мыслями, в том числе и со своими друзьями.

Но я не забыл, что в тюрьмах и лагерях встречались среди сотрудников порядочные люди, такие как Маврина, Зиганьшина, Ремизов, Осипова, Кордэ... и другие, которые мне очень помогали. Я им многим был обязан.

Меня провожали очень тепло. Глеб Константинович дал мне свой адрес и попросил зайти к нему домой (к его семье), когда буду в Юрине, то же самое предложил и Арнольд Соломонович, а «Пан Подольский» подарил мне на прощание черные американские полуботинки, которые ему прислали. Среди провожающих были также «милая шляпа», Чесноков и, конечно, все медицинские работники.

— А мы с тобой еще увидимся,— сказала Тамара Владимировна, обнимая меня,— мне часто придется ездить в Йошкар-Олу и, значит, мимо Юркина.

В УРЧ мне дали вместо паспорта справку № 3050, где в нижнем углу красовался дактилооттиск указательного пальца правой руки, в отсутствие фотокарточки. Мне выдали продовольствие на 15 суток и возвратили личные деньги в сумме одна тысяча семьдесят четыре рубля. Кроме того, меня заставили подписать бумагу, согласно которой я обязался не разглашать сведения о местах заключений.

Когда я вышел на вахту, меня уже ожидала Рая. Мы еще до этого договорились, что я сначала поеду в Дубовляны, а затем, в июне, встречу ее в Кузьмине, когда у нее закончится срок.

Рая проводила меня несколько километров, а затем мы попрощались.

— Мне надо еще получить продукты,— сказала она, словно оправдываясь. Мы обнялись.

— А знаешь, Генри,— она перешла на шепот,— у меня задержка.

— Неужели? — это известие меня обрадовало. Когда тебе уже тридцать, хочется иметь семью.

— Да. Ты доволен?

— Конечно. Это очень хорошо.

— Ты приедешь за мной? — в ее голосе я уловил неуверенность.

— А ты как думаешь?

— Я уверена в тебе.

Эпилог

Когда я еще сидел в Чистопольской тюрьме, где постепенно превращался в скелет, обтянутый шершавой кожей, и едва не умер от голода, у меня была одна большая мечта: если освобожусь, то куплю себе буханку хлеба и съем ее сразу целиком, запивая кипятком.

Но этого не случилось. Я питался в больнице ИТК № 1 вполне нормально, и вопросы питания меня уже не очень волновали.

Я думал, что очутившись на свободе, буду плясать и кричать от радости, но и этого не случилось. Правда, когда я прошел через вахту и оставил позади себя зону и высокий забор с колючей проволокой и вышками на углах, то вздохнул облегченно, но не испытывал «телячьего» восторга.

Все ээки, которые как и я, получили свободу, возвращались в свои родные места — в деревню, поселок или город, где их с нетерпением ждали близкие — родители, муж или жена, дети...

Эта была главная радость для отбывавших свой срок, которой я был лишен.

В Москву я вернуться уже не мог — она была для меня закрытым городом, тем более что там уже не осталось ни матери, ни жены. Мила вышла замуж и жила на Кавказе, а мать выслали в Темир-Тау (Казахстан).

Ехать к ней было сложно и, кроме того, она сама хотела перебраться ко мне. Мне было указано явиться в ОСП (отдел спецпереселенцев) МВД СССР, в Йошкар-Олу. Оказывается, я был далеко не свободным человеком и мог передвигаться, даже по республике, лишь с разрешения этого отдела.

Путь от Кузьмине до Юрина и дальше, через Йошкар-Олу, в Дубовляны Пектубаевского района, где жили родители Раи (около 300 км) пришлось частично пройти пешком, частично попутным транспортом. На это я потратил пять дней.

Родители Раи оказались простыми и доброжелательными людьми и приняли меня сердечно. Отец ее — Петр Григорьевич — работал председателем колхоза и пользовался уважением у населения. Мать была домохозяйкой.

Когда время пришло, я отправился в обратный путь в Кузьмине за Раей и оттуда вместе с ней в Дубовляны. После двухнедельного отдыха мы поехали в Юркино, где я стал работать заведующим Юркинским сельским врачебным участком.

Уже с первых дней совместной жизни я был чрезвычайно удивлен, когда обнаружил резкие изменения в характере моей жены. Откуда-то появилась высокомерность, грубость и презрение к другим. Она считала себя главной персоной на участке и вскоре рассорилась со всеми. Появились и диктаторские наклонности. Мать Тамары Владимировны оказалась права — единственное, чем она интересовалась — был огород. Что касается «беременности», то она была выдумкой Раи, своеобразный «ход конем», чтобы удержать меня.

Я понял, что сделал ошибку, неверный шаг. Несколько раз я мирился с выходками Раи, но затем был вынужден расстаться с ней.

26.10.1948 года вышла директива МГБ СССР и Прокуратуры СССР, согласно которой государственные преступники, отбывшие наказания вновь арестовывались...

Вероятнее всего авторы этой директивы рассуждали так: кто прошел через застенки Ягоды, Ежова, Берии и тому подобное не может не стать

врагом этой системы, и потому таких людей надо уничтожать. Они не должны увидеть свет.

В отношении меня, по непонятным причинам, забыли применить эту директиву, пока я не обратился в спецкомендатуру с просьбой разрешить моей матери переезд в Юркино.

Тогда спохватились, что я как лицо немецкой национальности, еще не взят на учет как спецпоселенец и быстро исправили упущенное.

Меня познакомили с указом Президиума Верховного Совета СССР от 26.11.48 года согласно которому... «переселение в отдаленные районы Советского Союза... проведено навечно, без права возврата их (т.е. спецпереселенцев) к прежним местам жительства.

За самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения этих выселенцев виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности. Определить меру наказания за это преступление в 20 лет каторжных работ».

Это сообщение было для меня ударом ниже пояса. Сколько лет, находясь в заключении, я мечтал о том, чтобы после освобождения, снова, как до войны, путешествовать по Кавказу и другим горным районам страны и совершать восхождения. Как моряк не может жить без моря, так и альпинист не может жить без гор. Именно любовь к ним, да и к природе вообще, дали мне силы перебороть все трудности, которые встречались на моем пути.

Не зря Ницше сказал: «У кого есть зачем жить, может вынести любое». Мне было трудно привыкнуть к мысли, что больше не видать мне дальние края, но в душе я все-таки верил, что все изменится к лучшему.

В начале 1950 года я женился. Пословица говорит: первая жена от Бога, вторая от черта, третья — по заслугам. Видимо, у меня были определенные заслуги,

так как с моей женой Князевой Александрой Григорьевной живу до сих пор и не жалею об этом.

В январе 1956 года спецкомендатура была ликвидирована, и я стал свободным человеком. Тамара Владимировна занимала к тому времени пост начальника санотдела ОИТК МАССР, а затем руководила Республиканским туберкулезным диспансером. Она пригласила меня к себе на работу, и в 1963 году я переехал в Йошкар-Олу. До выхода на пенсию я работал врачом-рентгенологом.

Горы я не забыл и побывал во всех основных горных районах страны.

Глеб Константинович Зауэр вернулся из мест заключения (его отправили на Урал) инвалидом. После инсульта левая рука и левая нога остались парализованными. Я его посещал постоянно и снабжал продуктами и деньгами, так как семья — жена и дочь оставили его и переехали в Ленинград.

В конце 1970-х годов он умер от рака пищевода. Арнольд Соломонович после освобождения жил сначала во Владимире, а после реабилитации вернулся к жене в Москву. Но лишь несколько лет свободы были ему суждены. Он умер от рака печени. Много лет я работал вместе с Тамарой Владимировной, но и ее настигла страшная болезнь. Как и многие заядлые курильщики, она скончалась от рака легких.

Михаил Лебедев и Павел Чесноков были реабилитированы с восстановлением воинского звания. Говорят, что они стали генералами.

Трагична была судьба Виктора Гарканова. Он дождался Маргариту, и они поженились. Родилась дочь. Сначала Виктор работал в деревне Липовка, а затем на лесоучастке Огибное.

Однажды он отправился на катере в Марьино за медикаментами. Вместе с ним ехала молодая кассирша, которая в банке должна была получить деньги для

рабочих лесоучастка, и машинист катера. Последний был также и в качестве охранника.

На обратном пути машинист застрелил кассиршу из ружья и убил Виктора багром.

Игнат Штамбург стал председателем колхоза в Мари-Турекском районе и не оставил Валю, которая стала его женой. Было у них, если не ошибаюсь, трое детей. Когда я его встретил в последний раз, у него случилось большое горе. Валя стала пить и однажды сгорела в бане вместе с младшей дочерью (сыном?) Через несколько лет и он скончался — дорогой «Пан Подольский».

Бывают чудеса: через дом от меня живет мой бывший начальник санчасти в Шушерах Валя Осипова. Иногда вижу ее. Конечно, годы дали о себе знать, но по-прежнему она стройная, а лицо женственное и доброе.

Пройдет еще несколько лет, и никого не останется из тех, кто могли бы повествовать о жизни в лагерях тех лет, и в частности лагерях Республики Марий Эл, где условия для зэков были еще относительно терпимые.

notes

Примечания

1

По этическим причинам некоторые фамилии несколько изменены.

2

Из приказа от 15 июля 1945 г. «В целях дальнейшего улучшения физического состояния заключенных на всех ИТК МАССР установить 10-часовой рабочий день с перерывом на обед в 1 час и 4 выходных в месяц».